

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р  
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

---

ВОПРОСЫ  
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

Я Н В А Р Ъ — Ф Е В Р А Л Ъ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
МОСКВА — 1981

## СОДЕРЖАНИЕ

### НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

- Филин Ф. П. (Москва). Об актуальных задачах советского языкознания. . . . . 3

- Даниленко В. П., Скворцов Л. И. (Москва). Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии . . . . . 7

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- Ибраев Л. И. (Йошкар-Ола). Надзнаковость языка (К проблеме отношения семиотики и лингвистики) . . . . . 17
- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. (Москва). О своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами (на материале русского языка) . . . . . 36
- Ткаченко О. Б. (Киев). Проблемы сопоставительно-исторического изучения славянских языков . . . . . 48
- Баскаков Н. А. (Москва). К историко-типологической фонологии тюркских языков . . . . . 60
- Солганик Г. Я. (Москва). К проблеме типологии речи . . . . . 70
- Богацова Г. А. (Москва). Историческая лексикография как жанр . . . . . 80

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Амброзини Р. (Пиза). Первый гимн Ригведы и мнимая многозначность поэтических текстов . . . . . 90
- Малкова О. В. (Москва). О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и в древних славянских языках . . . . . 98
- Михайловская Н. Г. (Москва). К вопросу о номинации в древнерусском тексте . . . . . 112
- Мурьянов М. Ф. (Москва). О Минее Дубровского . . . . . 121
- Федоров А. И. (Новосибирск). Лексика современных русских говоров как источник для исторической лексикологии . . . . . 142

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

- Жуперка К. И., Гудавичюс А. И. (Шауляй). «Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti» . . . . . 147

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Хроникальные заметки . . . . . 150

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04  
Зав. редакцией И. В. Соболева

## НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

Филин Ф. П.

## ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Советские языковеды встречают XXVI съезд КПСС, имея заметные достижения. Значительно расширилось и углубилось исследование языков и диалектов на территории Советского Союза и за рубежом, многое сделано в повышении качества преподавания языков и культуры речи широких народных масс, написано немало работ, способствующих совершенствованию теоретических основ языкознания и методов лингвистического исследования.

Отрадно отметить выход в свет капитальных грамматик и словарей разных типов (прежде всего толковых) многих языков СССР, на базе которых создаются учебники и учебные пособия для всех звеньев народного образования. Советский Союз превратился в страну всеобщей грамотности, в которой все национальные языки, старописьменные и младописьменные, стали могучим рычагом культурного подъема, поднялись до уровня наиболее развитых языков мира, способных передавать всю информацию, накопленную современной цивилизацией. Значительно повысилась роль русского языка как средства межнационального общения. Равный среди равных, русский язык становится жизненной необходимостью для всех советских граждан. Показательны данные переписи населения СССР. В 1970 году свободно владело русским языком 183 700 000 человек, или 76 % населения страны, а в 1979 году уже 214 800 000 человек, или 81 % всего населения. Можно полагать, что через три-четыре десятилетия все советские граждане, русские и нерусские, овладеют высотами культуры русской речи, единой в своих нормах, и мы достигнем полного и гармоничного двуязычия, когда нерусское население, бережно сохраняя и умножая богатства своих родных языков, будет свободно владеть русским языком как средством межнационального общения. Способствовать развитию этого процесса, неразрывно связанного с ленинской национальной политикой, является одной из важнейших задач советского языкознания. Нами впервые составлен сводный план языковедческих работ на ближайшие годы, в котором предусмотрена подготовка многих десятков книг и учебных пособий по русскому языку для многонационального населения нашей страны. Однако, не следует забывать, что это только начало. Сделать в этой области предстоит еще очень много, как в теоретическом, так и в методическом отношениях.

Русский язык в наше время стал одним из общепризнанных международных языков. Распространение знания русского языка за рубежом на всех континентах Земли — благородная и благодарная задача советских языковедов и их зарубежных коллег. Многие для этого делается нашим научно-методическим центром — Институтом русского языка имени А. С. Пушкина, его многочисленными филиалами в разных странах мира, соответствующими кафедрами русского языка в советских и зарубежных вузах,

МАПРЯЛ и иными организациями. Международные позиции русского языка, несомненно, будут укрепляться.

Языковая действительность бесконечно разнообразна. Пополнение знаний о ней позволяет глубже проникать в сущность языка, его структуры и функционирования. Язык, неразрывно связанный с мышлением, является важнейшей частью культуры, человеческой истории, причем в научном отношении одинаково важны как языки больших наций, так и языки малых народностей и этнических групп: в каждом языке по-своему выражаются человеческие знания, за каждым языком стоит своя особая история в ее сложном переплетении с историей других этносов. Не случайно после Великого Октября особое внимание было уделено изучению языков и диалектов ранее бесписьменных народностей, в том числе малых, до революции обреченных на вымирание. На этом пути было сделано много открытий, в частности, позволивших установить новые генетические взаимосвязи, типологические общности и особенности. Проводятся перспективные исследования в алтаистике, палеоазиатском языкознании и в ряде других новых дисциплин. Советские языковеды изучают языки (живые и мертвые) всех континентов Земли. Пожалуй, особенно следует отметить возросшую интенсивность исследования языков братского Вьетнама, развивающихся стран мира (африканских, азиатских), языков исконного населения Америки (майя и др.). Можно сказать без преувеличения, что наша страна стала великой лингвистической державой мира, обладающей огромным коллективом языковедов, которому по силам решать крупные задачи мирового значения. Укажем здесь, например, на подготовительные работы по описанию всех известных языков мира, которые начались под руководством коллектива ученых Института языкознания АН СССР. Крупнейшим и ведущим центром в области русистики стал Институт русского языка АН СССР. Советские языковеды занимают передовые позиции в славистике, тюркологии, финноугроведении, кавказоведении, иранистике, палеоазиатоведении и ряде других дисциплин. Значительных их успехов в германистике, романистике, в изучении балтийских и многих других языков. Те лингвисты, которые не знают русского языка и не могут пользоваться советской языковедческой литературой, теряют многое.

Советское языкознание — явление не только географическое. Включая в себя большое разнообразие аспектов и специальных методов исследования, оно в то же время объединяется общими принципами теоретического характера. Его исходной философской базой является марксизм-ленинизм, с его неограниченными возможностями объективного познания природы и общества и претворения полученных знаний в практику, в жизнь на благо трудящихся, для построения бесклассового мира, мира дружбы и братства народов. Применительно к языкознанию это, на наш взгляд, означает прежде всего, что любое лингвистическое построение, какой бы степени абстракции оно ни достигало, исходит из объективно установленных фактов, проверяется практикой (исследовательской, педагогической, общественной). Исходное — данные самого языка, а не фикции ума, так называемые «конструкты», представляющие собой результат фантастического отлета от действительности и обычно навеянные нематериалистическими философскими концепциями.

Язык — объективное явление, возникшее в процессе труда на раннем этапе развития человечества, совершенствующееся вместе с историей общества. В нем все социально, поскольку он является важнейшим средством человеческого общения и вне общения жить и изменяться не может. Языковед, описывающий структуру языка или отдельные его стороны, никогда не должен забывать об этом важном обстоятельстве. Язык — особого рода система, в которой системность диалектически сочетается с антисистемно-

стью, правила с исключениями. Не было бы в языковой системе противоречий, она была бы мертвой и застывшей схемой, не способной к развитию и прогрессу. Понять и объяснить устройство этой противоречивой системы можно только с позиций диалектического и исторического материализма. Синхронное исследование языка, всегда существовавшее в языкознании и необходимое для многих целей, только описывает его состояние, тогда как историческое изучение имеет объяснительную силу, поскольку оно показывает, что предшествовало чему, почему происходили и происходят те или иные изменения, почему язык стал тем, каким мы его знаем. Отрыв синхронии от диахронии, проповедуемый некоторыми языковедами примат синхронии являются продуктом метафизического мышления, непонимания сущности языка. Синхрония и диахрония диалектически взаимосвязаны, без этой взаимосвязи подлинная наука о языке не может существовать.

Серьезным недоразумением можно считать утверждение, согласно которому язык будто бы не может быть объектом непосредственного наблюдения, что мы можем судить о нем только по косвенным данным, представленным в конкретных речевых текстах. Язык и речь неразрывно связаны, вся совокупность высказываний коллектива, говорящего на одном языке, вполне доступная прямым наблюдениям, и составляет объект исследования лингвистики. Попытки оторвать язык от речи, может быть, и удобны для всякого рода абстрактных лингвистических спекуляций, особенно замешанных на формально-математической основе, но они ничего не прибавляют к нашим знаниям о языке и вводят в заблуждение недостаточно искусственных исследователей и читателей лингвистической литературы.

Языкознание — глубоко гуманитарная наука, поскольку язык создан обществом и немислим вне общества. Перед языковедами открываются широкие перспективы исследований нашего прошлого (вспомним хотя бы оживившееся за последние годы изучение сложных проблем этногенеза, реконструкции праязыковых состояний и восстановление истории поздних языков и диалектов), без понимания которого невозможно всесторонне осмыслить настоящее и представить будущее. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Наша уверенность в силы и возможности советского языкознания будет еще более крепкой, если мы повысим чувство ответственности за творческое применение марксистско-ленинской философии в науке о языке, за эффективность внедрения наших знаний во все звенья народного образования. Пока нельзя сказать, что в этом отношении нами уже делается все, что нужно.

Напор лингвистического абстракционизма, попытка распространять всякого рода «модные» течения американского языкознания (кстати говоря, среди американских языковедов имеется немало реально мыслящих исследователей), которые были ощутимы у нас в 50-е — 60-е гг., заметнo спали, но еще отнюдь не исчезли.

Имеются еще некоторые советские языковеды, в той или иной степени пораженные теоретической «всеядностью» или пассивностью, желанием стать на позиции методологического плюрализма, которые, как мотыльки, летящие на свет гибельного огонька, спешат «не отстать» от заумных и вредных «мод», с необыкновенной быстротой сменяющих друг друга. Так обстоит дело с поклонниками «трансформационно-генеративной грамматики», порочность которой хорошо осознается многими западноевропейскими и американскими учеными<sup>1</sup>, и иных подобных рекламируемых «теодий»,

<sup>1</sup> Рекомендуем вашим читателям ознакомиться с реферативным сборником «Трансформационно-генеративная грамматика в свете современной научной критики», М., 1980 (отв. ред. О. С. Ахманова и Ф. М. Березин). Шестнадцать зарубежных языковедов камня на камне не оставляют от этой грамматики, показывая ее полную научную несостоятельность и вредность для общества.

далеких от познания объективной языковой действительности, но используемых за рубежом в борьбе воинствующего идеализма с материализмом.

Пустопорожние «теории» могут пагубно сказываться на образовании подрастающих поколений. Не секрет, что в преподавании языков (особенно иностранных) в наших вузах некоторые преподаватели выдают за «последнее достижение» науки обрывки «металингвистического языка» формальной логики и «формальной математики», всякого рода дедуктивно-формалистических изощрений. Щеголяние «модными» терминами (прежде всего американского происхождения), нарочито заумный язык делают некоторые лингвистические работы (в том числе учебники) недоступными даже узкому кругу «посвященных». Эта вредная тенденция в той или иной степени проникает и в учебники для средних школ. Л. С. Понтрягин напечатал в журнале «Коммунист» статью «О математике и качестве ее преподавания»<sup>2</sup>, в которой, с нашей точки зрения, вполне убедительно показал, что новые программы и учебники по математике затемняют головы учащихся, выхолащивают суть математического метода и отбрасывают назад преподавание этой дисциплины. А как обстоит дело с преподаванием языков? Этот вопрос нуждается в серьезном обсуждении.

<sup>2</sup> Л. П о н т р я г и н, О математике и качестве ее преподавания, «Коммунист», 1980, 14. См. также послесловие редакции журнала к статье Л. С. Понтрягина (стр. 110—112).

ДАНИЛЕНКО В. П., СКВОРЦОВ Л. П.

### ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ\*

Терминология как средство выражения, хранения и передачи специальных научных и технических понятий формируется в прямой зависимости от развития науки и техники. Все процессы современной научно-технической революции самым непосредственным образом нашли свое отражение в создании новой терминологии и в сложных процессах трансформации прежних терминов и целых терминосистем.

Процесс интеграции наук реализуется в формировании общенаучного понятийного аппарата, с одной стороны, и в развитии обобщенных междисциплинарных теорий, с другой. И то и другое на уровне языка науки выражается в необычайном расширении фонда общенаучных и межсистемных терминов. Процессы проникновения методов исследования одних наук в другие (математизация, кибернетизация и др.) ведут к синхронному использованию терминов одних наук в терминологиях других наук.

Современные процессы формирования и функционирования терминосистем повышают требования и к терминам, и к носителям отраслевых терминологий, и к тем специалистам, которые профессионально призваны заниматься практическими вопросами терминоведения.

И в публикациях, и на терминологических конференциях все чаще поднимаются вопросы о необходимости упорядочения существующих терминологий разных областей знания и разработки методик создания новых терминосистем<sup>1</sup>.

В нашей отечественной литературе по терминологии встречаются по крайней мере три разных слова, когда речь идет о том, что в терминологии необходимо навести порядок. Это — *упорядочение, унификация и стандартизация*.

\* В основу статьи положен доклад, сделанный авторами на Международном симпозиуме «Теоретические и методологические вопросы терминологии», Москва, 27—30 ноября 1979 года.

<sup>1</sup> См., например: «Руководство по разработке и упорядочению научно-технической терминологии», под ред. акад. А. М. Терпигорева, М., 1952; А. М. Терпигорев, Об упорядочении технической терминологии, ВЯ, 1953, 1; «Как работать над терминологией. Основы и методы», М., 1968; «Проблемы государственной стандартизации терминологии в СССР», М., 1968; Т. Л. К а н д е л а к и, Работа по упорядочению научно-технической терминологии и некоторые лингвистические проблемы, возникающие при этом, в кн.: «Лингвистические проблемы научно-технической терминологии», М., 1970; «Терминология и норма», М., 1972; В. И. С и ф о р о в, Проблемы научно-технической терминологии, «Вестник АН СССР», 1975, 8; В. П. Д а н и л е н к о, Русская терминология. Опыт лингвистического описания, М., 1977; «Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии», под ред. В. И. Сифорова, М., 1979; Б. В. Н а л и м о в, Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков, М., 1979, стр. 136 и сл. Гл. 3, § 3. Проблема стандартизации научной терминологии. См. также материалы Международного симпозиума по проблемам культуры языка в социалистическом обществе (ЧССР, 1976 г.), в кн.: «Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti», Praha, 1979.

*Упорядочение* — слово с прозрачной внутренней формой. Образовано оно от основы глагола *упорядочить*, что, согласно толковым словарям русского языка, означает «наладить порядок в чем-н., придать чему-н. известный порядок» («Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, IV, стр. 966), «придать чему-либо надлежащий порядок, привести в должный порядок» (БАС, 16, стлб. 746).

*Унификация* (от лат. *unio* «единство» и *facere* «делать, создавать»). «Приведение к единообразию, к единой форме, единой форме» («Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, IV, стр. 957); «приведение к единообразию, к единой форме или системе» (БАС, 16, стлб. 667). Ср. энциклопедическое определение и истолкование: «*Унификация*... приведение к единообразию, к единой форме или системе»; «*Унификация в технике*, приведение различных видов продукции и средств ее произ-ва к рациональному минимуму типоразмеров, марок, форм, свойств и т. п. Осн. цель У. — устранение неоправданного многообразия изделий одинакового назначения и разнотипности их составных частей и деталей, приведение к возможному единообразию способов их изготовления, сборки, испытаний и т. п.» (БСЭ, изд. 3-е, 27, стр. 23).

*Стандартизация* (техн., экон.) 1. Рационализация производства изделий путем сведения многочисленных видов к определенному количеству типовых образцов, стандартов. 2. Приведение приемов работы к однообразным нормам» («Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, IV, стр. 479); «1. Установление единых обязательных типовых образцов для чего-либо. *Стандартизация деталей. Стандартизация пищевых продуктов.* Установление единых типовых форм в организации, проведении чего-либо. *Стандартизация строительства*» (БАС, 14, стлб. 718). Ср. энциклопедические определения слов *стандарт* и *стандартизация*: «*Стандарт* (от англ. *standart* — норма, образец, мерило), в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. объектов» (БСЭ, изд. 3-е, 24, стр. 410). «*Стандартизация*, процесс установления и применения стандартов. Определение С., данное Международной организацией по стандартизации (МОС; ИСО): «Стандартизация — установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности». Объекты С. — конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины, обозначения и т. п., имеющие перспективу многократного применения, используемые в науке, технике, пром. и с.-х. произ-ве, стр-ве, транспорте, культуре, здравоохранении и др. сферах нар. х-ва, а также в международной торговле» (там же, стр. 411).

Как следует из определений слов *упорядочение, унификация и стандартизация*, да и из реального их употребления, необходимость их более четкого разграничения применительно к работе над терминологией совершенно необходима. Особенно, как нам кажется, принципиально важно отличать понятие «стандартизация терминологии» от всех других видов работы по усовершенствованию отраслевых терминологий (терминосистем).

Работа по стандартизации терминологии предполагает в качестве конечного результата утверждение ГОСТа, т. е. государственного стандарта по той или иной отраслевой терминосистеме, имеющего, строго говоря, обязательный, если не юридический смысл. Это по существу заключительный, законодательный акт всей предшествующей работы с терминосистемой. И в этом, видимо, принципиальное отличие данного вида работы над терминологией от других: стандартизируются, как правило, целостные и унифицированные системы отраслевых, межотраслевых и т. п. терминологий. В то время

как унифицируются и отдельные группы терминов, и просто единичные термины (в тех случаях, когда они требуют известной унификации — «подгонки» под тип, под модель).

Если попытаться содержательно разграничить понятия и (соответственно виды работы) *упорядочения*, *унификации* и *стандартизации*, то, с нашей точки зрения, это можно было бы сделать так. Самым общим понятием из этих трех можно считать *упорядочение*, под которым не следует понимать ничего другого, кроме «приведения терминологии в известный специалистам горядок». Для упорядочения терминологии необходима ее *унификация*, под которой имеется в виду сложная и многоаспектная работа по приведению отраслевой терминологии по возможности в систему на всех необходимых уровнях (содержательном, логическом и лингвистическом). При этом лингвистическая унификация терминологии предполагает прежде всего приведение различных и многих видов и средств создания терминов к «рациональному минимуму» специализированных способов и моделей, которые бы отвечали необходимому требованию служить средством моносемичного выражения с п е ц и а л ь н о г о понятия. И тогда основная цель лингвистической унификации терминологии сводилась бы к «устранению неоправданного многообразия и варьирования» языковых средств выражения специальных понятий, которое в определенных «жанрах» профессиональной литературы (учебной, справочной, документальной и т.п.) крайне нежелательно (ср. приведенное выше энциклопедическое толкование термина *унификация*). Вся работа над терминологией совершается при ее унификации. И только унифицированная терминология может быть предложена для *стандартизации*. Эти, может быть, и самоочевидные рассуждения мы считаем необходимым привести для того, чтобы показать, что собственно лингвистические проблемы и собственно лингвистическая реализация этих проблем возможны только на фазе унификации терминов и терминосистем. Необходимо сказать также о пределах распространения стандартизации терминологии. Не умаляя ни в коей мере ее смысл и значение, мы считаем, что стандартизация имеет строгие границы своей компетенции, в которые собственно научная сфера употребления терминологии не входит и входить не может. В противном случае наука не сможет развиваться. Итак, потребность в упорядочении современных терминологий отражает практическую необходимость оптимального функционирования терминов в специальной литературе (прежде всего, учебной, справочной, документально-технической и т.п.) и в устной сфере профессионального общения. Деятельность по унификации и стандартизации терминологии в современных условиях развития науки и техники приобретает самостоятельную значимость. Поэтому так существенны теоретические обобщения и практические выводы и рекомендации для этой работы.

Лингвистические проблемы унификации современных отраслевых терминологий составляют самостоятельный, хотя и не изолированный, аспект, значение которого не может быть уменьшено в сравнении с содержательным и логическим аспектами усовершенствования терминосистем. Прежде чем давать практические рекомендации в области научно-технической терминологии, необходимо теоретическое осмысление самого понятия и явления термина. Унификация терминологии может быть поставлена на научную основу при условии четкого представления о природе терминов как знаков специальных понятий, о существенных признаках термина (в противопоставлении его общеобиходному слову), об основных тенденциях лексико-семантического развития и образования специальной лексики.

В современной лингвистической литературе терминологии отводится вполне самостоятельное место в лексической системе русского языка.

Однако этот в целом бесспорный тезис требует определенного уточнения, поскольку современный русский язык — понятие широкое и функционально неоднородное<sup>2</sup>. Термины самостоятельны в лексическом составе языка потому, что они образуют основу (ядро) лексики функциональной разновидности общелитературного национального языка, обслуживающего сферу профессионального общения, т. е. языка науки<sup>3</sup>.

Статус самостоятельного функционального языка (языка науки) ни в коей мере не прерывает его генетических и синхронных связей с общелитературным национальным языком, основными путями и тенденциями его развития. Вместе с тем особенности назначения языка науки и реального функционирования, в которых соединяются собственно языковые и экстралингвистические факторы (зависимость языка науки от развития самой науки) определяют некоторые самостоятельные пути формирования лексического состава языка науки, прежде всего терминологии. Это общеметодологическое положение необходимо учитывать при определении лингвистических основ унификации терминологии, поскольку подобная ситуация естественным образом должна отразиться и на некоторой самостоятельности критериев оценки терминологической лексики.

В самом общем виде лингвистический аспект унификации терминологии предусматривает два комплекса вопросов, связанных, с одной стороны, с общеязыковыми, с другой — с нормативными критериями оценки терминологии. Общеязыковые критерии оценки терминологии включают такие важные факторы, как отношение к источникам формирования национальной терминологии, а также отношение к лексико-семантическим явлениям и процессам, охватывающим не только общеупотребительную, но и специальную лексику (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия).

Основным источником формирования каждой национальной терминологии в современных условиях безусловно является конкретный национальный литературный язык. В связи с этим при создании терминов предпочтение во всех случаях должно отдаваться ресурсам родного языка (особенно это касается традиционных отраслей науки, техники, хозяйства). В то же время для развития науки и техники сейчас характерны процессы межнационального и международного сотрудничества, что с неизбежностью отражается на тенденциях формирования терминологии. Этим объясняется актуализация проблем использования интернациональных (греко-латинских) средств образования терминов, а также вопросов непосредственного заимствования терминологических наименований.

Отношение к основным лексико-семантическим процессам (полисемия, синонимия и др.) существенно потому, что создается определенное противоречие между тем, что по своей «природе» термины не могут (не должны) быть ни многозначными, ни дублетными, а по реальному функционирова-

<sup>2</sup> См.: Ф. П. Ф и л и н, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2; его же, Некоторые вопросы функционирования и развития русского языка, ВЯ, 1975, 3; его же, Что такое литературный язык, ВЯ, 1979, 3; Д. Н. Ш м е л е в, О стилистической дифференциации литературного языка, РЯШ, 1975, 2; его же, Русский язык в его функциональных разновидностях, М., 1977. Ср. положения о функциональном расслоении литературного языка в трудах чешских языковедов Б. Гавранка, В. Матезиуса и др. (см.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967).

<sup>3</sup> «Лингвистика вплоть до последних десятилетий разрабатывала... традиционные системы (литературный язык, территориальные знаковые системы) и лишь сравнительно недавно обратилась к языку науки и техники. По-видимому, общей задачей, стоящей перед лингвистами в этом плане, является активное обращение к материалу, выходящему за пределы, очерченные традицией» (В. И. С и ф о р о в, указ. соч., стр. 19). См. также: В. П. Д а н и л е н к о, Лексика языка науки. Терминология. АДД, М., 1977; В. В. Н а л и м о в, указ. соч., гл. 3. Язык науки, стр. 116 и сл.

нию они развивают и полисемию и синонимию. При унификации терминологии требование однозначности соотношения термина и понятия в определенных видах специальной литературы должно быть твердым. Однако существующие дублиеты и варианты терминов нельзя игнорировать как справочный аппарат при стандартизации терминологии. Сложнее обстоит дело с явлениями полисемии, когда, с одной стороны, в термине развивается так называемая категориальная многозначность (термин Д. С. Лотте), с другой, нередки случаи употребления терминов в «широком» и «узком» смысле (ср. *геология* — наука и *геология Луны* и т. д.). И то и другое явление реально существует в терминопотреблении как отражение общезыковых процессов, и едва ли есть смысл создавать всякий раз новый термин там, где фактически используется существующий. Гарантией дифференцированного восприятия их служит либо контекст (чаще всего разная сочетаемость), либо дефиниции, либо то и другое вместе взятое. Как отражение экстралингвистических факторов, как результат влияния процессов, происходящих в современных науках (когда, например, один и тот же объект действительности становится предметом исследования разных наук, или когда одни и те же методы исследования используются в разных науках), в терминологии появляется межотраслевая (или межсистемная) омонимия. Отношение к ней со стороны терминологов-практиков должно быть реалистичным, ибо борьба с ней мало результативна.

Нормативные критерии оценки терминологии предусматривают условия образования и употребления терминов в их основной сфере функционирования — в языке науки, реализующемся в специальной литературе и в устном профессиональном общении специалистов той или иной области знания. Лингвистическая унификация терминологии имеет в виду прежде всего разработку единых принципов практического терминообразования. Но всякая практическая область не может не основываться на общетеоретических положениях. Разработка единых принципов и средств практического терминотворчества должна, на наш взгляд, основываться на общей теории номинации (в ее ономаσιологическом и деривационном аспектах). И в этом смысле унификация терминологии, т. е. подчинение закономерностей номинации специальных понятий единым принципам соответствия смысловых структур структурам словообразовательным, является одинаково необходимой для всех сфер употребления и новообразования терминов<sup>4</sup>.

Функциональная самостоятельность языка науки делает возможным при общей ориентации на закономерности образования и употребления слов в общелитературном языке появление самостоятельных тенденций терминообразования и терминопотребления, отличных от тенденций общелитературного языка. Это в конечном счете позволяет ввести понятие профессионального варианта нормы. При установлении понятия профессионального варианта нормы мы исходим из того, что норма — это соответствие системно-структурным основам языка в целом, соответствие современным действующим тенденциям развития языка, адекватность языкового выражения внеязыковым потребностям<sup>5</sup>. В про-

<sup>4</sup> См.: Я. К у х а р ж, К общей характеристике номинации, в кн.: «*Travaux linguistiques de Prague*», 1968, 3; «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972; «Языковая номинация (Виды наименований)», М., 1977; «Языковая номинация (Общие вопросы)», М., 1977; М. В. Ф е д о р о в а, О типах номинации в русском языке, ВЯ, 1979, 3.

<sup>5</sup> См.: К. С. Г о р б а ч е в и ч, Вариантность слова и языковая норма, Л., 1978; е г о ж е, Нормы современного русского литературного языка, М., 1978; «Русский язык. Энциклопедия», гл. ред. Ф. П. Филин, М., 1979; Л. И. С к в о р ц о в, Теоретические основы культуры речи, М., 1980, и др.

фессиональном варианте нормы должно учитываться и то общее, что есть в языке науки как разновидности общелитературного языка, и то особенное, что есть в языке науки, но отсутствует в системе и структуре общелитературного языка (как обязательное для всех его функциональных разновидностей). Профессиональный вариант нормы в терминологии выявляется в соответствии способов и моделей образования терминов (а также образования и употребления грамматических категорий и форм) способами и моделям национального словообразования и словоупотребления в их общелитературной и специфически профессиональной реализации.

При определении лингвистического статуса профессионального варианта нормы важно подчеркнуть непротивопоставленность, генетическую и синхронную связь его с нормой общелитературного языка и, главное, обнаружить те конкретные условия, при которых возможна реализация профессионального варианта нормы. Необходимость в профессиональном варианте нормы возникает главным образом (хотя и не исключительно) в двух типичных ситуациях: 1) когда налицо варианты средства выражения одного и того же понятия или реалии (словообразовательные, морфологические, орфоэпические, орфографические); 2) когда возникают новые, нетипичные средства выражения понятий или реалий, т. е. такие, которым нет аналогов в общелитературной номинации. В первом случае, когда варианты формы выражения понятий расходятся по сферам употребления (общелитературной и профессионально-специальной), решается вопрос о том, можно ли считать вариант, распространенный в профессиональной сфере, находящимся в допустимых рамках нормы, или это все-таки ошибка, на которую необходимо обратить внимание специалистов. Рекомендация, как правило, не носит механического характера (если распространено в специальной сфере, значит, можно считать профессиональным вариантом нормы). Рекомендация дается на основе общих тенденций развития конкретного явления в языке в целом, с учетом причин появления вариантных форм и мн. др. Например, формы мн. числа имен существительных муж. рода на *-á* очень часто «режут» ухо и глаз неспециалистам (ср.: *столорá, колерá, циркуля, юпитерá, профилá* и т. п.), и тем не менее они, с нашей точки зрения, вполне могут быть отнесены к устной реализации профессионального варианта нормы. Действительно, в основе этого явления лежит морфолого-орфоэпическая тенденция языка в целом, и терминология как бы убыстряет ее, пополняя этот ряд слов новыми «отклонениями» от строгих норм общелитературного языка. Характерно, что в современных нормативных словарях-справочниках формы *штурманá, шкиперá, токаря, профилá* и т. п. квалифицируются обычно как факты специальной (терминологической) речи или профессионального просторечия<sup>6</sup>. Вторая ситуация возникает, как правило, при актуализации, необходимости выражения специальных смысловых структур, не типичных в условиях общелитературной номинации. В пределах этой же ситуации находятся и специальные наименования, созданные с привлечением разного рода символики, вплоть до пиктографических знаков, а также аббревиатурные образования, особенно комбинированного типа. Их можно оценивать лишь с точки зрения профессиональных представлений о целесообразности и информативном удобстве, а не исключительно с позиций строгих норм общелитературного языка. Так, в общелитературном

<sup>6</sup> Например: *Шкипер*, мн. *шкиперы* и профессиональное (у моряков) *шкиперá*; *Штурман*, мн. *штурманы* и профессиональное (у моряков) *штурманá*; ср. *Токарь*, мн. *токари* и разг. *токаря*; *Профиль*... В знач. «вертикальное сечение, разрез какого-либо участка, поверхности предмета»: мн. *прбфили* и в профессиональном просторечии *профиль* («Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник, ред. К. С. Горбачевич, Л., 1973).

языке нет многоосновных композиций типа *термобарокамера, электромусородробилка, спациоэлектрокардиограф* и т. п. Они там не нужны в такой «сжатой» форме выражения. Для терминологии же они не только чрезвычайно актуальны, но и оптимальны, так как с их помощью достигается номинация с необходимым числом необходимых признаков. В этом случае нельзя данные композиции расценивать с позиции собственно литературных норм и представлений, считая их тяжеловесными, длинными образованиями. С другой стороны, очень продуктивный в терминологии способ номинации посредством словосочетания требует очень большой осторожности. И едва ли здесь поможет вероятностно-статистический метод выведения «длины» термина-словосочетания. Вернее, по нашему мнению, исходить из представлений о номинативной значимости разных частей речи и разных типов словосочетаний. Удлиненные термины-словосочетания, которые нередко по существу являются дефинициями понятий, часто свидетельствуют о том, что фактически еще не найден подходящий термин.

Для специфически профессиональной реализации системы и структуры языка в целом характерен отбор средств и способов по нескольким основным принципам: актуальности, целесообразности, аналогичности.

Принцип актуальности лингвистически выражается в том, что продуктивными становятся те средства, которые вызваны актуальностью выражения соответствующих значений, независимо от того, являются они новыми или традиционными, исконно национальными или заимствованными (чаще из интернационального фонда). Актуальность, а следовательно, и продуктивность словообразовательных средств для терминологии всегда явление вторичное. Она отражает внелингвистическую актуальность, т. е. потребность в наименовании новых предметов, новых понятий. Например, *сверхпроводники, сверхпроводимость, сверхпроводящие (сплавы)* и многие другие образования со *сверх-*, посредством которых именуется новейшие материалы, их свойства и т. п., очень продуктивны во многих современных отраслевых терминологиях. Отчетливо наблюдаются «всплески» продуктивности отдельных словообразующих формантов в современной медицинской терминологии. В связи с новейшими достижениями в области инструментальных средств исследования появляется целая серия терминов с формантом *-скоп* (ср. *бронхоскоп, гастроскоп, ректоскоп, кальпоскоп, колоноскоп* и т. п.). Продуктивность моделей и формантов — результат актуальности понятий. В выборе словообразующих средств важную роль играет семантическая их специализация и традиция использования в отечественной и международной терминологии. При этом актуальность может «возродить» продуктивность таких словообразующих формантов, которые в общелитературном словообразовании остаются в числе менее продуктивных. Ср., например, образования на *-тель* (*дожигатель, замасливатель, опыливатель, переталкиватель, отклонитель, выкусыватель, обезвоздушиватель, обостритель, расцепитель, обесточиватель* и мн. под.). Известно, однако, что в общелитературном языке основная масса слов на *-тель* является старыми образованиями.

Благодаря принципу целесообразности в терминообразовании создаются свои, наиболее оптимальные для выражения специальных понятий средства (способы, модели, форманты). Оптимальность эта выражается в том, что используются предельно экономичные и в то же время семантически наиболее емкие приемы терминообразования.

Целесообразными в терминологии являются аббревиатурные по способу образования термины. Существует большое количество моделей аббревиатурного образования терминов, которым нет соответствия в об-

щелитературном словообразовании. Целесообразны комбинированные словесно-символические образования, термины-словосочетания, а также многие модели сложных по композиции слов, которым в общелитературном словообразовании не всегда найдутся или вовсе не находятся аналоги (ср.:  $P^0$ -мезоны,  $Z^0$ -частицы,  $W^{\pm}$ -частицы и мн. под.). Для оценки их нет идентичных критериев среди норм общелитературного словообразования. Поэтому их нормативность устанавливается не путем соответствия существующим моделям системы общелитературного словообразования, а посредством практической апробации собственно терминологических средств словообразования и общего соответствия их структуре языка науки, его лексического состава и способов терминообразования.

Принцип аналогичности в самом общем виде представляет собой следующее. Если для языка других функциональных разновидностей, например, для языка художественной литературы, эстетическая функция требует неповторимости средств изображения (описания), то для языка науки, его специальной лексики очень важна аналогическая повторяемость средств выражения аналогичных понятий. Именно поэтому появляются образования типа *лазер*, *мазер*, *гравез*; *бит*, *дит* (*binary digit* «двоичная единица» и «десятичная единица»); или: *землетрясение*, *моретрясение*, *звездотрясение*; или: *автобус* и *аэробус*; *телевизор* и *тепловизор* (в медицине — прибор, с помощью которого получают термограммы различных областей человеческого тела). Формирование аналогичных стандартных моделей или отдельных терминоэлементов обеспечивает классификационную регулярность терминов в соответствии с подобной регулярностью понятий. А это само по себе очень существенно для терминологической лексики.

Терминоупотребление, основу которого составляют категории и формы грамматического строя общелитературного языка, в своих особенностях не выходит, как правило, ни за пределы этих форм и категорий, ни за рамки действующих тенденций их развития. Однако для терминоупотребления в целом характерна большая, чем для общелитературного словоупотребления, вариантность форм. И это явление также, видимо, нельзя прямолинейно оценивать как такое, которое необходимо подвергнуть нормативным рекомендациям. Тем более, что в языке науки и творцы, и носители его не языковеды, а специалисты конкретных областей науки и практики. Так, если в одной терминосистеме *компонент* — жен. рода, а в другой *компонент* — муж. рода, то едва ли мы вправе «подравнять» эти варианты под какой-то «инвариант». Ср. с этим варианты межфункционального характера (литературно-профессиональные), например: *кегля*, -и, ж. р. и (техн.), *кегель* (*кегель*), -я, м. р.; *плато*, -а, ср. р. и (техн.) *плата*, -ы, ж. р.; *клавиша*, -ы, ж. р. и (техн.) *клавиш*, -а, м. р.; *желатин*, -а, м. р. и (техн.) *желатина*, -ы, ж. р. и т. п.

Даже для такого, казалось бы, самого «конвенционного» вопроса, как орфография термина, видимо, нельзя не считаться с терминологической вариантностью. Приведем лишь один характерный пример. Написание сложных цветообозначений по современной орфографии возможно лишь через дефис: *ярко-оранжевый*, *ярко-фиолетовый*, *бело-красный*, *синечерный* и т. п. А вот в термине «*синезеленые водоросли*» такое прилагательное пишется только слитно (см. словарную статью «*Синезеленые водоросли*» в БСЭ, 23, стр. 417). Встречающийся иногда разнореч (наряду со слитным и дефисное написание: *сине-зеленые водоросли*) в текстах газетных и журнальных статей объясняется, скорее всего, формальной корректорской правкой и отсутствием в нормативных словарях-справочниках соответствующих указаний. Ср. подачу профессионального ударения в орфографических словарях; «лавровый лист, лавровый венок; но (в ботанике)

лávровая роща, семейство лávровых» и т. п. (см. слова *лávровый* и *лаверб-вый* в словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение», под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова, М., 1959).

Итак, применительно к терминологии понятие нормы, нормативности имеет более широкий и сложный смысл. Языковая норма в терминологии должна учитывать особенности терминов как знаков специальных понятий и как лексики языка науки со своими функциями и особенностями. Часто то, что необычно в общепотребительной лексике, актуально и целесообразно в терминологии. Например, в общелитературном языке словосочетания типа *одно-однозначное соотношение, электронно-электронный переход, жирно-липидный* (т. е. *жиро-жироидный*) и им подобные должны быть оценены как тавтологичные, а следовательно, как стилистически уязвимые. В терминологии — это единственно возможный способ передачи необходимого значения соответствующих специальных понятий. В общелитературном словоупотреблении отвлеченные существительные типа *теплота, полнота, ширина* не имеют регулярных форм мн. числа. В терминологии формы *теплоты, полноты, ширины* необходимы для выражения параметрических значений, и поэтому соответствующие формы мн. числа создаются и употребляются без всякого труда. Акцентологические варианты типа *пульты́* (в космонавтике), а также *опухолéй, опухоля́х* (в медицине) и т. п. с точки зрения строгих литературных норм ударения и произношения оказались бы, без сомнения, за пределами возможных. В профессиональной речи они широко распространены, и не считаются с этим нельзя.

Приведенные и многие подобные им конкретные иллюстрации терминологического словообразования, словоупотребления, акцентологии и т. п. показывают, что многое в терминах не так, как в общепотребительных словах. Можно ли и нужно ли все эти случаи оценивать только с позиций строгих общелитературных норм? Вопрос сложный и крайне актуальный. При ответе на него необходимо еще раз подчеркнуть, что все указанные здесь особенности образования, употребления и т. д. терминов находятся в пределах возможного в языке в целом, его грамматической системы. Происходит известная актуализация того, что заложено в системе, но осталось в ее «запасниках». О насилии над системой, об ее извращении во всех этих случаях говорить нельзя. Поэтому, видимо, необходимы более гибкие критерии оценки терминов посредством введения понятия профессионального варианта нормы.

Профессиональный вариант нормы не вполне соотносим с вариантами общелитературного языка (где сама вариативность появляется обычно как реализация общезыковых тенденций, как результат развития и изменения норм и т. п.). Развитие специальной лексики языка науки идет не только по общелитературным каналам, поскольку она непосредственнее и теснее связана с объективной действительностью, чем лексика общелитературного языка.

Системность терминологии в целом может в известной степени «нейтрализовать» строго лингвистический подход к отдельным ее единицам с позиций критерия общелитературной правильности (ср. включение в отраслевые терминологии диалектных по происхождению, просторечных и иных элементов). Вместе с тем профессиональный вариант нормы, как правило, не противопоставляется нормам общелитературного языка. В большинстве случаев он стоит на переднем крае определенной тенденции развития норм общелитературного языка (акцентологических, морфологических и т. п.). Терминология как наиболее мобильная часть лексики «продвигает» эту тенденцию путем активной реализации ее на все новых и новых примерах.

Говоря об упорядочении, унификации современной научно-технической терминологии, о лингвистическом их обеспечении, мы в полной мере сознаем, сколь трудна эта работа, какой осторожности и ответственности она требует и от лингвистов, и от представителей конкретных наук. Лингвисты в большом долгу перед терминологами-практиками, поскольку очень многие проблемы, связанные с лингвистическим изучением современной терминологии, еще не изучены в полной мере, теоретически не осмыслены. Большую трудность представляет и «пропаганда» лингвистических знаний среди специалистов других наук, которые профессионально занимаются терминотворчеством. Практики привлечения языковедов на стадии рецензирования проектов отраслевых ГОСТов или готовых терминосистем недостаточно. Необходимо более тесное объединение усилий и знаний лингвистов и представителей других наук, занимающихся теоретическими и практическими вопросами терминологии.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ИБРАЕВ Л. П.

## НАДЗНАКОВОСТЬ ЯЗЫКА

(К проблеме отношения семиотики и лингвистики)

Одна из причин давней и до сих пор продолжающейся дискуссии о знаковости языка <sup>1</sup> — распространенное понятие знака как любой вещи, имеющей значение, представителя (репрезентанта) другой вещи. Оно идет от Ч. Пирса («Под знаком я понимаю любое, что сообщает какое-либо понятие об объекте» <sup>2</sup>), Ф. де Соссюра <sup>3</sup> и Э. Кассирера, который ставит себе в заслугу, что ему неизвестно другое определение знака, кроме как явления, имеющего смысл <sup>4</sup>, представителя предметов (Stellvertreter). Его разделяют Ч. Моррис <sup>5</sup>, Ч. Осгуд <sup>6</sup>, да и в нашей литературе оно не редкость. Именно из такого понимания знака логично вытекает знаковость языка и даже всей культуры, и всего мира, а сам человек объявляется «знаковым животным» («animal symbolicum»): ведь слова, образы и все вещи вокруг имеют для нас какое-то значение, вызывают представления, чувства, мысли, следовательно, все они знаки.

Вслед за Пирсом эти объемлющие мир знаки обычно разделяют на три вида: 1) индексы («естественные знаки», как их называл Т. Гоббс) — знаки, которые ассоциируются с обозначаемым объектом в силу связи, существующей между ними в природе (так, флюгер — знак направления ветра, туча — знак дождя и т. д.); 2) изобразительные («иконические») знаки — те, которые ассоциируются с вещью в силу сходства; 3) символы — знаки, являющиеся таковыми только «в силу соглашения» <sup>7</sup>.

Семиотизм в лингвистике, эстетике и других науках имеет принципиальное значение, поскольку предполагает, что все науки должны перейти на понятия и методы семиотики. Распространение понятия знака за его истинные границы назовем семиотизмом — в отличие от достойной

<sup>1</sup> Назовем несколько последних работ: Р. А. Будагов, Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени, М., 1978, стр. 47—50; В. З. Панифилов, Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания, ВЯ, 1979, 4, стр. 10—11, 14; Ф. П. Филин, Некоторые вопросы современного языкознания, ВЯ, 1979, 4, стр. 23; В. А. Звегинцев, К вопросу о природе языка, ВФ, 1979, 11, стр. 72.

<sup>2</sup> Ch. Peirce, Collected papers, Cambridge (Mass.), 1960, 1, стр. 285, 346; 2, стр. 135, 156, 169.

<sup>3</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 73, 77—79.

<sup>4</sup> E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, 3, Berlin, 1929, стр. 53, 109, 126, 165.

<sup>5</sup> Ch. Morris, Grundlagen der Zeichentheorie, München, 1972, стр. 20, 91, 93.

<sup>6</sup> «Семиотика и искусствометрия», М., 1972, стр. 287—288.

<sup>7</sup> Ch. Peirce, указ. соч., I, стр. 171, 196.

уважения семиотики, подобно тому, как различают механику и механицизм, физику и физикализм, химию и химизм и т. д. Связь, особенно в структурализме, с развитием символической логики, формализованных языков и кибернетики придает ему вид строгой научности.

В чем ограниченность семиотического «империализма»? Прежде всего в невнимании к материальной обусловленности человеческого сознания практикой и процессом отражения, а также в бедном и потому чрезмерно широком понятии знака и его недialeктическом рассмотрении вне развития и разносторонних связей.

Обычные вещи, природные или созданные людьми — хозяйственные и бытовые, конечно, вызывают у нас образы других вещей («несут информацию»), но не являются знаками в собственном смысле слова, потому что, во-первых, нейронно-синапсная связь между физиологическими основами образов таких вещей является обычным рефлексом или ассоциацией и свойственна всем животным с нервной системой, даже каким-нибудь медузам, хотя они и не применяют знаки; во-вторых, обычные вещи не являются средствами общения, потому что они либо никем не созданы (например, туча), либо созданы (как, например, стол), но не для сообщения о другой вещи; в-третьих, большинство объектов воспринимаются как вещи с какими-то практическими свойствами и сами по себе, безотносительно к психической связи их образа с образом другой вещи, а знаки — это вещи, созданные людьми, и сами по себе, вие своей знаковой функции, для нас бессмысленные: не природные вещи, не орудия и не средства потребления. Поймав в 1967 г. идущие из космоса периодические радиоимпульсы, английские астрономы приняли их сперва за сигналы веземной дивизии. Но как только открылись естественные закономерности пульсаров, они перестали быть знаками.

А как же символы? Изображение весов или лиры на фронте здания, лавровый венок, пиктограммы, схемы идеограмм, хотя бы дорожных, топографических знаков, перографов — разве они сами по себе бессмысленны? Но во-первых, эти вещи или их изображения становятся знаками только благодаря и с к у с т в е н н о с т и, т. е. прежде всего вырванности из закономерной для них ситуации. А весы на прилавке — не символ справедливости, а просто прибор для определения веса. Во-вторых, благодаря коммуникативной намеренности — расположения в ситуации, требующей знака. Весы, валяющиеся под прилавком, тоже находятся вне собственной закономерной ситуации, но не являются символом. Такова диалектика: объективная обесмысленность наполняет вещь знаковым смыслом, выделяя в ней признак другого, делает символом. И любая вещь, вынесенная из ее закономерной ситуации в коммуникативную, становится символом. Так, солнце становится символом силы жизни, колос — земледельцев, циркуль — конструкторов, монета — буржуазии, письменный стол — бюрократии, диван — лени, чайка — мечты о свободе, бунтующий — революции и т. д.

Лишь невнимание к практической действительности и собственной закономерности обычных вещей и к коммуникативной функции знака может приводить к обобщениям, вроде того, что одежда или пища есть знак, а одевание или питание — язык (Р. Барт). Идеализм не понимает первичности материальных взаимодействий, и ему просто необходимо представить одежду или родственные отношения не в качестве результатов или регуляторов экономических отношений, а всего лишь знаковыми системами, — только тогда их можно выдать за результаты каких-то абстрактных структур вроде языкового синтаксиса.

Обычные вещи — не знаки, а **признаки** (indication, Anzeichen). Признак есть просто вещь или явление, вызывающее рефлекс, ассоциа-

цию или мысль о другом. Виды признаков по их функции многообразны: о р и е н т и р ы — пространственные признаки; с и м п т о м ы — признаки явлений, скрытых внутри; п о к а з а т е л и — признаки уровня развития; п о к а з а н и я приборов — искусственные (созданные человеком) признаки; п р и м е т ы (Merkmal, token) — признаки отличительные: черты объекта, по которым можно узнать его тип (род, класс), средство узнавания (идентификации) объектов. В свою очередь среди примет выделяются: м е р а — количественная примета какого-то качества; к р и т е р и й — примета ценностных качеств, утилитарных, истинностных, эстетических, нравственных и т. д. По содержанию признаки бывают природные и социальные: психические, этнические, политические, эстетические и т. д. Конечно, одежда — как признак — может служить и знаком: пурпурные тоги и горностаевые мантии, короны, цилиндры или кепки, клеши или джинсы — намеренные знаки общественного положения, истинные или ложные. Но в первую очередь социальные вещи имеют практическое назначение и вместе с тем выступают признаками. Лоснящиеся обноски на человеке, конечно, свидетельствуют о его бедности или неряшливости, но не потому что он подает знаки, хочет об этом сообщить другим. Умствования Барта об одежде-языке для бедняка — просто издевательство. Тем более не знаки — природные вещи, не имеющие сообщающего.

Признаки — не знаки, но в одном похожи на знаки: они также имеют значение, способность вызывать образы других вещей; и даже могут быть многозначными: та же туча может предвещать и спасение урожая, и опасность молнии, и «рассеянную бурю». Таким образом, значение — шире знака. По этому сходству признаки называют знаками, и это верно метафорически, но приводит семиотистов к поспешным выводам о всеобщности знака и знаковости сознания.

На самом же деле сознание является, если можно так выразиться, признаковым. Это значит, что, во-первых, все окружающие вещи выступают для нас как признаки, т. е. рефлекторно, ассоциативно и мысленно вызывают образы других вещей. Во-вторых, образы вещи выступают ее приметами. Ведь каждую вещь мы видим каждый раз с какой-то одной стороны и угла зрения, поэтому в самых различных о б л и к а х; но в каждом из них мы опознаем ту же вещь или того же рода. Так, глядя на круглое отверстие чашки сбоку, мы видим вытянутый эллипс или даже полоску, но воспринимаем круг. При этом мы узнаем в вещи и такие прежде познанные свойства, которые в этот раз недоступны нашим чувствам и даже те, о которых вообще узнаем не зрением, а ощущаемыми движениями и действиями с вещью: ее пространственные формы и размеры, пластические свойства (твердость, упругость и т. д.), гравитационные (тяжесть или легкость) и т. д.

Признак шире и первичнее знака, а не наоборот, как это утверждают семиотисты. Все окружающие вещи выступают для нас как признаки, а знак — только вид признака, социально порожденный и социально функционирующий признак. Вещи являются объектами познания, но как признаки — они еще и средства познания; а знаки — прежде всего средство вызывания знания у других, т. е. сообщения. Но признаки являются е с т е с т в е н н о й о с н о в о й, из которой в общественной практике возник язык, подобно тому, как отражение в качестве всеобщего свойства материи является естественной основой сознания<sup>8</sup>.

Преобразование признаков в язык прошло по меньшей мере семь основных ступеней:

<sup>8</sup> См.: В. И. Я н е н и н, Полн. собр. соч., 18, стр. 40, 91.

1. Биологические признаки, морфологические и поведенческие, которые выполняют симбиотическую функцию в эволюции живых существ и способов их сосуществования (биодензов, симбиозов и т. д.). Так, когда случайные изменения формы, цвета и запаха листьев и выделение ими нектара вызывали у насекомых-опылителей благоприятную для растения реакцию, эти изменения закрепились естественным отбором и листья превратились в цветы. Нередко цветы называют сигналами для пчел и бабочек. В действительности, цветы не созданы растением с целью общения и служат только признаком, но уже естественно отобранным в качестве признака, а для самого растения лишним и только как признак благоприятным и для него, и для сосуществующих с ним животных. Аналогично происхождение и признаковое значение яркого оперения самцов у многих птиц и всей мимикрии, миметизма и других видов покровительственной окраски и формы.

У рыб, птиц, копытных и других стадных животных само поведение соседа становится признаком чего-то, воспринятого им и важного для других, почему и вызывает инстинктивное подражание действиям соседа. Но такое признаковое поведение неверно называть знаком или даже сигналом, потому что это обычное поведение — реакции, не имеющие целью общение.

2. Следующий вид признаков — выражения (экспрессии) — симптомы чувств, отраженных в мышечных движениях глаз, лица, рук, груди и гортани, а потому и голоса (интонация). Наличие в действии эмоциональных признаков называют его выразительностью. Восприятие выражений, как и всяких объектов, является двигательным («моторным»), включает их редуцированное мышечное воспроизведение: проговаривание, пропевание, протанцовывание и т. д.; мышечные же движения ощущаемы и поэтому вызывают те же чувства, которыми они сами вызваны; выражения «заражают» своей эмоцией других. Как показали исследования Ч. Дарвина, В. Келера, Н. Н. Ладыгиной-Котс и других зоопсихологов, выражения и «заражение» ими наблюдаются у всех общественных животных: беспокойство или умиротворенность одних быстро передаются другим.

Являются ли выражения знаками? Нет, потому что выражения являются задержанными признаковыми биологическими реакциями и потому, во-первых, они обычно не могут быть произведены произвольно, во-вторых, они подчинены ситуации, в-третьих, они закономерны в своей ситуации как реакции на нее, в-четвертых, они не имеют целью общение. Мы вздрагиваем, бледнеем, краснеем и т. д. не для того, чтобы сообщить другим о нашем испуге или смущении или тем более о внешних вещах.

Третья ступень — сигнал — искусственный признак с координационной функцией, а именно мышечное, звуковое, запаховое и т. д. действие для побуждения к действию других особей. Сигналы развились из признаковых реакций на биотическую ситуацию в результате совместной деятельности стадных животных, когда в их психике отразилась (в виде инстинктов у насекомых и условных рефлексов у высших животных) зависимость чужих действий, ставших важными, от собственных признаковых действий. Что касается психического значения сигналов, то оно очень абстрактно и бледно, если вообще о нем можно говорить: они обозначают не конкретные вещи, а только одно их общее и биотическое свойство: пища! опасность! не ходить! на помощь! и т. д., но и функция сигналов — не сообщение, а вызов сразу действия.

Поскольку в сигнале признаковая реакция производится уже не для непосредственного удовлетворения потребности, а для вызова нужных действий других, она становится биотически сокращенной и незавершен-

ной, но зато в ней увеличивается все, способствующее ее восприятию. Так, у обезьян просьба дать — это умоляющее выражение глаз и многократная имитация движений хватания, сигнал отказа от пищи — кривление губ и отворачивание морды.

Люди тоже применяют сигналы: двигательные — таковы некоторые жесты (указательные и побудительные), звуковые (звонки, колокола, гудки, сирены), световые (вспышки, смена цвета), электрические и т. д. — на транспорте, производстве, в войсках. Человеческие сигналы уже осознаны и условны, но тоже прагматичны и ситуативны: они несут некоторое общее сообщение о каком-то важном событии в ситуации — опасности, нарушения технологии процесса и т. д. и побуждение к действию (команду).

В кибернетике понятие сигнала, по-видимому, расширилось: здесь под сигналом подразумевают всякое воздействие (импульс) на самоуправляющуюся систему, которое приводит ее в самодействие, почему энергия внешнего действия несоизмерима (больше или меньше) с энергией действия системы. Первый признак здесь, кажется, отпал: сигналом служит не обязательно чья-то реакция на ситуацию. Но это объясняется тем, что компьютеры — не живые и не общественные системы; они созданы тоже для реакции на чужую реакцию, но реакции на ситуацию, важную не для них, а для их создателя — человека и закодированную в их программе. Таким образом, прагматичность и ситуативность сигнала сохраняются и в кибернетике.

В какой мере являются сигналы знаками? Как и знаки, они вызывают образ, но во-первых, очень абстрактный, во-вторых, прямая функция или цель сигнала — не сообщение, а чужое действие, в-третьих, сигналом служит явление, т. е. движение, которое, следовательно, возникает и исчезает, а знаком может быть не только явление, но и вещь, т. е. относительно устойчивое материальное образование. И это не случайная мелочь, а проявление другого и более существенного четвертого различия — ситуативности сигнала: сигнал означает реальное окружающее и как реакция определяется ситуацией, а знак может означать и воображаемые объекты и вызываться не ситуацией. Таким образом, сигнал — уже знак, но еще ограниченный, низший вид знака.

Поэтому распространение с конца прошлого века и до сих пор разговоры о «языке животных», даже кур, муравьев и пчел, являются гиперморфизмом — возведением низших форм в высшие, если не метафорой. У животных существует не язык, а признаковое поведение, выражения и сигналы, хотя уже и они являются опосредованным способом регулирования поведения и, следовательно, определенного предвидения. Даже для прирученных животных наши слова — не более, чем сигналы. Попытки психологов научить обезьян обозначать вещи звуками показывают, что и такие звуки обезьяны употребляют просто как побудители к действию: дать им пищи, воды и т. д. Инстинкт не может быть психической основой языка в принципе, потому что он исключает произвольность и неситуативность действия.

Противоположное заблуждение — низведение знака до сигнала в бихевиористской концепции знака характерно для Дж. Уотсона в психологии, Ч. Морриса в семиотике, Ч. Огдена и А. Ричардса в эстетике, Л. Блумфилда в лингвистике, П. Бриджмена в гносеологии<sup>9</sup>. Причина

<sup>9</sup> См.: Дж. Уотсон, Психология как наука о поведении, М.—Л., 1926, стр. 303—305; Ч. Моррис, указ. соч., стр. 42, 52, 68; С. К. Огден, I. A. Richards, The meaning of meaning, New York, 1956, стр. 11, 200, 244; Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 142—164; P. W. Bridgman, The logic of modern physics, New York, 1927, стр. 5—7.

такого редуktivизма — намеренно биологический подход, а у животных существуют именно сигналы, функция которых — вызов именно действия.

Четвертая и пятая ступени — притворные выражения и обман ные сигналы, возникающие у высших животных, особенно обезьян. Такие выражения и сигналы применяются в игре или для обмана других членов стада или даже животных другого вида. Если в быту кто-то нахмурит брови, не испытывая на самом деле недовольства, — это притворное выражение.

Являются ли знаками притворные выражения? Они уже произвольны и независимы от ситуации, как это свойственно знаку, но их цель — вызвать непосредственно реакцию-поведение, а не образ, сообщение не знания (информации), а, наоборот, заблуждения (дезинформации). Таким образом, искусственное выражение — это переход от признака к знаку, но еще не знак, потому что т о л ь к о ложный знак.

Однако из искусственных выражений и сигналов в процессе общего труда развилась способность производить сигналы независимо от ситуации, чтобы вызвать только образ, а не обязательно сразу действие, и, следовательно, произошел переход к шестой ступени — **знаку** в полном смысле слова. Причина превращения выражений и сигналов в знаки — не просто совместная деятельность, а совместный труд, который создал необходимость вызывать не сиюминутные действия на наличную ситуацию, а образы в чужом сознании для влияния на будущие действия в будущих ситуациях. Человеческие жесты, как стихийные, так и условные (кодифицированные), например, жесты этикета или глухонемых, в большинстве тоже имеют целью сообщение, т. е. являются знаками.

Итоговое определение знака: знак есть вещь или явление, 1) д о с т у п н о е в о с п р и я т и ю, 2) и с к у с с т в е н н о е (произведенное человеком), 3) п р о и з в о л ь н о е (управляемое) и потому 4) н а м е р е н н о е — с целью вызвать и 5) вызывающее в сознании как его производителя, так и воспринимателя о б р а з 6) д р у г и х, отличных от него вещей или явлений, т. е. применяемое для памяти или общения, а 7) в н е э т о й м н е м о н и ч е с к о й и к о м м у н и к а т и в н о й ф у н к ц и и в своей ситуации н е з а к о н о м е р н о е.

Некоторые виды знаков, соответствующие видам признаков: индекс — искусственный показатель; у к а з а т е л ь — искусственный ориентир; м е т а — искусственная примета (зарубки, клейма, печати, значки). Когда мета употребляется только для узнавания, а не коммуникации, она может быть индивидуальной и еще не является знаком. Но всякая мета соединена с обозначаемым объектом, поэтому еще не свободный знак.

Сама вещь или явление, действующие как знак, называется носителем знака, медиатором или просто знаком (по Соссюру, «означающим»). Медиатор создается искусственно и потому стал возможен только с развитием человеческой способности к созиданию. Его материальную структуру образуют меты — искусственные типизированные и з о б р а ж е н и я элементов его звучания или графики как средства его узнавания, поэтому в них действует закон обобщений — различий, т. е. типов. Таковы фонемы как элементы морфем; так называемые (по Трубецкому) «различительные (дифференциальные) признаки» (а вернее — меты) фонем; графемы — элементы иероглифов и букв; точки, тире и паузы в телеграфном коде и т. д. Их значение — «быть элементом знака» — является обычным для признака отношением части к целому. Система типов-мет и составляет алфавит какой-то знаковой системы.

Что является значением знака? Многочисленные концепции значения можно свести к двум. Первая — о б р а з н а я: значение знака есть

явление сознания — образ: представление или понятие (идея, концепт, сигнификат). Такое понимание значения с древности выдвигается материализмом, видящим в значении знаков отражения объектов, и объективным идеализмом, который, однако, принимает значения за объективные идеальные сущности, «универсалии». Образная концепция, конечно, в материалистическом понимании, разделяется большинством советских семиотиков, лингвистов, психологов и логиков, хотя некоторые неточно определяют значение как отношения знака к образу. Вторая — объективная (предметная, денотатная) концепция: значение знака — обозначаемые объекты (предметы, денотаты)<sup>10</sup>. Поскольку действия и отношения тоже объективны, она включает концепции: а) действительностную (функциональную), как бихевиористскую, так и операционалистскую<sup>11</sup>, б) структурную (синтаксическую) Соссюра, Витгенштейна, Трира, Ельслева, Харриса и других дескриптивистов: значение знака — его отношение с другими знаками (функционалирование, применение в языке, возможные сочетания)<sup>12</sup>. Этот взгляд абсолютизирует иллюзию составителей словарей, которые выявляют значения по контекстам и описывают их через отношение к синонимам, антонимам и другим словам («лексическим полям»), и противоречит всякому необычному употреблению слова в метафоре или новой мысли. В действительности же, наоборот, значение слова определяет его употребление, а структуралисты рассматривают не значения, а отношения значений. Так и пресловутое «измерение значения» Осгуда есть всего лишь числовое и геометрическое обозначение отношений слов к трем парам антонимов, точнее, к трем парам тощих абстракций, полученных от них посредством их метафорического осмысления.

Объектное понимание значения выдвинуто номинализмом и развивается в наши дни позитивизмом, исходящим из неприятия «экстралингвистического» мира и тем более внутренних образов как индивидуальных и якобы недоступных объективному научному наблюдению (а только интроспекции). В применении к ложным знакам, косвенным высказываниям, отрицанию и синонимии объектная концепция ведет к абсурдам, указанным Расселом и впоследствии названным «семантическими парадоксами»<sup>13</sup>, или даже к признанию тех же универсалий. Другие абсурды возникают при применении к ней диалектики содержания и формы, общего и единичного, субъективного и объективного, где неудовлетворительной оказывается и образная концепция. Их анализ позволяет сделать вывод, что значение знака — отражение, но не пассивное, а относимое к самим объектам в нашем практическом взаимодействии с ними, короче, значение является практическим образом. Значение знака — это вызываемые им образы, а именно: образы объектов соответствующего типа (класса) — объектное значение, которое включает также эмотивное значение — образы чувств (именно образы чувств, а не сами чувства: мы можем понимать чувство другого, но не испытывать его); образы возмож-

<sup>10</sup> См.: Д ж. С. М и л л ь, Система логики, гл. II, М., 1899, 5; Г. Ф р е г е, Смысл и денотат, «Семиотика и информатика», 8, М., 1977, стр. 183; Р. К а р н а п, Значение и необходимость, М., 1959, стр. 205.

<sup>11</sup> См.: С h. Р e i g e, указ. соч., 1, стр. 15; v. 2, стр. 315; С. M o g g i s, указ. соч., стр. 20, 42; Л. Б л у м ф и л д, указ. соч.; Р. M. B r i d g m a n, указ. соч.; А. П о л т о р а ц к и й, В. Ш в ы р е в, Знак и деятельность, М., 1970, стр. 45—47.

<sup>12</sup> Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 112—116; L. W i t t g e n s t e i n, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt-am-Main, 1971, стр. 69. Л. Е л ь с л е в, Можно ли считать, что значения слов образуют структуру, в кн.: «Новое в лингвистике», 2, М., 1962, стр. 125—136. Л. Б л у м ф и л д, указ. соч., стр. 46—48.

<sup>13</sup> В. R u s s e l, Logic and knowledge, London, 1956; Г. Ф р е г е, Там же, стр. 181—182.

ных действий с объектом — его обобщенное отражение, и потому средство управления нашими действиями с ним, что в свою очередь является основой идеальности психических образов и в то же время чувства об объективности образов, направленности нашего восприятия и действия на объект [так называемой интенции образов и указания (денотации) и репрезентации знаков]. Мы говорим о мире, а не о его образах. Это двигательное значение порождает релятивное и, в частности, логическое и синтаксическое (грамматическое) значение — образы отношений между значениями знаков как абстракции отношений между объектами. По преимуществу синтаксическое значение имеют в естественном языке аффиксы, предлоги, послелоги и союзы, в логике — операторы  $\subseteq$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  и т. д., в математике — знаки математических операций  $+$ ,  $0$ ,  $\int$ ,  $\sqrt{\quad}$  и т. д. Поэтому ограничение синтаксическим значением правомерно только для формализованных языков, да и то при их теоретическом рассмотрении, но не в применении.

Идущее от Беркли мнение, будто образ, поскольку он единичен, не может передать общее, недialeктично: каждый единичный образ содержит в себе общее, а общее существует только в единичном<sup>14</sup>; поэтому понятие столь же противоположно представлению, как и тождественно ему: поскольку знак скрепляет образы многих в чем-то подобных друг другу объектов, он служит материальным средством обобщения, образования целых систем из представлений. Значение знака — представление, но не подробное представление конкретного объекта в целом, а объединенное и одновременно сокращенное — система элементарных представлений признаков (десигнатов), общих (инвариантных, одинаковых) у всех объектов обозначаемого типа (поскольку представления только общих признаков повторяются при многих употреблениях знака и многими разными людьми); и вместе с тем и отвлечение (абстракция) от других, индивидуальных признаков. Иначе говоря, значение знака есть понятие (концепт), обыденное или научное (понятие о звезде неграмотного крестьянина и астронома), или, пользуясь метким названием Канта и Гегеля, с х е м а. Так, схему понятия треугольника образует представление трех линий и трех их пересечений — углов, а их цвет, размеры и т. д. допускаются любых вариантов; и схема возможна, потому что л ю б о й единичный треугольник содержит эти признаки треугольника вообще.

Поскольку значение есть образ, его деление подобно делению отражаемых в нем объектов; поэтому части образа — это ощущения и соединения ощущений — черты, т. е. тоже образы, но не «атомы», «единицы значения», так называемые «семь», «компоненты», «маркеры». Образы подчинены диалектике общего — различного, а в отношении к отражаемым объектам «по объему» более «простые» образы, наоборот, шире более «сложных». Идея «сем» навеяна семиотистским воображением самого значения каким-то дискретным образованием самих по себе и отдельно друг от друга значимых частей, т. е. знаков же. Удивительно, как при этом не замечают «парадокса» порочного круга: а что образует значение самих сем? — новые семы? — а значение новых сем? — и т. д. к дурной бесконечности.

Система значений знаков вовсе не новый «семантический язык», а мировоззрение, хотя мировоззрение шире системы значений; и образуется оно не из «сем», а из понятий, и не механическим «умножением» «семанти-

<sup>14</sup> См.: И. Кант, Соч., 5, М., 1966, стр. 374; Г. Гегель, Соч., 3, М., 1965, стр. 263—266; В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 90.

ческих множителей», а образами их отношений — законов. Некоторым прикладным упрощением системы научных категорий и являются информационные «языки» («семантические коды»). Выявление системы категорий чрезвычайно важно, и над ним тысячи лет трудятся философия и специальные науки.

Объект, образы которого вызывает знак, обычно называют обозначаемым, а в специальной литературе — денотатом (denotation), или экстенционалом, а их совокупность — родом, классом или объемом. Выделение в образе денотата различных, но частично накладывающихся десигнатов ведет к развитию многозначности денотата — синонимии, хотя, строго говоря, различные десигнаты есть разные объекты, почему отношение значений синонимов (по выражению Соссюра, их меновая стоимость, *valeur*) приводит к их взаимному отграничению (например, появление слова *оранжевый* сузило значение слова *красный*).

Знак (медиатор) является материальным посредником между обозначаемым объектом и его образом — значением, но не «замещает» обозначаемое, как утверждают Пирс или Моррис, и сам по себе не представляет (не «репрезентирует») его (Кассирер, Бенвенист<sup>15</sup>). Между знаком и обозначаемым объектом нет никакой непосредственной связи, ни материальной, как кажется вульгарным материалистам Моррису или Бензе<sup>16</sup>, ни изоморфной, как думает Витгенштейн, ни тождественной «связи тела и души», как воображает Кассирер (стр. 117). Рассуждения о прямой связи знака и объекта («денотации») — мистика. Обозначать объект — значит просто вызывать в сознании его образ. Связь знака и объекта осуществляется только через их образы. Обозначение знаком объекта (семиозис, сигнификация) есть вызывание им образа, отражающего этот объект, а объектом или его образом — знака. Производитель знака идет от объективной вещи к ее отражению — субъективному образу, а от него опять к объективному знаку. Восприниматель (перципиент, интерпретатор) идет в обратном направлении от знака к образу и от него к вещи. Знак оказывается единством противоположностей — объективных вещей и объективных медиаторов и их субъективных образов. Поэтому обозначение — отношение знака к объекту — есть тоже прагматика, а не «чистая» семантика, как думают Пирс, Моррис и их ученики.

Но почему же знак вызывает в сознании образ обозначаемого объекта? Благодаря психической связи между образами объекта и знака. Вот почему знак существует только относительно субъекта-истолкователя, т. е. имеющего такую связь образов.

Что служит основой этой нервной связи? Очевидно, она отражает объективную связь объекта и знака. Какую? У признаков это — природная причинная, пространственная или временная связь вещей. Благодаря ей туча свидетельствует о приближении дождя, кашель — о болезни и т. д. Признак есть часть прежней ситуации, и его появление напоминает об остальной ситуации. На это объективное основание образования психических связей между образами признаков обратил внимание еще Гоббс.

Но между знаком в собственном смысле слова и обозначаемым объектом (скажем, между звуко сочетаниями: *стол*, *Tisch*, *table* и соответствующим предметом мебели) обычно нет никакой природной связи, ни причинной, ни пространственно-временной. На чем же тогда основана психическая связь их образов? Вот вопрос, на который ни гегельянцы, ни позитивисты не в состоянии ответить, а эта неразрешимость проблемы толкает их

<sup>15</sup> E. Cassirer, указ. соч., 3, стр. 165; Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 76.

<sup>16</sup> C. H. Morris, указ. соч., стр. 98; M. Benze, *Aesthetica. Einführung in die neue Aesthetik*, Baden-Baden, 1965, стр. 304.

к фантазиям: одни, как Кроче или Кассирер, вызывание знаком смысла объявляют «творением», «порождением» сознанием объектов [чувственное (sinnlichen), т. е. знаковый субстрат, «символическая форма» «конструирует» реальность (Bd. I, стр. 18)] или даже «чудом» (Bd. I, стр. 27); другие полагают, что значение — это какая-то субстанция (например, «информация»), «находящаяся внутри знака», а третьи, как Пирс или Соссюр, объясняют его по Гоббсу конвенциалистски — произвольным общественным договором.

Конечно, существуют знаки, образованные по более или менее произвольному соглашению (искусственные). Но на каком языке договаривались наши предки о значении слов, когда языка еще не было? Это нелепость конвенциализма, высмеянная еще Руссо. Естественные человеческие знаки — не конвенция, они имеют такое же объективное основание, как и природные признаки, только уже общественное основание, а именно — производственную и бытовую совместную деятельность и инвариантную реакцию окружающих на них. Не произвольное соглашение, а древность происхождения превратила лиру в символ музыкального искусства, развитие денежных отношений превратило золото в символ власти и богатства, а наибольшая артикуляционная простота превратила звуки *мама* или близкие им в чуть ли не международное название матери. Однако эта объективная общественно-практическая связь первоначальных звуковых сочетаний с обозначаемыми вещами обычно стерта последующим фонетическим и семантическим развитием языка.

Признак — естественная основа знака; но переход признаков в знаки был скачком в новое качество, во многих отношениях противоположное, и, следовательно, отрицанием признака: заменой естественного происхождения — искусственным созданием, произвольности — намеренностью, практических качеств — коммуникативной функцией, естественно обусловленной связи с обозначаемым объектом — социально обусловленной связью.

При обмене знаками не происходит «передачи» или «обмена» образов, это только метафоры. Представления, мысли и чувства говорящего никуда не выходят за пределы его тела. Как верно отмечает ряд исследователей<sup>17</sup>, при обмене знаками происходит вызывание образов у других. Это явное отсутствие материального переноса образов при общении и незнание какой-либо другой основы общения приводит Шлига, Огдена и других к отрицанию самой возможности общения посредством языка, к выводам о полном плюрализме значения: творцом речи объявляется не автор, а слушатель.

Однако знаковое общение — факт, а основано оно на том, что у производителя и воспринимателя знака вызываются п о д о б н ы е образы. Следовательно, чтобы знаки служили средством общения, очевидно, необходимо, чтобы подобные друг другу образы знака и означаемого и связи этих образов существовали в головах тех, кто общается. Только тогда слова говорящего будут вызывать соответствующие образы у слушающего. Этот образ мира, составляющий общее знание говорящего и слушающего и предваряющий и определяющий восприятие (смысл) знака, и является тем, к чему теперь подходят лингвисты, именуя по-разному: предпосылкой (Voraussetzung), презумпцией или (пре)суппозицией (presupposition)<sup>18</sup>,

<sup>17</sup> См.: А. Потебня, Мысль и язык, Харьков, 1913, стр. 110; Л. О. Резников, Гносеологические вопросы семиотики, Л., 1964, стр. 50, 52, 56; В. З. Панафилов, Философские проблемы языкознания, М., 1977, стр. 97; А. М. Коршунов, Отражение, деятельность, познание, М., 1979, стр. 66.

<sup>18</sup> Т. Виноград, Программа, понимающая естественный язык, М., 1976; Е. В. Падучева, Понятие презумпции в лингвистической семантике, «Семиотика и информатика», 8, М., 1977, стр. 91—96.

■ Мастерман (1964) и Шрейдер (1965) в своей кибернетической модели семантической информации — «тезаурусом»<sup>19</sup>. Однако все они мыслят эту предпосылку понимания не образной, а знаковой (семы).

Только подобие связанных со знаком образов превращает личные меты в общественные знаки в полном смысле слова, т. е. в средства общения. Но подобие в образах и их связях у людей может быть только отражением подобия их практики. Общение основано на подобии в опыте и потому в сознании. Разумеется, ни духовная, ни бытийная общность не бывают абсолютными, отчего в значении знаков есть не только общее для какого-то круга людей, но и индивидуальное («субъективное»), существующее только для одного человека (крайний случай — речь шизофреника). Вот почему при несовпадении опыта бывает так трудно передать другому свое представление. Отвечающий знаку образ у его производителя есть подразумеваемый смысл, а у воспринимающего знака — воспринимаемый смысл. В зависимости от собственного духовного содержания человек воспринимает от знака больше или меньше, чем подразумевал сообщающий. Общее у подразумеваемого и воспринимаемого смысла и составляет сообщение. Поэтому значением может быть только общее в образах, вызываемых знаком в сознании разных людей определенного социума; значение — это понятие, связанное со знаком в общественном сознании, следовательно, оно столь же субъективно, сколь и объективно.

Общая практика не только порождает общий смысл — значение знаков; та же практика служит средством проверки взаимопонимания и исправления его искажений, — контроль говорящим понимания слушателя осуществляется по реакции слушателя на знак — ответным действиям и знакам. Аналогично кибернетика разрабатывает в настоящее время способы контроля по «обратной связи» искажений («шумов») в передаче информации. Вот почему — вопреки номинализму — нахождение общего в интроспекции и практических ответах определенных социальных кругов позволяет установить значение знаков вполне объективно.

Хотя словом «знак» называют также и один его медиатор, считать знаком только медиатор, а значение явлением просто сознания — неверно. Значение, конечно не заключено внутри знака, а лишь связано с ним, но, во-первых, оно входит в сущность знака. Во-вторых, значение — психический образ, но не всякий, а особый, языковой; это элементы общественного сознания, связанные со знаком и благодаря этому обобщенные, отчлененные от других образов и соотносительные с ними, а также обобществленные, т. е. подчиненные через знак обществу, а тем самым и воле самого индивида.

Однако какое сообщение несет знак, если значение знака воспринимаемому известно заранее? Новость заключается в вызывании в сознании воспринимающего образа, который в его ситуации без знака бы не появился. Отдельный знак дает ситуативное сообщение — новое относительно ситуации.

Однако сверх вызывания известных обоим говорящим образов, знаки позволяют передать связь образов, а новая связь образов и есть новый образ, мысль и, следовательно, сообщение, независимое от ситуации, — абстрактное. Однако связь знаков есть переход на следующую ступень развития знаков — язык, и его жизнь — речь, потому что связь знаков позволяет обозначать то, для чего нет знаков.

<sup>19</sup> М. Мастерман, Тезаурус в синтаксисе и семантике, в кн.: «Математическая лингвистика», М., 1964, стр. 160—213; Ю. А. Шрейдер. Об одной семантической модели информации, в кн.: «Проблемы кибернетики», 13, М., 1965, стр. 233.

Общественно-практическая сущность значения, обозначения и общения показывает, что язык — система, но не автономная и саморегулирующаяся, не сочетание материальных носителей знаков самих по себе (речь или «текст»), которые каким-то мистическим способом находятся во «внутренних отношениях» друг с другом, «порождают» значения и «представляют» вещи, как считают Соссюр, Ельмслев или Бенвенист. Отрыв языка от функционирования в социальной коммуникации — общепризнанный и основной изъян теории структуралистов. Именно поэтому они усматривают язык и в природе, где нет общения. Язык социален не в том смысле, что образован конвенциональными нормами грамматики и лексики. Само значение знаков вовсе не внутри, а в н е знаков — наши образы объектов и действий с объектами. Само обозначение и общение осуществляется посредством знаков, но в н е их — через нашу практику и сознание. Аналогично сама связь знаков друг с другом осуществляется тоже в н е знаков — через наше сознание как связь образов обозначаемых объектов. Таким образом, язык — только п о д с и с т е м а системы, именуемой обществом. А речь или текст сами по себе, без интерпретатора, — не какая-то автономная сущность и не система, а т о л ь к о ф и з и ч е с к а я структура звуков или крючков, для природы даже случайная.

Элементарная связь знаков в общем виде означает отнесение к одному знаку другого посредством третьего, означающего это отнесение. Поэтому элементарная связь знаков должна содержать минимум три знака: два соединяемых и еще один знак их связи. Члены этой связи давно установлены логикой и лингвистикой: 1) субъект ( $S$ ), тема — знак и образ, к которому относится другой знак и образ; 2) предикат ( $P$ ), рема — тот знак и образ, который отнесен к  $S$  и 3) связка ( $R$ ) — знак и образ связи, каковы языковые морфемы предикации (служебные слова и аффиксы), логические и математические операторы. Поскольку предикатные знаки означают отношение других знаков друг к другу, они в отдельности от других знаков теряют значение, становятся несамостоятельными, — языковой формой. Набор возможных для какого-то самостоятельного знака однородных несамостоятельных знаков называют парадигмой. В общем виде связи знаков можно обозначить  $SRP$  и назвать утверждением (рассматривая отрицание как его вид); все остальные грамматические связи — его развитие, синонимы, конечно, со своими дополнительными десигнатами (оттенками), различными в разных языках. Так, глагол — обычно знак, соединяющий в себе  $P$  и оператор  $R$ , аналогично предикатам второй степени в символической логике; наречие есть  $P'$  к  $P$  и т. д. Морфологические категории слов (части речи) являются снятыми (преобразованными посредством аффиксов) членами предложения (почему в них есть соответствие философским категориям), а морфология — снятым синтаксисом. Естественно, что там, где нет несамостоятельных морфем, как в значительной мере в китайском или в языке глухонемых, там нет и частей речи. Таков рациональный смысл основных элементов языковой структуры, которую в структурной и генеративной лингвистике представляют автономной, а не в виде отражения в значениях знаков-связок законов отношения вещей.

Надо полагать, что первоначально субъектом утверждения был непосредственно в ситуации наличный объект или его образ, как и сейчас бывает у начинающих говорить детей, да и у взрослых в ситуативных сообщениях: при установке указателя или в речи о наличных объектах. Обращая внимание на объект, говорят: «Светает», «Собака» и т. д. Видимый объект или его образ служат субъектом этих утверждений, а взгляд или жест указания — знаком связи. Здесь слово и предложение совпадают в одном предикате. Позже, вместе с языком, развилось отнесение образа к образу. Но и отношение к речевой ситуации в языке сохраняется — в значениях

знаков локации: отношение ко времени и пространству речи, участникам коммуникации (лицо), модальности и т. д.

Связь знаков означает связь образов и порождает четвертый компонент — дополнительный смысл знакосочетания в целом (обозначим его *W*), которого нет ни в значениях *S*, *P* и *R* порознь, ни в сложении их значений<sup>20</sup>. Так, словосочетание *светло-синий* дает совершенно новое значение — «голубой», какого нет ни в слове *светлый*, ни в слове *синий*. В словосочетании *Обедающий взял голубую чашку* появляется схематический образ пальцев, зажимающих кончиками ручку чашки, их желтый цвет, контрастный цвету чашки, приподнятость чашки над столом, хотя ни образа пальцев, ни их цвета, ни сжатости, ни стола нет в значении слова *взять* и слова *чашка*.

Это изменение смысла знаков в их сочетаниях, которое можно назвать *созначением* (коннотацией), а новый образ — *смыслом* (коннотатом), ситуативным (шире: историческим) или контекстным, является основным законом языка. Он вскрывает, в частности, ошибочность расистских выводов гумбольдтианцев: указывая на то, что наше восприятие мира расчленяется понятиями — лексическими и грамматическими значениями, они изображают умы народов пленниками собственного языка<sup>21</sup>. Идея посредствующей роли языка в понимании мира, конечно, верна: каждое слово и обобщает, и расчленяет воспринимаемое. Голубизна, тяжесть, размер, форма и т. д. отдельно от целой вещи не существуют, но отдельные слова, обозначающие их, есть. И различие этого членения мира по значениям слов в разных языках — факт. Но, с одной стороны, человек не утратил способности животных воспринимать мир и до языка; само членение мира по значениям морфем порождено предшествующим опытом народа и следовательно, вторично; с другой стороны, словосочетания порождают новый смысл (*W*) и тем самым преодолевают ограниченность значений слов и аффиксов, почему мышление снимает различие семантических структур языков. Поэтому содержание сознания намного шире всех языковых значений. Значения морфем и слов — понятия, но понятия не тождественны значениям морфем и слов, они могут быть обозначены словосочетаниями и целыми теориями. Вот почему самые разные языки могут обслуживать однотипные культуры и наоборот. Язык — не оковы ума, а средство нашего владения чужим и своим сознанием. Гумбольдтианский же языковой фатализм выведен именно из сведения языка к словарям и грамматикам.

Однако откуда этот новый смысл знакосочетания? Ему неоткуда взяться, как только из представления действительности (речевой предпосылки). Если морфему и слово знают, то новое слово и словосочетание понимают. Понимание смысла соединения знаков есть создание на основе всех их образов нового образа — такого, какой может соответствовать представлению действительности.

Поэтому всякое сочетание знаков вызывает прежде всего потребность в понимании, а причиной непонимания может быть не только незнание языка, но также незнание обозначаемого явления или оттенков его восприятия — отсутствие общего представления действительности, или способности воображения (такие люди не понимают или почти не понимают фигураль-

<sup>20</sup> См.: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., стр. 85.

<sup>21</sup> Критику гумбольдтианства см.: М. М. Г у х м а н, «Лингвистическая теория Л. Вайсгербера, в кн.: «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961; Л. О. Р е з н и к о в, Проблема значения слова в свете ленинской теории отражения, ВФ, 1969, 11, стр. 27; В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 66—112; е г о ж е, Философские проблемы языкознания, М., 1977, стр. 17—44.

ных выражений), или, наконец, бессмысленность высказывания, невозможность его соответствия чему-либо в действительности, как это бывает при оторванности воображения от реалий у чрезмерно возбужденного или сумасшедшего, или просто от декадентской страсти запатировать. Знакосочетание, не подтверждаемое действительностью, ничего не означает, и его загадочность возбуждает только раздражение и неудовлетворенность.

Поэтому осмысленное высказывание порождается не механическим соединением знаков. Поиски Витгенштейном формальных критериев осмысленности словосочетаний не могли привести ни к чему, кроме понятия о их правильности. Осмысленное высказывание порождается видением какого-то образа в действительности и нахождением соответствующих ему слов, т. е. конкретная структура и смысл знаковосочетания определяются мыслью, а не какими-то правилами, «чистыми формами», и в рамках только языка непредсказуема. Весь лингвистический формализм, и в частности школа Хомского, логически вытекает именно из понимания языка как свода правил, существующих в сознании говорящего. В действительности, никакого синтаксиса, отдельного от смысла, в сознании говорящего нет. Грамматические правила (исключая орфографию и другие условные правила кодирования) являются абстракциями от законов речи, полученными наукой веками труда, но в речи о них обычно не вспоминают даже те, кто их знает, подобно тому, как природа не думает о законах Ньютона или Максвелла, хотя и действует по этим законам. Многие «трансформы» произошли из *SRP* и с т о р и ч е с к и, но говорящие таких трансформаций обычно не производят. Язык — не правила, а средства — значимые единицы; внутренняя ф о р м а языка — это значения служебных слов и аффиксов. И даже влияние образцов сочетаний языковых единиц обусловлено только тем, что несамостоятельные единицы вне этих сочетаний не существуют и вычлениаются их сравнением. Нет «глубинной структуры»; есть представление о т и о ш е н и й вещей, таких, как действие, его субъект, объект, атрибут, количество и т. д., единое к тому же с целым смыслом. Представление действительности и соответствие ему смысла, образуемого связью значений морфем и слов, — вот определяющий закон порождения и понимания знаковосочетаний, а стало быть, и другой основной закон языка.

Особый вид связи знаков — **метафора** (троп) — в широком смысле всякий перенос концента на отличный тип детоната. Ее компоненты, выделяемые, например, Потебней: «сравнение» слов А и В по «общему признаку», или выделяемые Ричардсом [tenor, тема, то, что сравнивается, vehicle (передатчик), то с чем сравнивается, и основание их сравнения (ground), общее в них <sup>22</sup>], являются обычными элементами утверждения *SRP*. Поэтому метафора также не может состоять из одного слова, разве что с новым аффиксом (неологизм) или в новой ситуации. Специфика метафоры в необычности соединения морфем или слов, создающим поэтому у них такой смысл (*W*), который не является обычным в языке их значением. По характеру своего образа (*W*) метафоры могут быть самыми различными: наглядными (Пушкин: у фонтана «серебряная пыль»), эмоциональными (Лермонтов: «Ее степей холодное молчанье»), понятийными (Гете: «Теория, мой друг, сера»; теория не имеет цвета — подразумеваются ее схемы, которые неполнотой похожи на серый цвет). Поскольку метафора опирается на содержательное отношение — подобие, неудачны попытки семиотистов представить ее через пересечения и объединения теории множеств (resp. логики классов), рассматривающих количественные (~ экстенциональные) отношения.

<sup>22</sup> I. A. Richards, The philosophy of rhetoric, New York, 1936, стр. 93.

Речь (употребление языка) состоит в образовании знакосочетаний для обозначения различных явлений, в частности, и новых для нас; а обозначение старыми знаками нового явления и есть метафора, которая поэтому в рамках языка тем более непредсказуема. Метафора — порождение противоречия языка с видением действительности — недостаточности языка — и одновременно средство преодоления этого противоречия, средство развития языка. Естественна ее широкая распространенность в речи: *тонкий голос, солнце встает, ножки стола* и т. д. Она обычна даже в науке: *электромагнитные волны, спин*, да и сами термины *метафора, vehicle*. В математическом уравнении любого физического закона приравниваются различные сущности; например, в законе Бойля — Мариотта  $P_1/P_2 = V_2/V_1$  — отношение сил давления сравнивается с отношением объема газа.

Особая метафоричность художественной речи обусловлена потребностью обозначать многообразие восприятий, часто очень необычных. Но не в метафорах источник поэтичности, как полагают формалисты, заподозрившие в ней средство обновления («остранения») и продления восприятия («затруднения»). Такое поспешное заключение толкает к самоцельной погоне за метафорами, хотя метафора употребляется и в сухих научных текстах, а поэзия, как давно показано, возможна и без метафор, например, у Пушкина они не часты. Истинная метафора порождается видением нового в мире, а самоцельная новизна словосочетаний ничему не соответствует в мире и не порождает нового представления, а только раздражает невразумительностью и вычурностью.

Лексическая необычность словосочетания в метафоре не мешает ей стать банальной, но она остается метафорой, пока смысл ее предиката (vehicle) в языковом сознании противопоставлен его значению и поэтому не употребляется вне этого частного словосочетания. Но когда метафора применена для обозначения не особенностей индивидуального восприятия, как обычно в художественной литературе, а для указания на общезначимую новую черту (десигнат), тогда контекстный метафорический смысл слова превращается в самостоятельное новое языковое значение, как недавно произошло со словами *поле* (тяготения), *мантия* (Земли), *спутник* (планеты), *память* (компьютера) и др. Метафора — обычный путь развития значения слова, источник его многозначности. Метафорически изменяются значения даже аффиксов, отчего первоначально совпадающие с подлежащим и сказуемым *S* и *P* могут переместиться вплоть до обратного первоначальному, как в пассиве и эргативе; *Рабочие (S) построили дом* → *Дом (S) построен рабочими*. Соотношение значения и нового употребления (контекстного смысла) является метафорой; соотношение старого и нового значения — снятая, обычно внутрисловная (из морфем) метафора — именуется по Платону, Гумбольдту и Потембе «внутренней формой» слова, а целый ряд внутренних форм — родственные отношения слова — его этимологией.

Многозначность знака превращает связанные с ним другие знаки (контекст) в дополнительный знак, выявляющий одно из его многих значений (в примере *взять чашку* реализуется значение «охватить») и исключаящий другие (*унести, получить, овладеть, преодолеть* и т. д.). Д е й с т в и т е л ь н о с т ь — речь и понимание ее смысла, — возникает из многих возможностей — значений морфем. Таким образом, с одной стороны, смысл знакосочетания — это функции в о з м о ж н ы х з н а ч е н и й знака и миропредставления, а с другой, реальное значение знака определяется знакосочетанием как дополнительным знаком. Вне контекста смысл многозначного знака остается неизвестным. Поэтому причина языковых недоразумений не просто в многозначности слов, как считают номиналисты, а еще в недостаточности

контекста. Соответственно избавление от путаницы не просто во введении однозначных искусственных слов (терминов) и знаков, хотя и оно нужно. Абсолютная окончательная однозначность — утопия, в казалась бы однозначном знаке с развитием познания не исключено обнаружение разных значений, как было с понятиями  $\int$ ,  $Si$  или  $\infty$ , и никакой термин или знак не спасает от этого противоречия, требующего введения дополнительных знаков  $\oint$ ,  $^{28}Si$ , актуальная  $\infty$ . Первое средство от языковых недоразумений — уточнение контекста, в частности определения, а термин или знак является всего лишь кратким обозначением смысла этого контекста.

Восприимчивость звуковых и письменных знаков не только для других, но и для самого их автора создает возможность совпадения производителя и воспринимателя знаков в одном лице и позволяет знакам выполнять функцию средства запоминания (меты) во внешней и внутренней речи, средства оперирования знаками с самим собой (рассуждения), а через них — оперирования образами не только других людей, но и своих собственных — средством мышления. Неверно противопоставлять общение и мышление как функции языка. У человека нет общения без мысли, а человеческое мышление есть преобразованное общение, диалог с самим собой и потому вторично: на основе коммуникативной функции языка развивается функция мыслительная. Причем и здесь связь предшествующих мыслей с последующими возможна благодаря не просто звучанию предшествующей речи или даже его «компрессии»<sup>23</sup> — ведь оно уже не существует, — а благодаря сохранению в сознании в качестве предпосылки новой речи смыслового образа отзвучавшей речи. Образное мышление высших животных в соединении с языком обретает возможность внеситуативности и переходит в абстрактное понятийное мышление человека. Психическая связь (соответствие) образов знака и обозначаемого позволяет знаку выступать для сознания в качестве заместителя образов и вещей: действие над вещами заменяется действиями над образами (воображение), над образами их знаков (рассуждение) и над знаками (работа компьютера).

Таким образом, язык развился из предзнаков и знаков и содержит их в себе диалектически снятыми: язык образован связью знаков, а элементы языкового материала (фонемы, интонаемы, ударения, смысловозначительная долготность, паузы и порядок этих материальных элементов) — искусственные типизированные признаки (меты, выражения и сигналы).

Но кроме предзнаковых и знаковых элементов системы языка, предзнаки и знаки содержатся и в речи — в качестве агрегатных в ключевой древних слов. Рассмотрим их.

1. Антропологическими и социальными речевыми признаками являются признаки пола и возраста говорящего, его социального происхождения, профессии и культурного уровня и заключаются они не только в тембре, громкости и высоте голоса, интонациях и скорости речи, за изучение чего взялись теперь паралингвисты, но и в отборе лексики и грамматических оборотов (стиле), откуда развиваются языковые признаки; книжность, просторечие, архаичность и другие признаки положения элемента в языковой истории и системе.

2. Речевыми выражениями являются эмоциональные интонации и междометия, которые не разложимы на морфемы и фонемы (содержат звуки, не встречающиеся в языке), лишены концепта и не могут вступать в грамматические связи с другими словами как члены

<sup>23</sup> Ср.: Н. И. Жикин, О кодовых переходах во внутренней речи. «Тезисы докладов и сообщений на научной дискуссии „Язык и мышление“», М., 1965, стр. 31—33.

предложения, следовательно, не входят в систему языка, — в отличие от эмотивных значений слов (*глаза — очи*) и аффиксов (*глазюньки*); хотя любое слово может превратиться в выражение (в восклицаниях и ругательствах), как междометие — в слово (*твои ахи, ахать*).

3. В с и г н а л ы «опускаются» слова, указывающие непосредственно на ситуацию и побуждающие к непосредственному действию, как императив, пароли или команды: *на!*, *тсс!*, *стоп!*, *вон!*, стартовое спортивное *марш!* и т. п., которые почти свободны от образного значения и потому могут быть заменены жестом или даже выстрелом; о древности императива свидетельствует его совпадение почти во всех флективных языках с корнем.

4. Наконец, в качестве з н а к а могут выступать отдельно употребленные в отнесении к ситуации морфемы и устойчивые объединения морфем: слитные слова (одноморфемные или многоморфемные, но утратившие внутреннюю форму от постоянного слитного употребления) и даже шаблонные словосочетания, например, этикетные: *Добрый день! Как дела? Спасибо!* и т. п.

Но язык — новое качество, не сводимое к знакам и предзнакам. Специфику языка нужно искать не на уровне знаков; простое перечисление слов: *голубой, брать, чашка* — и тем более морфем: *голуб-, бра-, ой-, ть* — предстает бессмыслицей, потому что лишено связи. Отдельные знаки еще не язык. Язык образует связь знаков (*SRP*) в сверхзнаковые единицы — предложения и незаконченные предложения — свободные многоморфемные слова и словосочетания — посредством выделения над объектными знаками новых предикатных знаков (*R*), означающих отношения знаков друг к другу. Эта предикатная сущность языка и его реальности (речи) определяет их отличие от знака — новые, сверхзнаковые законы, следующие один из другого: 1) п р е д и к а т н о с т ь языка, но только объектность (номинативность) первичных знаков; отсюда 2) с в я з н о с т ь речи, но разрозненность первичных знаков; отсюда 3) с е м и о р о в н е в а я п е р а р х и ч н о с т ь языка: меты фоном → фонемы → морфемы (в свою очередь трех уровней: объектные, локационные и предикатные) → слова (точнее, лексемы) → синтагмы → предложения → сложные предложения → речь. Даже знаки не идут дальше третьей ступени, а выражения одноуровневы. Давно замеченное различие: членораздельность (артикулированность) человеческой речи, но однородность голосов животных — является внешним проявлением перархической структурности речи; отсюда 4) т в о р и м о с т ь речи, но данность знака; отсюда 5) п о н и м а н и е речи, но знание знака, иначе говоря, — порождение речи в единстве со смыслом и порождение речью смысла — из соотношений значений слов, аффиксов и миропредставления; отсюда: 6) с м ы с л речи, но з н а ч е н и е знака. У знаков актуально только значение, потому что подразумеваемый и воспринимаемый смысл знаков — вне их функции; употребление з н а к а — локация, его отнесение к ситуации, есть сообщение; но у знаковосочетаний возникает смысл (*W*), превосходящий сочетаемые значения, у предложения — смысл, отнесенный к действительности, — суждение, мысль; отсюда 7) н а д с и т у а т и в н о с т ь языка: возможность абстрагирования речи от ситуации, отнесения к действительности вообще или даже к воображаемому, но непрменная ситуативность применения первичных знаков; отсюда 8) м е т а ф о р и ч н о с т ь языка, но прямозначность первичного знака. Ситуативная обусловленность медиатора, значения и применения первичных знаков исключают их метафоризацию. Невозможно поклониться метафорически, потому что жест невозможно оторвать от жестикулирующего человека и даже от его объекта: поклон, когда никого нет, просто

теряет смысл, а не обретает метафорический. Но в речи слово поклон легко употребляется метафорически (*собственность поклоняется золоту*); отсюда 9) постоянное семантическое развитие языка, но бóльшая устойчивость значений первичных знаков; отсюда 10) многозначность морфем и слов — при движении к однозначности предложения, но обычно однозначность первичных знаков; отсюда 11) снйтость (обратная преобразенность) самх знаков в языке: морфемы и слова теряют самостоятельность и прежнее знаковое качество; вне предложения они не имеют определенного значения и существуют только в словарях, но не на практике. Употребление слова, даже одного, есть предложение; 12) неогранныесть языка, но замкнутость знаков. Для сигнализации животных или дорожных знаков легко составить список, и других значений они выразить не в состоянии. А в языке огромное, но тем не менее ограниченное количество морфем в их сочетаниях дает неограниченное количество слов, а сочетание слов дает неограниченное количество предложений; 13) новые функции языка: организационная (труда и общественного бытия), мыслительная (обобщения, абстракции и оперирования понятиями) и — шире — волевая (самоуправление сознанием), а у первичных знаков функции только координационная, коммуникативная и мнемоническая. Как видим, различия существенны.

Но с развитием цивилизации речь как первое средство материального воплощения и подчинения людям их собственного сознания стала недостаточной по своим возможностям — и появились средства более полного и устойчивого воплощения сознания, сама способность к которым была развита у человека тем же трудовым преобразованием вещей. Первое такое средство — искусственные знаки, вторичные, создаваемые сокращенным типизированным изображением, но не самого обозначаемого явления (что уже не было бы знаком), а только какого-то его броского признака, иначе говоря, мета, но отделенная от своего типа объектов, и потому изобразительная метафора — это условные жесты, как телесные, так и голосовые (многие идеофоны: *йих, трах* и т. д.), существенно выделенный признак (не случайно по-гречески *ἄρζολον* «примета») — вещь или ее изображение, вынесенные из их закономерной ситуации в знаковую.

Признак имеет много объективных связей с другими явлениями, поэтому такой самозначный символ — художественный, мифологический, рекламный или корпоративный — многозначен, в отличие от договорных символов: эмблем, аллегорий, юридических или научных символов — изображений, значение которых обусловлено не столько их объективными связями, сколько истолкованием, от намеков до теории, т. е. условных (конвенциональных) в прямом смысле и поэтому более однозначных.

Искусственные знаки обычно специализированы к выполнению какой-нибудь одной функции: скажем, письменна как система мет — только для запоминания и сообщения, дорожные или воинские знаки — только для сообщения, логическая или математическая символика — в первую очередь для мышления, анализа задач.

Искусственные знаки обычно выступают в качестве кодов. Коды — не любые знаки или языки («совокупность конвенциональных правил»), как неряшливо щеголяют этим модным словом структуралисты. Коды — это знаки знаков. Например, по отношению к числительным коды — цифры, по отношению к фонемам — буквы, по отношению к буквам — знаки Морзе, знаки пальцевой азбуки глухонемых или двоичные числа в компьютерах и т. д. Обозначение знаков другими знаками — их преобразование, кодирование, вызвано общественной борьбой необходимостью сохранения

тайны (секретные коды — шифры); в науке — необходимостью облегчения обзримости и уточнения математических вычислений и других рассуждений, а теперь — их автоматизацией в ЭВМ (формализация); в системах связи и автоматики — необходимостью приспособления к материальным возможностям каналов связи на их физических границах.

Обычно коды не являются языками, даже искусственными, потому что они не имеют связок (*R*) и не производят нового смысла (*W*). Письмена или даже дорожные знаки (где уже есть соединение с общей метой указания, запрета или предписания) просто стоят рядом: ограничить скорость, поворот и т. д. Поэтому они — не связанная система, а только набор. Некоторое исключение составляет символика логики, математики и программирования компьютеров; в ней есть операторы и потому не только значение, но и производный смысл, обозначаемый новым знаком (знаком результата операции). Но зато в них, если только они не прилагаются к решению конкретной задачи, нет объектных и локационных знаков, а только знаки объектных знаков («переменные»). Поэтому если они языки, то формализованные.

Однако любые коды по самой своей сущности вторичны, существуют на основе естественного языка, поэтому это не особая самостоятельная система знаков, а только иная манифестация определенной семантической области естественного языка. Действительно искусственными языками являются жестовый язык глухонемых, эсперанто, идо и т. п.

Хотя по ступени (восьмой) развития место символа в нашем анализе здесь, мы вынесли понятие о нем также и в начало, потому что только сравнение с развитой формой знака служит ключом к объяснению отличия и генетической классификации более низких семиотических явлений.

Таким образом, язык — система предзнаковых (меты фонем, фонемы, интонемы, паузы и т. д.), знаковых (морфемы, слитные слова и шаблонные словосочетания) и надзнаковых (членимые слова, словосочетания и предложения) элементов, в которой знаки сняты надзнаками. Не в том дело, что язык не образован из знаков, а в том, что он содержит их в себе подчиненными новым, уже не знаковым, а языковым законам. Так, молекула образована из атомов, но молекула — не атом и не множество атомов, а система нового качества — новых свойств и законов.

Отсюда вытекает ошибочность семиотизма: семиотика вовсе не поглощает лингвистику, как и лингвистика не включает семиотику, а обе являются самостоятельными науками, отношение которых, подобно отношению других разноуровневых наук, следует закону связи, но несводимости форм движения материи. Так, живая клетка образована из молекул, и биология опирается на химию в изучении молекул и их взаимодействий в клетке. Тем не менее биология — не химия, а самостоятельная наука со своим особым предметом исследований, методами, категориями и законами.

ВЕРЕЩАГИН Е. М., КОСТОМАРОВ В. Г.

## О СВОЕОБРАЗИИ ОТРАЖЕНИЯ МИМИКИ И ЖЕСТОВ ВЕРБАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

(на материале русского языка)

Любое явление действительности может быть отражено, описано вербальной речью. Мимика и жесты не составляют исключения.

Мимикой обычно называют движения глаз и мышц лица, а жестами все другие телодвижения, причем имеется в виду коммуникативное, значащее, поведение (по В. Вундту, *Ausdrucksbewegungen*) — оно или непроизвольно выводит вовне внутреннее душевное состояние человека, или с его помощью коммуниканты сознательно передают информацию друг другу. Коммуникативное поведение принципиально отлично от самодостаточного поведения, от тех действий и поступков, которые выполняются ради самих себя, для достижения непосредственных целей.

Например, чтобы отогнать муху, можно или *махнуть рукой*, или *покачать головой*, и прямая цель достигается; здесь нет (по определению) жестикуляции. Другое дело, когда отчаявшийся отыскать потерянное *махнул рукой*, — значит, он смирился с утратой, — или когда *покачиванием головы* адресант сообщает о своем сомнении собеседнику. В этих случаях действие как таковое было бы бесцельным, если бы оно не выражало для понимающего наблюдателя внутреннего состояния человека.

Между тем в вербальном представлении оба принципиально различных вида телодвижений не дифференцированы, они отражаются одними и теми же словесными средствами.

Не удивительно поэтому, что адресат вербального сообщения (в том числе и художественного повествования) по одному только словесному представлению *всегда*, в контексте и вне контекста, распознаёт самодостаточное действие, но коммуникативное поведение уловит лишь *иногда*, а именно: только в контексте. Ср. лишнюю контекста фразу: *Дружинин протянул руку*. Перед внутренним взором возникает вполне определенное действие: висевшая вдоль тела рука поднялась и вытянулась параллельно земле или полу в определенном направлении. Достаточно двучленного словосочетания, чтобы телодвижение в его составных элементах было отражено вполне внятно, — *поднять голову, почесать в затылке, взъерошить волосы, барабанить пальцами* и т. д. Строго говоря, внеконтекстно в этих сочетаниях выражается только прагматика.

Однако лишь контекст, включая в него также ситуацию, окончательно определяет, какое поведение перед нами — самодостаточное или значащее, и корректирует восприятие адресата. Так, пусть фраза *Дружинин протянул руку* продолжена: *...и взял яблоко*; словосочетание *протянуть руку*, несомненно, объективирует прагматическое действие. Если, однако, закончить: *... и они обменялись быстрым, крепким рукопожатием* (В. Катаев, *За власть Советов*), то это же самое сочетание слов теперь отражает коммуникативный поступок-жест.

Имеется еще одно условие, несоблюдение которого заставляет адресата и в контексте принять коммуникативное телодвижение за самодостаточное, — адресат должен з а р а н е е знать описываемый жест, его форму и содержание. Так, в «Разгроме» А. А. Фадеева рассказывается о рождении в многодетной нуждающейся шахтерской семье (события относятся к дореволюционной России) еще одного, нежеланного, ребенка. Глава семейства получил известие об этом: «Значит, четвертый... — подытожил отец покорно и *мазнул рукой*. — Веселая жизнь». Зарубежные студентурусисты, которые прочитали текст, утверждали, что отец был очень рад, потому что противоречащий ироническим словам жест не был заранее известен и соответственно не был воспринят<sup>1</sup>.

Таким образом, оценивая эффективность вербального представления телодвижений, можно утверждать, что словами успешно передается самодостаточное действие, а отражение коммуникативного поведения бывает адекватным лишь при соблюдении известных условий. Эти условия, на наш взгляд, нуждаются в изучении. Своеобразная природа отражения мимики и жестов вербальными средствами очень интересна и заслуживает внимания.

Рассмотрим, как именно мимико-жестовое поведение отражается в формах вербального языка.

Пользуемся двумя известными понятиями. Под кинемой понимаем любое законченное (имеющее определенную структуру, способ исполнения и столь же устойчивое значение) и самостоятельное (отличное от другого) мимическое или жестовое движение<sup>2</sup>. Движение может быть текущим процессом, но может и прерываться; следовательно, под определение подходят, наряду с мимикой и жестами, еще и позы. Пусть любое вербальное отражение кинемы называется р е ч е н и е м. Реченье, таким образом, — это обобщающее, родовое понятие для любой выделяемой единицы языка или речи, имеющей нереляционный, т. е. ориентированный на внеязыковую действительность, смысл, — речением может быть (по членному составу) полнозначное слово, сочетание слов, фраза, сверхфразовое единство и (по качеству семантики) слово, фразеологизм, афоризм (поговорка, крылатое выражение)<sup>3</sup>.

Отвлекаясь от кинем, созданных на базе вербального языка и имеющих ограниченную сферу бытования<sup>4</sup>; нас интересуют одни лишь массово распространенные и всем известные кинемы. Порядок следования наблюдений диктуется соображениями удобства изложения.

1. Одна и та же кинема может быть выражена разными речениями.

Простейший случай — варьирование синонимических членов в составе речения без перемены стилевой принадлежности. Например, в «Как зака-

<sup>1</sup> Пример заимствован из ст.: М. И. Гореликова, Лингвистический анализ художественного текста в процессе изучения русского языка как иностранного, сб. «Русский язык. Для студентов-иностранцев», 16, М., 1976, стр. 149 и сл.

<sup>2</sup> О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр. 195.

<sup>3</sup> Там же, стр. 385.

<sup>4</sup> Путем предварительного словесного договора возникают, например, жестовые сигналы рефери на боксерском ринге или регулировщика уличного движения, а также знаки приветствия в различных общественных объединениях. Без такого договора немислимые жесты, которые могут выработать столь малые сообщества, как группа из двух человек. Ср.: «Надежда Васильевна строго посмтрела на брата. — Как это мило — за дверьми стоять и слушать, — сказала она и, подняв обе руки, сложила кончики мизинцев под прямым углом. Гимназист нахмурился и скрылся. Он пошел в свою комнату, стал там в угол и приваялся глядеть на часы; два мизинца углом — это знак стоять в углу десять минут» (Ф. Сологуб, *Мелкий бес*). Здесь реализованы две массово распространенные кинемы (*смотреть строго; нахмуриться*) и одна ограниченного распространения (*сложить мизинцы углом*).

лялась сталь» Н. Островского дважды описано кинетическое выражение стыда: «Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытались оправдываться»; «...стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу». Кинема одна, да и речение, пожалуй, одно, однако в его составе синонимичные глаголы заменили друг друга (*переступать/переминаясь с ноги на ногу*). Более сложный случай наблюдаем тогда, когда взаимозаменяемые синонимы имеют различную стилевую приуроченность, потому что здесь и все речение переходит из одного стиля в другой. Ср., например: *опустить глаза/очи вниз/долу; поднять/воздеть палец/перст; раскрыть/разинуть рот/пасть* и т. д.

Кинема может описываться с помощью общеязыковых и индивидуально-авторских речений<sup>5</sup>. Так, кинема сближения бровей (выражает озабоченность, тревогу, гнев) общеязыковыми средствами объективируется как: *сдвинуть/нахмурить/насупить брови* [«Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать» (Лебедев-Кумач)]. Индивидуально-авторские речения окказиональные, неповторимы: «И ложится упорная гневность У меня меж бровей на челе» (Блок, Знаю я твое льстивое имя...); «Над бровями разом вырезались три морщины» (Гоголь, Страшная месть). Авторское речение нередко отличается от общеязыкового лишь минимально, например, только одним членом, но ценность замены тем не менее велика: авторский синоним, как правило, обладает повышенной образностью и экспрессией, — ср. общеязыковое *обвести/смерить* кого-л. *взглядом* и у Горького<sup>6</sup> *пощупать/обласкать* взглядом.

Множественность речений, объективирующих одну и ту же кинему, возникает при смене адресантом точек зрения. Если занята позиция производящего кинему, то он скажет: Капитан *поднял брови* вверх (от удивления). Если же адресант встал на точку зрения наблюдателя за производящим кинему, то говорится иначе: «Широкие брови еще выше *всползли* на гладкий и жирноватый доб» (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке). Различными точками зрения объясняется, кстати, замена действительного залога речения страдательным: *поднял брови — брови поднялись, опустил голову — голова опустилась, вытянул шею — шея вытянулась*.

Наконец, к рубрике «одна кинема — несколько речений» принадлежит, пожалуй, тот случай, когда кинема или действительно производится с повышенной/пониженной интенсивностью или воспринимается адресантом как исполненная более/менее энергично, чем «нормально». Скажем, если некто удивлен лишь немного, то его *рот* может быть описан, как *приоткрытый, полуоткрытый*; удивление средней степени дает речения типа *раскрыть рот*; высокая степень того же состояния представлена во фразе «...Парень засмотрелся на „головного“, *разинул* от удивления *рот*, и со всего размаха *шлепнулся*...» (Н. Островский, Как закалялась сталь); наконец, гиперболы речения может и не опираться на действительно исполненную кинему, свидетельствуя больше об отношении к ней адресанта, чем о ней самой: «...Огромный рыбий рот *раскрылся до ушей*» (Герцен, Былое и думы). Некоторые гиперболические речения вообще явно не соотносятся с реальными кинемами: «Темные кольца окружили его глаза, щеки обвисли и нижняя *челюсть отвалилась*» (М. Булгаков, Мастер и

<sup>5</sup> В противопоставлении общеязыковых ресурсов индивидуально-авторским сочетаниям слов разделяем точку зрения К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло («Словарь эпитетов русского литературного языка», Л., 1979, стр. 7), которые считают словосочетание общеязыковым, если 1) между его членами имеется устойчивая связь, 2) все словосочетание воспроизводимо и 3) словосочетание неоднократно употреблялось в языке. Общеязыковые речения в противоположность индивидуальным допускают словарную фиксацию; см.: «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка», под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина, М., 1978.

<sup>6</sup> См.: «Словарь автобиографической трилогии М. Горького», Л., 1974, стр. 224.

Маргарита); «Уж как не *упирайтесь руками и ногами*, мы вас женим» (Гоголь, Мертвые души); ср. далее: *глаза на лоб лезут, пожират глазами, тлпать головой* (гиперболизированный жест использован Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города») и т. д.

Таким образом, одна и та же кинема допускает разнообразное вербальное отражение: варьируются лексемы в составе предложения (как без перемены, так и с переменной стилиевой принадлежности); сами предложения (особенно общезыковые и индивидуально-авторские) расходятся между собой; адресант меняет свой взгляд на кинему — он или моделирует действие с точки зрения его агента, или описывает впечатление от жеста и мимики с позиции наблюдателя; адресант может, наконец, вложить в предложение собственное отношение к кинеме и к ее исполнителю. Иначе говоря, поскольку одна и та же кинема выражается различными предложениями, между объектом отражения и соответствующим ему вербальным текстом нет однозначной связи.

К этому же выводу можно прийти, двигаясь в противоположном направлении, в связи с тем, что

2. Одно и то же предложение способно выражать разные кинемы.

Сначала о кинемах, которые отличаются друг от друга обоими планами знака: и по форме, и по содержанию.

Среди русских кинем прощания есть такая: ладонь со сложенными пальцами обращена к наблюдателю, поднята до уровня плеча; движется взад и вперед. Среди общезыковых предложений, которыми отражается эта кинема, имеем *махнуть рукой*. «Провожать тебя я выйду — Ты *махнешь рукой*» (Лермонтов, Казачья колыбельная песня). Ср. совсем другую кинему: правая рука согнута в локте параллельно полу, ладонь обращена вниз; резким движением рука опускается вниз. Значение кинемы нелегко описать емкой фразой: выразить отчаяние, отказаться от намерения, переменить первоначальное решение, перестать обращать внимание, перестать заниматься кем-либо или делать что-либо. Ср.: «Кипящий Ленский не хотел Пред поединком Ольгу видеть, На солнце, на часы смотрел, *Махнул рукою* напоследок — И очутился у соседок» (Пушкин, Евгений Онегин). Хотя вторая кинема совсем не похожа на первую, она отражается тем же предложением *махнуть рукой*, что и первая. *Махнуть рукой* одновременно описывает и другие жесты, имеющие разные структуры, — приветствия, привлечения внимания, отказа от чего либо [«— Нешто не пойдешь? — Куды? — На помощь! — Куда мне! — *махнул рукою* лесник, пожимаясь всем телом» (Чехов, Беспокойный гость)].<sup>у</sup>

Теперь о кинемах, которые при одинаковой или близкой внешней форме имеют различную семантику, т. е. о кинемах-омонимах и о полисемантичных кинемах.

Рукопожатие — это жест приветствия при встрече или прощания. Кроме того, этим жестом поздравляют отличившегося (с наградой и т. п.). Далее, рукопожатием примиряются: «— Подай ему [Вронскому] руку. Прости его. — Алексей Александрович *подал* ему *руку*...» (Л. Толстой, Анна Каренина). Посредством этого жеста без слов говорится о благодарности: «— Спасибо вам за все, Евгений Павлович, — проговорил Никита, несильно *пожимая* его сухую, костистую *руку*» (Бондарев, Родственники). Рукопожатием скрепляется договор: «Мы скрепили это решение клятвенным *рукопожатием*» (С. Никитин, Рассказ о первой любви). Пожатием руки можно выразить одобрение поступку: [Мать] «ответила ему молчаливым *рукопожатием*» (М. Горький, Мать). Наконец, подобным же способом передается другому чувство симпатии, любви: «...*пожатием* нежным Руки белоснежной...» (Из «Иоланты» П. И. Чайковского, либретто

М. И. Чайковского). Интересно, что в некоторых случаях жесты-омонимы совокупно выражают два разных значения: «Он *пожал* подруге *руку*, Глянул в девичье лицо...» (прощание сочетается с любовью). Таким образом, мы назвали семь кинем, имеющих одну форму, но разные значения, и все они выражаются одинаковыми речениями: *пожать руку, рукопожатие, подать руку, протянуть руку*. Без достаточного контекста речение само по себе никак не указывает на то, какой именно жест из семи — возможно, мы не все омонимичные кинемы выявили, — выполняется и что он значит. Подчеркнем, что разные речения, приведенные нами, не свидетельствуют против тезиса, что именно одно вербальное описание сопрягается с различными кинемами, — каждое из трех сочетаний *пожать/подать/протянуть руку* по отдельности может выразить все семь жестов (ср.: подать руку на прощанье, подать руку защитившему диссертацию для поздравления, подать руку в знак благодарности и т. д.).

Эта недостаточность кинематического речения ощущается как адресантом, так и адресатом. По этой причине адресант нередко поясняет, — прямо или косвенно, — в каком смысле следует понимать описываемый жест. Ср.: «Зельцер понимающе посмотрел на него и *в отчаянии* махнул рукой» (Н. Островский, Как закалялась сталь); «— Не нарочно, сами изволите знать-с! Генерал *состроил плаксивое лицо* и махнул рукой. — Да вы просто смеетесь, милостисдарь!» (Чехов, Смерть чиновника).

Способность одного и того же слова или словосочетания выражать различные (по исполнению и по семантике) мимико-жестовые движения, естественно, заставляет отрицать наличие однозначной и обратимой связи между определенной кинемой и определенным речением. Тем не менее все же качество кинемы благодаря речению можно себе представить — хотя бы в некоторых чертах.

В противоположность этому имеется группа таких речений, которые будучи безусловно соотнесенными с мимикой и жестикულიцией человека, не позволяют даже отдаленно догадаться, какое именно движение выполняется. Сейчас мы говорим о тех случаях, когда

3. Реченье может отражать не форму, а смысл кинемы.

Ничем не отличаясь от других знаков, кинема имеет как план выражения, так и план содержания, и в вербальном представлении жест или мимика иногда элиминируются как раз в своем двигательном аспекте. «Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник *сделал жест*, означавший, что он не любит возражений...» (Чехов, Рассказ старшего садовника). Какой именно жест сделал садовник? *Приложил палец к губам*, призывая к молчанию? *Решительно покачал головой?* *Выдвинул вперед ладони*, как бы говоря «ах, оставьте, пожалуйста»? Может быть, даже демонстративно *заткнул уши*, показывая нежелание слушать? Речение таково, что адресат не «видит» жеста, хотя и понимает, что некоторое содержание было передано не каким-либо, а именно невербальным способом.

Как правило, прибегая к непосредственно ориентированным на смысл речениям, адресант принимает точку зрения не исполнителя кинемы, а наблюдателя. Ср.: «Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были *скромные постные физиономии...*» (Чехов, Человек в футляре). Вероятно, *лица были напряженными и вытянутыми, глаза — опущенными к земле*, но писатель не характеризует мимики, а прямо сообщает о впечатлении, которое она производила на наблюдателя. Когда встречаешься с речениями типа «Алешка *состроил шутовское лицо*» (Эртель, Гарденины), «Прозоров... *остановился... в трагической позе*» (Мамин-Сибиряк, Горное гнездо) или «посмотрит — *рублем подарит*» (Некрасов, Мороз, Красный

нос), всякий раз адресант явно рассчитывает на сообразительность адресата, который сам должен представить себе взгляд, «дарящий рублем», трагическую позу или лицо шута.

Следовательно, кинема вербальными средствами представляется двойко. Пусть речения, отражающие кинему со стороны формы, называются с о м а т и ч е с к и м и; тогда речения, которые отражают кинему в содержательном плане, которые ориентированы на смысл, можно было бы назвать с е н с у а л ь н ы м и. Соматические и сенсуальные речения вступают в отношения частичного параллелизма.

Ср. соматическое описание «Борис *потер указательный палец большим*, — денежки платить надо» (Н. Леонов, Ю. Костров, Операция «Викинг») с сенсуальным отражением того же поведения «Борис *жестом показал*, что надо платить денежки». Подобный параллелизм чаще наблюдается в отношении мимики, чем применительно к жестам. Ср.: *улыбнулся уголками губ — сдержанно улыбнулся; губы широко растянулись в улыбке — радостно улыбнулся* и т. д. Иногда параллелизм нарушается в пользу или соматических, или сенсуальных речений, доходя даже до взаимной непереводимости. Например, когда речь идет о тонких нюансах жестов и мимики, сенсуальные речения скорее достигают цели, чем соматические. Так, улыбка может быть названа *вопросительной, восхищенной, грустной, дурацкой, задумчивой, застенчивой* и т. д.; соматически указать на разницу между, скажем, *вызывающей и деркой* улыбками было бы, вероятно, довольно сложно. С другой стороны, эта разница не всегда и улавливается наблюдателем: «По лицу ее пробегала не то *лукавая*, не то *мечтательная улыбка*» (Полторацкий, В дороге и дома). Если жест сложный и многосоставный, то также предпочитают сенсуальные описания: «Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ» (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). В противоположность этому, когда вербально отражаемая кинема многозначна и адресант желает сразу опереться на два-три смысла, предпочитают соматические речения: «Он сидел напротив меня в кресле, *опустив голову*, подняв худые плечи» (Жаверин, Два капитана). *Опустит голову* можно от стыда, раскаяния, печали, в задумчивости, выражая сострадание собеседнику и т. д., — в приведенном примере все эти чувства экономно выражены соматическим сочетанием из двух слов. Соматические речения не переводятся в сенсуальные и тогда, когда жест не обладает ясно ограниченной семантикой или если семантика его слишком конкретна, тесно связана с уникальной ситуацией: «— Вы — человек бедный... Ведь вы — человек бедный? Буфетчик *втянул голову в плечи*, так что стало видно, что он — человек бедный» (М. Булгаков, Мастер и Маргарита).

Если соматическое речение в восприятии адресата можно уподобить с е м а с и о л о г и ч е с к и м отношениям в лексике, т. е. движению от формы к содержанию, — например, *сделать поклон* или *кинуть головой* значит «поздороваться», — то, напротив, сенсуальное описание на этапе дешифровки подобно о н о м а с и о л о г и ч е с к о м у процессу, потому что отправляясь от содержания, адресат должен восстановить мимику или жестикуляцию. Если же имеются синонимические кинемы, то все они (или их часть) способны восстановиться. Так, сенсуальная фраза «Встретившись с Николаем, Иван *молча поздоровался*» потенциально переводится в несколько соматических с ключевыми словосочетаниями *подал руку, обменялся рукопожатием, помахал рукой, кивнул головой, сделал/отвесил поклон, (при)поднял шляпу*.

Таким образом, с одной стороны, соматические и сенсуальные речения близки друг другу двуплановостью («двухэтажностью») своей семантики, но они, с другой стороны, противоположны друг другу порядком следо-

вания обоих планов («пластов») информации. Ср. соматический способ отражения жеста: «Британский лев, держи нейтралитет, / блудливые глаза прикрой стыдливой лапой» (Маяковский, На цепь!). Здесь сначала описано кинетическое поведение само по себе (*глаза прикрыты ладонью*), причем поскольку оно ничем не отличается от самодостаточного (если глаза прикрыты ладонью для защиты их от слепящего солнца, то жест отсутствует), этот план информации можно и называть самодостаточным. Однако затем адресат воспринимает и душевное состояние, представленное кинемой (человек прячет глаза, когда ему стыдно). Этот план информации не следует называть переносным, как иногда бывает, — при метафоре сохраняется сходство между означаемыми, — правильнее назвать его символическим. Если при восприятии соматического речения адресат движется от самодостаточной информации к символической, то сенсуальное речение воспринимается путем движения от символической информации к самодостаточной.

Заметим, что до сих пор мы говорили о массово распространенных и всем известных кинемах. Если, однако, адресант не уверен, что жест, который он хочет вербально представить, заведомо хорошо знаком адресату, то кинема будет словесно обрисована с большой детализацией. Следовательно,

4. Кинемы выражаются речениями различной степени экспликации.

Вот как описан мимико-жестовой план рецитации державинской оды «Бог»: «„Я царь“ — солдатская выправка, строгое лицо, плечи приподняты, обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается: в одной скипетр, в другой — держава. „Я раб“ — ноги, согнутые в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное. „Я червь“ — спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперед рука делает „ползательные движения“. „Я бог“ — голова откинута вверх, глаза выпучены, руки распахнуты, обнимая весь мир» (Бажов, Дальнее — близкое). Перед нами, пожалуй, максимально возможная степень экспликации.

Представляется, что речения, вербально отражающие массово распространенные, «обычные» кинемы, не описывают для адресата жест или мимику, а напоминают ему о заранее известном. Речение строится на представлении лишь одного-единственного (не всегда и самого характерного) элемента кинемы, а всю кинему адресат должен дополнить от себя, самостоятельно, благодаря своим фоновым знаниям. Например, состояние сильного огорчения выражается так: глаза смотрят вниз и в одну точку («взгляд застыл»), лицо напряженное, маскообразное, голова наклонена вперед, брови насулены. Общеязыковое речение отражает лишь один элемент этой сложной кинемы: «Что, Иванушка, невесел? Что *головушку повесил?*» (Ершов, Конек-горбунок).

Общеязыковые речения, состоящие хотя и из воспроизводимых, но все же свободных сочетаний слов, обычно имеют минимальную степень экспликации: глагол называет действие, а имена (их, как правило, не больше двух, а чаще только одно) называют части тела, которые выполняют действие или к которым действие прилагается. Подобные двух- или трехсоставные общеязыковые свободные речения — это, пожалуй, самый употребительный способ вербального отражения кинем. Например, только со стержневыми словами *рука* или *голова* их по несколько десятков: *протягивать руку* (= просить милостыню), *разводить руками* (в недоумении, удивлении), *потирать руки* (в предвкушении удовольствия), *всплеснуть руками* (от неожиданности, от радости), *закрывать лицо руками* (от ужаса, от стыда), *прижимать руки к груди* (= усиленно просить

о чем-то), *положа руку на сердце* (=выражение искренности), *руки в боки* (ухарская поза), *ударить по рукам* (=заключить сделку), *подать руку* (=оказать помощь), *руки по швам* (=военный жест «смирно») и т. д.

Нулевую ступень экспликации наблюдаем в тех случаях, когда отражающее кинему речение является фразеологизмом, т. е. словосочетанием, семантика которого не выводится путем сложения смыслов слов-членов. Глушоватого, со странностями человека можно обозначить жестом: правая рука согнута в локте, все пальцы, кроме указательного, собраны в кулак, указательный вытянут; указательный палец приближается к виску и делает два-три круговых движения. Речение-фразеологизм (*У него не все дома* никак не эксплицирует внешней формы жеста. Ср. его со свободным общеязыковым речением *покрутить пальцем у виска*, которое явно дает минимальную экспликацию. Ср. другие кинематические фразеологизмы: *нужен дозарезу* (ладонь проводится под подбородком), *вот те крест* (с биением себя в грудь), *скатертью дорога* (указывая пальцем на дверь), *милости просим* (с жестом приглашения проходить), *вот где сидит* (похлопывая себя по затылку) и т. д. Речение-фразеологизм, как правило, может быть переведено в свободное речение — как соматическое, так и сенсуальное. Например: «— *Вот где* они у меня *сидят*, эти интуристы! — интимно пожаловался Коровьев, *тыча пальцем* в свою жилистую шею» (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Сенсуальные речения, правда, подобно фразеологическим словосочетаниям всегда имеют нулевую ступень экспликации формы кинемы.

Таким образом, в вербальном отражении кинемы или совсем не эксплицируются как моторные, внешне наблюдаемые действия, или эксплицируются с разной степенью детализации — от минимальной (когда лишь называется действие: *кивнуть*, *назмуриться*, *подбочениться* или когда, наряду с действием, указываются его исполнители и объекты: *потупить взор*, *избегать взгляда*, *поджать губы*) до максимальной. Максимальная экспликация регулярно имеет место в научных фиксациях кинем, вообще во всех случаях жизни, требующих не напоминания о жесте или мимике, а недвусмысленного и совершенно точного представления кинемы (ср. так называемые иконописные подлинники — подручные книги, в которых тщательно описана поза, положение рук и выражение лица каждого святого).

5. Соматическое речение берет на себя всю семантику кинемы.

В противоположность сенсуальному, соматическое речение позволяет адресату восстановить кинему в своем сознании, и при этом адресат так воспринимает семантику кинемы, как если бы он своими глазами наблюдал мимико-жестовое поведение.

Кинема может иметь только одно значение. Например, *смотреть кому-л. прямо в глаза* значит «быть искренним». Напротив, *прятать глаза* — это не говорить правды, утаивать часть правды, вообще «быть неискренним». Каким бы способом соматически ни описывалась последняя кинема, — *прятать глаза*, *отводить глаза*, *избегать глазами*, — воспринимается один и тот же акт семиотического поведения, и хотя на прагматическом уровне три словосочетания явно не синонимичны, они выступают как синонимы в передаче символической информации. Ср.: «— Я не верю, не верю этому! — проговорила Долля, стараясь *уловить его избегающий взгляд*» (Л. Толстой, Анна Каренина). В этом примере сочетается семантика двух кинем: один коммуникант не желает быть искренним (*отводит взгляд*), а другой старается побудить его к откровенности (*ловит взгляд*).

Кинема может иметь несколько значений. В том случае на основное символическое значение, — скажем, порицание, удовлетворение, приказ,

запрещение, приветствие, указание, согласие, — накладывается значение обертона, которым ограничивается сфера применения кинемы, круг исполнителей или круг людей, которым допустимо адресовать тот или иной жест. Так, *подать руку* имеет основное символическое значение приветствия, а среди обертональных сем можно назвать такие: признание того, кому подается рука, равным себе по статусу; выражение нормальных и дружественных отношений между приветствующими друг друга. Например, «...И вот этот оборванец... Ей даже неудобно было *подать* ему *руку*. Что подумает Василий?»; «— Два года назад ты была лучше; не стыдилась *руки* рабочему *подать*» (Н. Островский, Как закалялась сталь). Ср., далее: «Войдя в комнату, он щегольски *расшаркался* и *подал* Гельфрейху *руку*, мне же *сделал* только безмолвный *поклон*» (Гаршин, Надежда Николаевна). Кинемы *шаркнуть ногой*, *подать руку*, *сделать поклон* синонимичны на уровне основного символического значения, но они не синонимичны из-за дополнительной, а здесь даже выступившей на первый план обертональной семантики. Приветствия выражаются кинетически многим числом способов: *махнуть рукой*, *кинуть головой*, *приподнять брови*, *поклониться*, *приподнять шляпу*, *обменяться рукопожатием*, *расцеловаться*, но все эти кинемы различаются ситуационной привязкой.

Подчеркнем, что речения, отражающие кинемы, конечно же, передают адресату обертональные смыслы, и именно поэтому в художественном произведении так тщательно описывается невербальное поведение персонажей. Гаршин мог бы просто сказать: вошедший в комнату приветствовал присутствующих, однако это сенсуальное речение для писателя не так важно; важно показать, что персонаж галантен с дамами (*расшаркался*), что он позитивно выделил одного из гостей (*подал ему руку*) и негативно отнесся к другому (*не подал ему руки*). Возможна и дальнейшая детализация обертональных значений: вошедший хотя и не подал руки, но все же не совсем порвал отношения с человеком, иначе бы он *не сделал* даже безмолвного *поклона*.

Обертональную семантику выражают не только сами кинемы, но и, что любопытно, соматические речения. Нет фразы вне стилиевой принадлежности, и если речение является, например, просторечным, стилистически сниженным, то кинема воспринимается как сниженная, хотя она сама по себе, может быть, и приемлема не только в непринужденных, но и в торжественных ситуациях. Так, рукопожатие, выражающее достигнутую договоренность, — нейтральный жест. Ср., однако, его просторечное описание: «Если тебе дело наше дороже всего, ты *дай* мне *пять*, и завтра же начнем по-дружески» (Н. Островский, Как закалялась сталь). Иногда, правда, стилистическими (т. е. вербальными) средствами выражается степень интенсивности кинемы, а степени интенсивности исполнения мимики и жеста в различных ситуациях — различны. Например: «В его присутствии робели все, даже старики протоиерей, все „*бухали*“ *ему в ноги*» (Чехов, Архиперей). Стилистический ряд *отвесить земной поклон*, *поклониться в ноги*, *упасть в ноги*, и наконец, *бухнуть(ся) в ноги*, скорее всего, одновременно отражает интенсивность исполнения одной и той же кинемы. В этом случае и в подобных ему отмечается не простое («зеркальное») отражение кинематики вербальным языком, а активная роль языка, который привносит от себя дополнительную информацию.

В общем же и целом мы должны признать, что в парном соотношении «кинема — речение» именно кинема, а не речение занимает ведущее место, потому что, как мы это наблюдали на протяжении всего изложения, символическое значение речения — особенно основное, но также и обертональное — не является его собственным, а полностью восходит к мимике или жесту.

В этой связи, по нашему мнению, едва ли правильно речения типа *вешать/повесить голову, вешать/повесить нос, впитаться глазами в кого-л., глаза на лоб лезут, делать большие глаза, есть/поедать/пожирать глазами, задержать взгляд, чесать затылок/в затылке, крутить носом, махнуть рукой, надуть губы, опускать руки, показывать/тыкать/указывать пальцем, прятать глаза/взгляд/взор, пялить/таращить/пучить глаза, разводить руками, склонять голову, смотреть/глядеть сквозь пальцы, указывать/показывать на дверь, уткнуться носом, хвататься за голову* и т. п. квалифицировать как фразеологизмы<sup>7</sup>. Впрочем, мы не отрицаем их особой языковой природы. Если фразеологизм соотносится со словосочетанием-прототипом исключительно генетически (ср. *спустя рукава, заговаривать зубы, отложить в долгий ящик*)<sup>8</sup>, то все перечисленные словосочетания актуально (непосредственно в наши дни) отражают живую мимику и жестикуляцию, а символическую семантику приобретают лишь вторичным образом. В противоположность фразеологизмам, имеющим стабильную форму, данные речения весьма вариативны (*прятать/отводить глаза/взгляд/взор*). Словосочетания типа *вешать голову* и *вешать нос*, далее, — не суть синонимичные фразеологизмы; это — прагматически разные речения, отражающие (с разных позиций) один и тот же жест. Наконец, различна семантическая природа речений типа *бить баклуши* и *махнуть рукой*: первое речение имеет цельное лексическое значение, являющееся категориальным признаком фразеологизма; второе представляет собой хотя и воспроизводимое, но все же свободное словосочетание, лишенное единого лексического значения (если бы такое отмечалось, то *махнуть рукой* не могло бы описывать пять разных кинем; см. выше).

Из сказанного, однако, не вытекает, что свободные двусловные (многословные) речения, отражающие кинемы, не способны становиться фразеологизмами. Напротив,

6. Свободное кинематическое речение может перейти во фразеологизм.

Такой процесс ничем не отличается от перехода любого словосочетания в разряд фразеологических единиц. Стоит кинеме выйти из активного употребления, как отражающее ее речение, если оно продолжает использоваться, лишается самостоятельного значения, сохраняя одно лишь символическое, а последнее по своему качеству всегда является цельным, неделимым, лексическим. Ср. речение, отражающее актуальный (еще в прошлом веке) жест: «Они [повстанцы] оказывали ему [Пугачеву] наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом» (Пушкин, История Пугачева). Сейчас жест никогда не исполняется и его кинематика забылась, поэтому связь речения *бить челом* с прототипом-жестом имеет генетический характер; процесс фразеологизации свободного словосочетания тем самым завершился. Ср.: «Дорогой Александр Валентинович, *бью челом* Вам за Ваше милое письмо и за обе рецензии» (Чехов, Письмо Амфитеатрову от 13 апр. 1904 г.). Ср. и другие словосочетания-фразеологизмы, генетически восходящие к кинемам, — *дойти до ручки, засучив рукава, ломать шапку, очертя голову, пасть ниц, чур меня!, стоять фертлом, ходить гоголем, выделять кренделя, писать мыслете, один как перст, заткнуть за пояс, вверх тормашками* и т. д.

При переходе многосоставного речения во фразеологизм его состав в количественном отношении не меняется, однако можно отметить и

<sup>7</sup> См.: «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, М., 1967.

<sup>8</sup> Здесь и далее разбираем категориальные признаки фразеологизма, постулированные составителями того же Словаря.

сокращение этого состава за счет словосложения и словопроизводства. Таким образом,

7. Многословное кинематическое речение способно сократиться до одного слова.

Материал этого раздела частично перекликается с наблюдениями, изложенными выше, в четвертом разделе.

Указанный процесс сокращения проходит довольно интенсивно при номинализации глагольных словосочетаний: *скалить зубы* (= смеяться) — *зубоскал*, *смотреть по верхам* (= быть поверхностным) — *верхогляд*, *разевать рот* — *зевака*, *растопыривать руки* — *растопыра*, *приложить руку* — *рукоприкладство*, *бить челом* — *челобитие* и т. д. Сокращение словосочетания до слова отмечается и по отношению к глаголам: *скалить зубы* — *скалится*, *змурить брови* — (на)змуриться, *мортищит лоб* — (на)мортищиться, *вылупить/выпялить глаза* — *вылупиться/выпялиться*, *выпянуть грудь* — *выпянуться*, *понуричь голову* — *понуричься*, *надуть губы* — *надуться*, *закатывать глаза* — *закатываться*, *упереть руки в боки* — *подбочениться*, *махнуть рукой* — *отмахнуться*. Можно привести примеры и сокращений речения путем метафоризации: например, поднимать руку (для того, чтобы воспользоваться попутной машиной) переносно замещается однословным речением *голосовать*. Наконец, упрощение словосочетания иногда заключается в простом отпадении одного из элементов: вместо *вешаться на шею* — просто *вешаться*, вместо *звать по сторонам* — просто *звать*, вместо *барабанить пальцами* (выражая нетерпение или задумчивость) — *барабанить* и т. д. Ср.: [Красухин] «слегка *барабанит* двумя пальцами по лбу» [= выражается задумчивость (Чехов, Тсс!)]; «Начальник конторы нетерпеливо *барабанил* по столу» [= выражается ожидание (А. Кожевников, Живая вода)].

Наблюдения над путями и способами вербализации невербального семиотического поведения человека предприняты не только ради научного постижения явления, но и с прикладными целями. Мы хотели бы получить возможность комплексной фиксации кинемы и речения в их взаимопереплетенности, причем имеем в виду прежде всего учебную фиксацию — для преподавания русского языка иностранцам или в советской национальной школе.

Для современных наук, исследующих знаковое поведение людей, — и для лингвистики в том числе, — характерен значительный интерес к невербальным языкам<sup>9</sup>; системы кинем описываются как применительно к одной языковой общности<sup>10</sup>, так и в сопоставительном плане<sup>11</sup>. Среди

<sup>9</sup> Назовем лишь несколько работ, не делая ни малейшей попытки исчерпать даже наиболее важные и интересные. См.: Э. М. Волоцкая, Т. М. Николаева и др., Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения. «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем». Тезисы докладов, М., 1962; Т. М. Николаева, Б. А. Успенский, Языкознание и паралингвистика, «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии», М., 1966; Ю. С. Степанов, Семиотика, М., 1974; Г. В. Колшанский, Паралингвистика, М., «Наука», 1974; «Национально-культурная специфика речевого поведения», М., 1977; M. C r i t c h l e y, The language of gesture, London, 1952; R. L. Bird whi s t e l l, Introduction to kinesics, Washington, 1952; E. T. H a l l, The silent language, New York, 1959; W. S t o k i e, Semiotics and human sign languages, The Hague, 1972; K. L. P i k e, Language in relation to a unified theory of human behavior, The Hague, 1967; W. L a V a r r e, Paralinguistics, kinesics, and cultural anthropology. «Approaches to semiotics», London—The Hague—Paris, 1964; e r o ж e, Die kulturelle Grundlage von Emotionen und Gesten, «Kulturantropologie», Köln—Berlin, 1966.

<sup>10</sup> Тада Мититаро, Сигуса-но Нихон бунка («Японская культура в жестах»), Токио, 1978; S. D u n s a n, Face-to-face interaction, Hillsdale, 1977; M. L a F r a n c e, C. M a y o, Moving bodies. Nonverbal communication in social relationships, Monterey, 1978.

<sup>11</sup> Кобаяси Юко, Мибури гэнго-но нитэй хикаку («Сравнение жестового языка японцев и англичан и американцев»), Токио, 1976. С обеими японскими кни-

публикаций, основанных на русском материале, можно указать на работы, в которых так или иначе описывается невербальное поведение русских<sup>12</sup>, причем и в сопоставительном аспекте, и для лингводидактических целей<sup>13</sup>.

Во всей обширной литературе вопроса нам, однако, не встретилось попыток последовательно и целенаправленно связывать в фиксации кинемы с соответствующими речениями. Между тем при изучении иностранного языка как раз важно овладеть не столько национальной мимикой и жестикуляцией, сколько общезыковыми способами их выражения. Почему? Во-первых, потому что связь между вербальными и невербальными формами коммуникации объективно существует, причем соотношение между ними смещается, можно считать, в сторону вербальности (т. е. речения замещают кинемы, описывая их). Следовательно, адекватное владение языком включает в себя также и способность пользоваться общезыковыми речениями, сопряженными с кинемами. Во-вторых, потому что художественная литература полна указаниями на значащее невербальное поведение персонажей<sup>14</sup>, и иностранный читатель должен научиться отличать семиотическое речение от прагматического, соотносить его с кинемой и распознавать стоящую за ней символическую информацию. К тому же затруднения, испытываемые иностранцами при оценке поведенческой символики, — весьма многочисленны.

Мы надеемся еще вернуться к поставленному сейчас вопросу (учебной) презентации с в я з и кинемы и речения.

гами, очень существенными для наших задач, мы смогли познакомиться благодаря любезности Г. В. Хрушова. См. далее: R. L a d o, *Linguistics across cultures*, Ann Arbor, 1957; R. L. S a i t z, E. J. S e r v e n k a, *Handbook of gestures: Colombia and the United States*, The Hague, 1972.

<sup>12</sup> Л. А. Капанадзе, Е. В. Красильникова, Жест в разговорной речи, «Русская разговорная речь», М., 1973; А. А. Акишина, Н. И. Формановская, Русский речевой этикет, М., 1978.

<sup>13</sup> М. В. Давыдов, Паралингвистические функции английского языка в сопоставлении с русским. КД, М., 1965; Н. И. Смирнова, Невербальные аспекты коммуникации (на материале русского и английского языков). КД, М., 1971; Е. М. Врещагин, В. Г. Костомаров, Язык и культура, М., 1976 (гл. 7-ая); Р. П. Водос, Введение в изучение невербальной коммуникации русского языка, «Страноведение и преподавание русского языка иностранцам», М., 1972; e e ж e, *Geste u ruskom jeziku u usporedbi s hrvatskim*, «Strani jezici», 1979, VIII, 4.

<sup>14</sup> Этот вопрос всесторонне исследован в монографии: Р. Р. Гельгардт, Рассуждение о диалогах и монологах (К общей теории высказывания), «Сб. докл. и сообщ. Лингвистического об-ва, Калининского ГПИ им. М. И. Калинина», II, 1, Калинин, 1971, стр. 107 и сл. См. также: Л. М. Шелгунова, Указания на рече-жестовое поведение персонажей как средство создания образа в русской повествовательной реалистической художественной прозе, Волгоград, 1979.

ТКАЧЕНКО О. Б.

ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Основной предпосылкой дальнейшего развития языкознания, помимо углубления результатов традиционной работы, является отыскание еще существующих в нем белых пятен с их последующим устранением. Одно из двух главных направлений этих поисков заключается в открытии нового материала — неизученных, живых или мертвых, языков или неисследованных областей в языках, ставших уже предметом научного изучения. Другое направление предполагает обнаружение новых лингвистических методов, способных расширить наше представление о языках, в том числе изучавшихся. Оба эти направления взаимосвязаны, и если новый лингвистический материал вызывает часто необходимость обратиться к новым методам исследования, то новые исследовательские методы, в свою очередь, нередко помогают обнаружить новые лингвистические факты.

В исследовании славянских языков подобающее ему место уже давно занял сравнительно-исторический метод. Ему вместе с описательным методом в синхронии и диахронии принадлежит здесь главенствующая роль. Значительно более скромное место в нем занимает относительно молодой сопоставительно-типологический метод. Кроме сравнительно небольшого пока объема проделанной здесь работы, обращает на себя внимание ее известная односторонность. Сопоставительно-типологические исследования в области славистики, вызываемые преимущественно практической потребностью в изучении определенных славянских и неславянских языков, ограничиваются в основном сугубо описательно-контрастивными целями. Задача сопоставительно-типологического изучения славянских языков сводится здесь к тому, чтобы указать на типологические сходства и расхождения между славянскими и неславянскими (разными славянскими) языками, устанавливаемые в результате их сопоставления и облегчающие практическое усвоение как тех, так и других. Цель объяснить причины этих типологических сходств или расхождений, как правило, не ставится, в лучшем случае по этому поводу высказываются только отдельные предположения. Изредка приводимые при этом небольшие исторические экскурсы играют чисто вспомогательную роль и призваны способствовать более сознательному и тем самым эффективному усвоению языковых фактов<sup>1</sup>.

Признавая целесообразность и большую пользу подобных описательных (контрастивных) работ, следует сразу же заметить, что сопостави-

<sup>1</sup> В качестве примеров подобных работ можно назвать следующие: В. Г. Г а к, Беседы о французском слове (Из сравнительной лексикологии французского и русского языков), М., 1966; К. Г. К р у ш е л ь н и ц к а я, Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков, М., 1961; Н. Т. П е н г и т о в, Сопоставительная грамматика русского и марийского языков, I — Введение, фонетика, морфология, Йошкар-Ола, 1958; Э. П я л ь, Э. Т о т с е л ь, Г. Т у к у м ц е в, Сопоставительная грамматика эстонского и русского языка, Таллин, 1962.

тельно-типологические исследования не могут ограничиваться ими. Часть из них, прежде всего те, где речь идет о типологических сходствах, обусловленных длительными, преимущественно ареальными, межъязыковыми контактами, должна быть посвящена, видимо, также решению вопроса о причине этих типологических сходств, в частности, о языке-источнике той или иной типологической черты. Накопление типологически сходных языковых фактов не должно становиться самоцелью. Поскольку эти факты могут быть объяснены конкретными обстоятельствами истории соответствующих взаимосвязанных языков, наука заинтересована в их исследовании и осмыслении.

Для того, чтобы сопоставительно-типологический метод получил возможность не только обнаруживать путем сопоставления типологические сходства разных языков, но и объяснять их причины и происхождение, он должен быть дополнен и углублен сравнительно-историческим методом<sup>2</sup>.

Сравнительно-исторический метод дал, несомненно, много для установления генетически общих особенностей славянских языков и тем самым для выявления черт их сходства. Значительно меньше сделано для установления черт их различия и объяснения того, как они возникли. Если исключить лексические слои так называемых интернационализмов («европеизмов») и сравнительно легко распознаваемых поздних словарных заимствований отдельных славянских языков, где уже многое, — хотя далеко не все, — выяснено, то в подавляющей своей массе происхождение дифференциальных элементов славянских языков на всех уровнях (фонетическом, грамматическом, фразеологическом, лексическом) изучено чрезвычайно мало. Это объясняется тем, что помимо материальных заимствований из известных языков, — также далеко не всегда объясненных, — в славянских языках имеется, по-видимому, значительное число материальных, в том числе лексических, заимствований из неидентифицируемых (как правило, субстратных) языков. Сложность их обнаружения усугубляется, кроме трудности лингвистической атрибуции (по отношению к языкам, о которых пока почти ничего не известно), значительной степенью адаптированности подобных элементов славянской языковой системой. Однако дифференциальное в системе отдельных славянских языков (по отношению друг к другу и к праславянскому языку), а также в системе праславянского языка (по отношению к другим индоевропейским языкам и индоевропейскому праязыку) не ограничивается материальными заимствованиями, разными для разных языков. Сюда относятся частично и общие элементы, унаследованные из праславянского (и праиндоевропейского) языка.

Как известно, межъязыковые контакты ведут к заимствованию не только материальных особенностей. Под семантическим воздействием влияющих языков возникают также многочисленные и многообразные семантические заимствования (кальки) на разных уровнях языковой структуры. В них с материальной, внешнеформальной точки зрения выступают ис-

<sup>2</sup> Говоря о типологических чертах различия и сходства славянских языков, можно иметь в виду как черты, объединяющие между собой отдельные славянские языки, так и особенности, связывающие определенные славянские языки с неславянскими. В данном случае есть смысл остановиться преимущественно на последних, поскольку: 1) обнаружение чисто межславянских типологических сходств затруднено пока неизученностью фактов праславянских диалектов и дославянских субстратов, вследствие чего принимаемое за результат межславянских языковых схождений может быть вызвано одной из двух данных причин; 2) сравнительно-исторический метод, успешно применявшийся для изучения славянских языков в целом, по-видимому, гораздо менее эффективен при изучении отдельных групп славянских языков в их типологических связях, а это требовало бы его предварительного соответственного усовершенствования.

конные праязыковые элементы языка, подвергавшегося влиянию, но употребляются они согласно с семантическими, функциональными, а иногда и структурно-модельными особенностями воздействовавшего языка. Пока трудно говорить о том, насколько значительной была роль заимствований как материальных, так и семантических (модельных) в формировании специфики славянских языков. Для этого нужна большая предварительная работа. Ясно одно. Расхождения между славянскими языками и их причины должны привлечь к себе гораздо большее внимание лингвистов, чем то, которое им до сих пор уделялось. Однако поскольку одной из существенных причин этих расхождений является сближение славянских языков с неславянскими, особенно смежными, к первоочередным задачам славянского языкознания относится обнаружение типологических сходжений славянских языков с неславянскими и выяснение их причин. Это необходимо, прежде всего, для точного уяснения места заимствований в каждом из славянских языков. Ввиду того, однако, что праславянские элементы также в известной степени подвергались влиянию со стороны неславянских языков, изучение иноязычных влияний является необходимой составной частью сравнительно-исторического изучения славянских языков. Без выявления таких семантических, а частично и материальных, прежде всего фонетических, наслоений, которые возникли под влиянием неславянских языков, в своих исследованиях компаративисты будут поневоле оперировать несравнимым материалом, недостаточно точным для вполне достоверной реконструкции исходного состояния праславянского и каждого из славянских языков. Только сняв с праславянских элементов то, что в них (в их значении, функции, а иногда и форме) возникло вследствие неславянского языкового воздействия, можно прийти в каждом из славянских языков к полностью «чистым» праславянским языковым элементам. Это же, в свою очередь, даст возможность путем сравнения соответствующих форм, значений и функций во всех славянских языках восстановить с наибольшим вероятием исходные праславянские элементы.

Таким образом, если сопоставительно-типологический метод в славянском языкознании должен быть углублен для повышения своей теоретической действительности сравнительно-историческим, то и сравнительно-исторический метод нуждается в уточнении со стороны сопоставительно-типологического метода. Это ведет к необходимости объединения обоих методов в новом, сочетающем их сопоставительно-историческом методе изучения славянских языков. Название этого метода является сокращением более полного и точного, но слишком неудобного для частого употребления наименования — сопоставительно-типологический и сравнительно-исторический метод. С помощью сопоставительно-типологического метода обнаруживаются типологические черты, отличающие друг от друга славянские языки и одновременно сближающие их в отдельности с теми или иными неславянскими. С помощью сравнительно-исторического метода, применяемого к соответствующим славянским и неславянским языкам, где обнаружена определенная типологическая общность, устанавливается конкретная причина, вызвавшая ее возникновение. В случае исторически обусловленного типологического сходства славянских языков с неславянскими речь идет не о типологии вообще, могущей объединять любые языки мира, в том числе расположенные в любых, даже наиболее отдаленных друг от друга точках земного шара<sup>3</sup>. Речь идет об ареальной типологии, задачей которой является изучение языков, входящих в один ареал и имеющих благодаря этому длительные исторические связи.

<sup>3</sup> Подобную типологию наиболее точно было бы назвать общей, типологию же языков, не связанных ареально — дистантной (внеареальной).

Сопоставительно-исторический метод при изучении взаимосвязей между славянскими и неславянскими языками призван помочь обнаружить не только влияние смежных неславянских языков на славянские, а также случаи взаимоближения тех и других или развития в них общих черт, унаследованных от какого-либо третьего по отношению к ним языка. Он должен также способствовать наиболее точному объяснению воздействия славянских языков на смежные неславянские.

В сопоставительно-историческом методе, поскольку здесь речь идет об одновременном использовании сопоставительно-типологического метода, применяемого именно к ареально связанным языкам, а также сравнительно-исторического метода, фактически сочетаются три аспекта изучения языков — сопоставительно-типологический, ареальный, сравнительно-исторический. Каждый из них, конечно, имеет по-прежнему все основания применяться отдельно. Потребность в их сочетании вызвана новыми заданиями, которые не могут быть решены без него<sup>4</sup>. Еще в 1956 г. Б. А. Серебряников, отмечая несовершенство сравнительно-исторического метода, имеющего далеко не безграничные возможности, высказал мнение о том, что едва ли не наиболее ощутимым его недостатком является слишком слабый учет межъязыковых контактов и их последствий. Для усиления возможностей сравнительно-исторического метода он считал целесообразным дополнить его «... особой отраслью языковедения, изучающей многочисленные типы влияния одного языка на другой...»<sup>5</sup>. При этом Б. А. Серебряников совершенно справедливо исходил из того, что «изучение взаимовлияний языков является одной из важнейших задач лингвистической науки. Важность этой задачи обусловливается тем, что взаимовлияние языков является вполне реальным и объективным фактом действительности, мимо которого не может пройти лингвистическая наука»<sup>6</sup>. Нельзя не согласиться с тем, что этот факт требует к себе большого внимания, особенно там, где речь идет о результатах длительных и глубоких межъязыковых контактов. Если взаимовлияния языков и их последствия изучались и в прошлом, то все же не подлежит сомнению и то, что они изучались не так глубоко, не на том уровне, как это делалось в отношении исконных языковых элементов, основного объекта сравнительно-исторического метода. Уровень исследования результатов языковых взаимовлияний необходимо поднять до уровня изучения исконных языков.

<sup>4</sup> Совсем другие цели ставятся в историко-сопоставительных исследованиях: «Историко-сопоставительные исследования в известном смысле занимают промежуточное место между сравнительно-историческими и типологическими исследованиями. Сравнительно-исторические и историко-сопоставительные работы близки потому, что и те и другие нацелены на выявление истории языковых фактов. Однако в то время как в сравнительно-исторических исследованиях основное внимание обращается на обнаружение истоков особенностей родственных языков, главной целью историко-сопоставительных исследований является установление процессов и их разновидностей, в результате которых в разных родственных и неродственных языках возникали и развивались новые особенности; при этом для историко-сопоставительных исследований безразлично, формировались ли эти особенности преобразованием и осложнением языковых особенностей, возникли ли они в каком-либо конкретном языке индивидуальным путем или заимствованы из других языков» (К. Е. Майтис, стр. 3). Не исключено, что близость терминов (сопоставительно-исторический — историко-сопоставительный) впоследствии может вызвать вопрос о замене одного из них другим, более дифференцированным. Однако даже теперь они достаточно четко отражают специфику исследования: в первом случае исходным пунктом является сопоставление преимущественно не (близко) родственных языков с последующим исследованием истории сопоставляемых фактов, во втором исходят из истории явлений, как правило, родственных языков, которые затем сопоставляются.

<sup>5</sup> Б. А. Серебряников, Проблема субстрата, «Докл. и сообщ. Ин-та языковедения АН СССР», IX, М.—Л., 1956, стр. 56.

<sup>6</sup> Там же, стр. 34.

ковых элементов. Наиболее простой и логичный путь к этому заключается в том, чтобы и к заимствованным, в особенности глубинным и древним элементам, которые обнаружены с помощью сопоставительно-типологического метода, при их дальнейшем изучении был применен сравнительно-исторический метод.

Объем применения сопоставительно-исторического метода в славянском языкознании может быть чрезвычайно широким, так как фактически нет ни одной области изучения славянских языков (фонетики, грамматики, фразеологии, лексики), где бы не встречались нерешенные вопросы, ответы на которые надо в конечном счете искать с помощью применения этого метода.

В области фонетики сюда относятся случаи одинаковых звукотипов, фонологических явлений или сходных фонетических процессов; ср.: болг. *ѣ* («ѣща «дом») — рум. *ă* (*bură* «живот») — алб. *ë* (*mirë* «хороший, добрый»); наличие фонологического противопоставления между закрытыми и открытыми *e* и *o* в словенском и итальянском языках: словен. *pěta* «петая» (закрытое *e*) — *pēta* «пята» (открытое *e*) ~ итал. *legge* «закон» (закрытое *e*) — *legge* «читает» (открытое *e*); словен. *lôj* «сало (внутреннее)» — *lôj* «воронка»: итал. *volto* «лицо» — *volto* «поворачиваю»<sup>7</sup>; близость фонологических систем современного чешского (и словацкого) и венгерского языков<sup>8</sup>; дифтонгизация долгих монофтонгов в чешском и верхненемецком языках: чеш. *mlyn* > *mlejn* «мельница», *sito* > *sejto* «сито»; в.-нем. *mîn lip* > *mein Leib* «мое тело», где *-ei-* ~ *-ei* > *âe*; чеш. *budící* > *budaucej* > *budoucej* «будущий»; в.-нем. *hâs* > *haus* > диал. *hous* «дом»<sup>9</sup> и т. п.

В отличие от фонетики, где возможны только материальные влияния, иначе обстоит дело на других уровнях языковой структуры. На этих уровнях, — если исключить словообразование и лексику, где возможны также материальные заимствования, — типологические сближения происходят, как правило, только путем семантических и модельно-структурных заимствований, т. е. калек в наиболее широком понимании этого слова. Однако поскольку калькирование касается также словообразования и лексики, то можно считать, что за исключением фонетики оно возможно на всех уровнях языковой структуры. В связи с этим семантико-структурные совпадения, возможные калки имеют место в словообразовании, словоизменении, синтаксисе, фразеологии, лексике. Ср.: (в с л о в о о б р а з о в а н и и) распространенность сращений (вместо сложений) в чешском, словацком, верхне-, нижнелужицком и немецком языках: чеш. *vlakvedoucí* «начальник поезда» (букв. «поезд ведущий») ~ нем. *Zugführer*; в.-луж. *bohobožazny* «богобоязливый» (букв. «богабоязливый») ~ нем. *gottesfürchtig*; продуктивность парных слов в русском и финно-угорских языках: русск. *есть-пить, хлеб-соль, жив-здоров, неожиданно-негаданно* ~ эст. *sõbma-jooma* «есть-пить», фин. *isä äiti* «отец-мать», венг. *elni-halni* «безумно кого-то (что-то) любить» (букв. «жить-умирать»), мордов. (эрзя) *мей-мов* «сюдатура», марийск. *йошкарге-нарычче* «оранжевый» (букв. «красный-желтый»), коми *вердны-юктавань* «кормить-поить», манс. *êr'im-möjlim* «распевающая»; исчезновение инфинитива в болгарском и македонском языках — отсутствие его в румынском, новогреческом, албанском; (в с л о в о и з м е н е н и и) постпозитивный определенный артикль в болгарском языке: *език-ът* «язык (определенный)» — то же явление в румынском:

<sup>7</sup> Примеры заимствованы из кн.: М. М. Х о с т н и к, Грамматика словинского языка, Горица, 1900, стр. 12, 15, 18; V. M a c c h i, Modernes Italienisch. Praktisches Lehrbuch der italienischen Sprache, Halle (Saale), 1959, стр. 8—9.

<sup>8</sup> См. В. С к а л и ч к а, О фонологии языков Центральной Европы, «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 84—87.

<sup>9</sup> «Historická mluvnice česká», I — Hlásokoslóvi, Praha, 1958, стр. 144—149.

от-*ul* «человек (этот)» и албанском: *lum-i* «река (эта)», *mik-u* «друг (этот)»; исчезновение падежной флексии в болгарском и македонском языках — ее отсутствие в романских языках (унаследованное от поздней народной латыни); (в с и н т а к с и с е) русская конструкция у меня есть книга (менее характерная для украинского и белорусского) — фин. *minulla on kirja*, эст. *m(in)ul on raamat* «у меня есть книга» ~ польская конструкция *mam książkę* «(я) имею книгу» (свойственная также всем другим западно- и южнославянским языкам) — нем. *Ich habe ein Buch*, франц. *J'ai un livre*, англ. *I have a book* «я имею книгу»; словац. *Počujem ho spevat'* «Я слышу как он поет» (букв. «я слышу его петь») — нем. *Ich höre ihn singen*, франц. *Je l'entends chanter*, лат. *Audio eum cantare*; польск. *Niech (aj) żyje!* «Пусть живет! Да здравствует» (букв. «Оставь живет!»), словац. *Nech žije!*, серб.-хорв. *Neка живио!* (ср. ст.-польск. *niechác* «оставить», укр. *за-нехайти* «оставить, забросить») — венг. *Hadd éljen!* «Да здравствует!» (букв. «Оставь пусть живет!») (ср. венг. *hagyni* «оставить») <sup>10</sup>; (в о ф р а з е о л о г и и) русск. *Старая любовь не ржавеет* — нем. *Alte Liebe rostet nicht*, дат. *Gamle kærlighed rustet ikke*; болг. *пия тютюн* «курю» (букв. «пью табак») — тур. *tütün içiyorum* «курю» (букв. «табак пью»), ново-греч. *πύο καπνός* «курю» (букв. «пью табак»); чешск. *mít smůlu* «быть неудачником» (букв. «иметь смолу») — нем. *Pech haben* «то же»; польск. *Wiem to dobrze* «(я) знаю (букв. «ведаю») это хорошо» — *Znam go dobrze* «(я) знаю его хорошо» ~ нем. *Ich weiß es gut* — *Ich kenne ihn gut*; серб.-хорв. *Kako sme?* «Как поживаете?» («букв. Какесте?») — алб. *Si jini?* ново-греч. *Πώς είστε;* (в л е к с и к е) польск. *miasto* (< *město*) «город» — *miejsce* (< *městьce*) «место», чешск. *město* — *místo*, словац. *mesto* — *miesto*, в.-луж., н.-луж. *město* — *město* (*městno*), серб.-хорв. *место* — *месмо*, словен. *mesto* — *mesto*, укр. *місто* — *місце* (диал. *місто*), белорусск. (уст.) *места* — *месца* ~ нем. *Stadt* «город» — *Stätte* «место» (*statt* «вместо»); чешск. *strom* «дереву (растущее)» — *dřevo* «дереву (древесина)» ~ нем. *Baum* — *Holz*; польск. *ramię* «плечо; рука (от плеча до запястья)» — *dłoń* «ладонь; рука (от кончиков пальцев до запястья)» ~ нем. *Arm* «рука (от плеча до запястья)» — *Hand* «рука (от кончиков пальцев до запястья)»; англ. *arm* — *hand*, франц. *bras* — *main*; словац. *ist'* «идти; ехать» — венг. *menni*; русск. *свет* «мир» — *свет* «то, что светит», укр. *світ* — *світло* (диал. *свім*), польск. *świat* — *światło* ~ рум. *lume* «мир [*<* лат. *lumen* «свет (то, что светит)»] — *lumină* «свет (то, что светит)», венг. *világ* — *világ*.

Помимо многочисленных семантических схождений, в лексике славянских и смежных неславянских языков не менее многочисленны также случаи материальных общностей, вызванных заимствованием соответствующих материальных элементов. Обычно их не принято относить к типологическим чертам тех или иных языков. Однако, видимо, в этом имеется определенная непоследовательность. Если говорить о типе языка, то, по-видимому, нельзя обойти не только ни одной из его наиболее характерных семантических (модельных), но и типичных для него материальных черт. Если в числе типологических особенностей рассматриваются материальные фонетические черты, если предметом рассмотрения типологии являются не только неродственные, материально не связанные, а и родственные языки, даже всего один язык со всеми его особенностями, то нельзя, не рискуя быть непоследовательным, полностью исключить из типологии и лексику в ее материальном своеобразии. Это материальное своеобразие в лексической типологии создается в значительной степени

<sup>10</sup> См.: В. В. Н и м ч у к, К вопросу о славянских кальках в венгерском языке, «Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с языками и литературами народов СССР (Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-угроведов. 27—30 октября 1977 года)», Ужгород, 1977, стр. 55—56.

взаимоотношением основных исходных (праязыковых) и позднейших (субстратных, заимствованных, в том числе калькированных, и сознательно созданных) элементов. Во взаимоотношениях между славянскими и смежными неславянскими языками заимствования (или субстратные включения) во многом определяют их специфику. Для смежных со славянскими неславянских языков характерны славянские материальные заимствования, которые типологически характеризуют их лексику, выделяя ее на фоне других родственных языков (румынский на фоне романских), либо предшествующих периодов развития того же языка (новогреческий по сравнению с древнегреческим). Для славянских языков в их отношениях друг к другу характерно включение заимствованной лексики из разных (славянских и неславянских) языков либо сознательное пуристическое ее избегание с помощью калькирования или создания новых слов из собственных корневых и аффиксальных элементов, что, в частности, также определяет своеобразие каждого из них. Если не учитывать наиболее сложных и до сих пор почти не исследованных субстратных элементов в славянских языках, то для некоторых из них наиболее характерны, например, следующие особенности в позднейших (непраязыковых) слоях лексики: 1) для русского обилие церковнославянизмов, заимствованных или созданных самостоятельно из соответствующих элементов (*время, бремя, гражданин, плен, безбрежный, благо, пещера, страница, охладить, здравоохранение*); 2) для польского латинизмы, нередко в сочетании с их кальками, используемыми в качестве синонимов (*opinia//mniemanie, satysfakcja//zadośćuczynienie, reguła//prawidło, kwestia//zagadnienie, racja, impresja//wrażenie, refleksja, medytacja, rekonwalescent, rezygnacja, propozycja, aliant//sprzymierzeniec* и *sojuszник, majestatyczny, Sekwana, Londyn, Monachium, Mediolan*); 3) в чешском славянские, частично калькированные, новообразования, соответствующие, как правило, интернационализмам восточнославянских, польского и болгарского языков [*hudba* «музыка», *letiště* «аэродром», *vstupenka* «билет (в кино, театр)», *jízdenka* «билет (на автобус, трамвай, поезд и т. п.)», *letenka* «билет (на самолет)», *lehátko* «кушетка», *letuška* «стюардесса», *stroj* «машина», *plyn* «газ», *dusík* «азот», *divadlo* «театр», *počítroň* «метеор», *zeměpis* «география», *vůz* «(авто)машина», *Koráná* «футбол»]; 4) в серболужицких языках многочисленные заимствования из немецкого языка [в.-луж. *prědowač*, н.-луж. *prjadkowaš* «проповедовать (*predigen*)», н.-луж. *bjatowaš* «молиться (*beten*)», в.-луж. *štom* «дерево (растущее)» (*Stamm* «ствол»), н.-луж. *bon* (*Baum* «дерево»), в.-луж., н.-луж. *hela* «ад (*Hölle*)», в.-луж. *klinkač* «звонить (*klingen*)», н.-луж. *gluka* «счастье (*Glück*)», н.-луж. *hodlař* «орел (*Adler*)»]; 5) в болгарском, македонском и сербохорватском турцизмы (болг. *бакър*, макед., серб.-хорв. *бакар* «медь», болг., макед., серб.-хорв. *барут* «порох», болг., макед., серб.-хорв. *куршум* «пуля», болг. *юмрук* «кулак», болг., макед., серб.-хорв. *топ* «пушка, оружие»).

В свою очередь многочисленные заимствования из славянских языков содержат смежные с ними неславянские языки. Наиболее древние из них как сохраняющие формы, не засвидетельствованные памятниками славянских языков, представляют большой интерес для сравнительно-исторического изучения славянских языков, хотя для реконструкции исходных славянских форм данных одних славянских языков, разумеется, недостаточно: здесь необходимо сочетание фактов двух сравнительно-исторических грамматик — как славянских языков, так и тех, к числу которых принадлежит данный заимствовавший неславянский язык (германский для немецкого, романской для румынского, финно-угорской для финского, венгерской и мордовской языков и т. п.). В разных неславянских языках наблюдаются расхождения между источниками, различными славянскими

языками, а также между заимствованиями разных периодов (ср., например, отражение утраченных позже особенностей восточнославянского вокализма в наиболее древних заимствованиях). См. славянские лексические заимствования в следующих смежных неславянских языках: 1) в финском: *akkuna* «окно», *kuontalo* «кудель», *lääkäri* «врач», *piirakka* «пирог»; 2) в мордовском (эрзя): *pondo* «пуд», *куся* «кисель», *мако* «мак»; 3) в венгерском: *bolond* «сумасшедший», *galamb* «голубь», *rend* «порядок», *tészta* «тесто»; 4) в латышском: *grāmata* «книга», *baznīca* «церковь», *svētis* «святой»; 5) в литовском: *knygà* «книга», *šventas* «святой», *karalius* «король»; 6) в немецком: *Quark* «творог», *Prahn* «порок», *Jauche* «бурда; гной», *Zeisig* «чиж(ик)»; 7) в румынском: *boală* «боль», *dumbravă* «дубрава», *leac* «лекарство», *mîndru* «гордый; красивый (< \* мудрый)», *muncă* «работа (< \* мунка)», *oblu* «ровный», *poruncă* «приказ (\* порука)»; 8) в новогреческом: *βερβερίτσα* «белка (< вѣверица)», *ζακόνι* «нрав, обычай (< \* закон/ь)», *χρῆνος* «хрен»; 9) в албанском: *gozhde* «гвоздь», *çudit* «удивлять», *jugë* «юг», *rend* «ряд; порядок», *znabë* «лягушка; жаба»<sup>11</sup>.

Приведенные факты, большинство из которых не получило до сих пор удовлетворительного объяснения, говорят о многообразии и сложности проблем, с которыми связано сопоставительно-историческое исследование славянских языков. Сопоставительно-исторический метод, означаящий применительно к славянским языкам обязательное изучение этих языков вместе со смежными неславянскими, предполагает обнаружение типологически сходного явления двух неродственных (неблизкородственных) семей, славянской и неславянской, в сочетании с его исследованием в каждой из них средствами сравнительно-исторического анализа. Только таким образом можно вполне точно убедиться в происхождении данного явления, обнаружить конкретную причину его возникновения.

Во многих случаях, — если не в их большинстве, — установление языкового источника происхождения типологически общей черты (неблизкородственных языков предполагает ряд этапов работы (процедур), сводящихся преимущественно к следующим.

1. Обследование всех славянских языков, включая исходный, с точки зрения рассматриваемого факта, поиски которого во избежание атомарности производятся в увязке с другими системно связанными с ним данными; переход к следующему этапу исследования в случае отрицательного результата при попытке обоснования изучаемого явления как (обще-)славянского.

2. Поиски изучаемого факта во всех неродственных языках (или их группах), занимавших в прошлом территорию, смежную или общую с территорией славянского языка, в котором данный факт обнаружен; целью является исключение языков, не обнаруживающих исследуемого явления, и установление языка (языковой семьи), где оно выступает.

3. Всестороннее исследование рассматриваемого явления в обнаруживающей его неславянской (балтийской, германской, финно-угорской и т. п.) языковой семье для установления его органичности в ней и объяснения причины типологической близости между изучаемым славянским языком и данной неславянской языковой семьей: а) влияние славянского языка на неславянские; б) воздействие неславянских языков (языка) на

<sup>11</sup> В качестве черт типологической характеристики славянских и смежных неславянских языков могут рассматриваться также материальные заимствования в области словообразования (аффиксы), — ср., например: в русском — церковнославянскую приставку *пре-* (преступление — преступить); укр. суффикс *-унок* (поцїлунок «поцелуй») через польск. *-unek* от нем. *-ung*; польск. *-us* (< лат. *-us*): *stugus*, *lżaus*, *pijus*; болг. *-джия* (< тур. *-ci*): *ловджия* «охотник»; рст. *-nik* (< слав. *-ник*): *kirjanik* «писатель»; рум. *-iță*, ново-греч. *-ίτσα* (< слав. *-ица*); вст. *-ușiță* «дверца» (*ușă* «дверь»), ново-греч. *αλοσίβιτσα* «щепочка» (*αλοσίβα* «пень») и под.

славянский; в) результат славяно-неславянского сближения; г) последствие воздействия третьего языка (языковой семьи) на обе данные, славянскую и неславянскую, языковые семьи<sup>12</sup>.

4. В случае наличия у исследуемого явления (например, лексического) сопутствующей черты другого уровня (грамматической) в данных неславянских языках установление ее типичности для отправного и других славянских языков. Органичность данной сопутствующей черты для специально исследуемого славянского языка — при ее отсутствии (непродуктивности) в других родственных языках — может указывать на субстратный характер основного изучаемого явления в нем.

5. Сравнительно-исторический синтез результатов всестороннего исследования данной неславянской семьи языков, типологически связанной с отправным в исследовании славянским, который в случае субстратного происхождения изучаемой особенности должен привести к ее реконструкции (основой частичной реконструкции субстратного языка, входящего в данную неславянскую языковую семью, служат, с одной стороны, факты ее языков, с другой — исходного славянского).

6. Выяснение вопроса об исконно праязыковом или заимствованном происхождении изучаемой черты в языковой семье, признанной ее источником, с примерным установлением происхождения заимствования (в случае его возможности), а также относительной хронологии системно связанных с данной чертой явлений в славянских языках (например, системы приветствий, если речь идет о фразеологизме, входящем в нее).

Даже подобное схематичное и наиболее общее ознакомление с этапами работы, которую необходимо проделать для того, чтобы установить происхождение типологически общих фактов в славянских и неславянских языках, показывает ее большую трудоемкость и многообразие. Вследствие этого для достижения наибольшей эффективности в наиболее сложных случаях целесообразным представляется сосредоточение исследовательских усилий вокруг одного факта, одного языкового явления. Поскольку ввиду требования системности этот факт исследуется на фоне и в связи со всеми языками и системами, в которые он входит (или которые требуют проверки его употребления), с сугубо количественной точки зрения (числа привлекаемого материала) подобные микролингвистические скелеты, как их можно назвать, исследования ничем не уступают обычным макролингвистическим, где одновременно выясняется несколько или много лингвистических явлений<sup>13</sup>. Разница между этими двумя подходами заключается в том, что в микролингвистических исследованиях научный поиск носит более конкретный и целеустремленный характер, что все изучаемые в нем факты сфокусированы вокруг одного стоящего в центре лингвистического явления, объяснение которого со-

<sup>12</sup> Приводимые ниже этапы исследования связаны только с одной из причин типологического сходства (б), одной из наиболее характерных, но не единственной. В случае других причин характер следующих, доказывающих их процедур, естественно, должен был бы измениться.

<sup>13</sup> Понятия микролингвистический и макролингвистический в употреблении автора находятся в омонимическом отстоянии к производным микролингвистический и макролингвистический от терминов микролингвистика (англ. *microlinguistics* — собственно лингвистика) и макролингвистика (англ. *macrolinguistics* — лингвистика со смежными, связанными с ней дисциплинами), употребляемых частично в американской лингвистике (см.: Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 106, 111—112). Ввиду того однако, что в частности, понятие микролингвистический в употреблении автора не противоречит значению большинства научных терминов с композитом микро- (типа *микробиология/микробиологический* и под.), где микро- обозначает малую величину исследуемого объекта, а американские термины далеки еще от общего приращения, подобное употребление представляется вполне допустимым.

ставляет тематический стержень всего исследования. Особенно острая необходимость в микролингвистических размышлениях в связи с их эвристической направленностью возникает тогда, когда речь идет об исследовании наиболее труднодоступных объектов, требующих исчерпывающего, наиболее точного определения, когда ставится вопрос о лингвистической атрибуции неидентифицируемых элементов того или иного языка, в частности, в особенно сложных случаях семантических заимствований. Оба подхода, макролингвистический и микролингвистический, взаимодополняют друг друга, безусловно необходимы в лингвистике. Первый особенно полезен ввиду широкого охвата изучаемого материала. Второй же важен в тех случаях, когда требуется его наиболее тщательное исследование либо открытие новых лингвистических фактов (например, при посильном восстановлении субстратных языков<sup>14</sup>, в особенности не обладающих письменными памятниками).

Из рассмотренных примеров конкретных тем сопоставительно-исторических исследований можно сделать выводы о более широких вопросах, включающих их и аналогичную им проблематику, а также о тех проблемах, которые, хотя и не были затронуты выше, однако вполне логично вытекают из рассмотрения предшествующих.

К числу проблем, решаемых с помощью сопоставительно-исторического метода, относится выявление в славянских языках всех элементов (фонетических, грамматических, фразеологических, лексических), обязанных своим возникновением или формированием полностью или частично иноязычным неславянским влияниям. Целью сопоставительно-исторического метода исследования является в данном случае установление причины, характера, времени и места соответствующих влияний, так же, как и конкретных языков, оказавших эти влияния.

Обнаружение воздействия неславянских языков на славянские в его полном объеме, в том числе на соответствующую славянскую ономастику (как среди топонимов, так и антропонимов каждого славянского языка), должно неизбежно привести к обнаружению реликтных элементов субстратных языков. На основе системного изучения элементов каждого из субстратных языков (диалектов) будет осуществляться постепенное возможное восстановление субстратных языков и диалектов на славянской языковой территории, таких, как мерянский, муромский, мешерский, голядский, явтяжский, прусский, кельтский (бойский), фракийский, иллирийский, дакийский, балканороманский, далматинский и т. д.

Обе взаимосвязанные проблемы — обнаружение иноязычных влияний на славянские языки, особенно в их наиболее сложных проявлениях, и восстановление дославянских субстратных языков из славянских, — где необходимо привлечение как славянских, так и неславянских сравнительно-исторических данных, — требуют применения сопоставительно-исторического метода, поскольку при этом необходимо привлечение и сопоставление данных двух сравнительно-исторических грамматик, славянской и неславянской (финно-угорской, балтийской, палеобалканской, романской и т. д.).

Сопоставительно-историческое изучение славянских языков с необходимостью предполагает использование данных как славянских, так и смежных с ними неславянских языков. При этом к его проблемам относится не только задача обнаружить результаты воздействия неславянских

<sup>14</sup> Именно в силу этого тяготение к данному методу отмечается и у других исследователей субстратных явлений, в частности, у В. Н. Топорова, который рассматривает прусские субстратные лексемы в своем словаре «...только как предварительный материал, нуждающийся в более детальном (каждый раз монографическом) исследовании» (В. Н. Т о п о р о в, Прусский язык. Словарь. А — Д, М., 1975, стр. 8).

языков на славянские, куда входит и проблема дославянских субстратных языков на современной славянской языковой территории. Не менее важна для науки также проблема выявления глубоких славянских влияний на неславянские языки. Эта проблема представляет интерес как с общезыковедческой точки зрения (в плане изучения межязыковых контактов в целом), так и с точки зрения интересов истории тех неславянских языков (финно-угорских, балтийских, германских, романских, греческого, албанского), с которыми контактировали славянские языки. Однако наряду с этими сторонами изучения славянских языковых влияний на неславянские языки существует еще один аспект данной проблемы, заключающийся в значении изучения данных влияний для истории самих славянских языков.

Сопоставительно-историческое изучение славянских влияний на неславянские языки, предполагающее наиболее полный учет всех фактов взаимодействующих языков, а следовательно, и наиболее точную реконструкцию исходных славянских фактов, отраженных заимствованиями неславянских языков, имеет особенно важное значение при решении двух особенно сложных проблем славянского языкознания, которыми являются: 1) проблема древнейших заимствований из славянских языков в неславянские; 2) проблема славянских языковых субстратов на ныне неславянской языковой территории таких государств, как ГДР, ФРГ, Австрия, Дания, Венгрия, Румыния, Греция, Албания.

Нельзя сказать, чтобы эти проблемы, так же, как и проблемы иноязычных влияний на славянские языки или дославянских языковых субстратов, совершенно не привлекали к себе внимания ученых. Речь идет в данном случае не об их исследовании вообще, но о наличии в распоряжении науки тех или иных фактов. Вопрос заключается в наиболее эффективном, точном, а следовательно, и удовлетворительном истолковании соответствующих фактов.

Факты древнейших славянских заимствований в неславянских языках требуют их интерпретации как с точки зрения славянской, так и соответствующей неславянской (финно-угорской, балтийской, романской, германской и т. д.) сравнительно-исторической грамматики. Только в этом случае можно прийти к наиболее точной реконструкции исходных славянских данных, а это в свою очередь, — поскольку речь идет о явлениях, как правило, не зафиксированных древнейшими памятниками славянских языков, — даст возможность воссоздания тех этапов истории славянских языков, в отношении которых до сих пор наука языковыми фактами не располагала. Особенно велика может быть, конечно, польза от сопоставительно-исторического изучения славянских заимствований в неславянских языках для славянской исторической фонетики и лексики, имея в виду как позднеславянский язык, так и древнейшие периоды развития отдельных славянских языков. С помощью подобных исследований можно было бы, в частности, гораздо яснее представить себе систему древнейшего славянского, в частности, восточнославянского, вокализма в таких, например, его особенностях, как развитие и падение количества и носовых гласных, а также взаимоотношения и переходы гласных фонем в целом, падение редуцированных ъ, ь и т. п. Сплошной сбор, а затем тщательное сопоставительно-историческое исследование соответствующего материала по всем смежным со славянскими неславянским языкам дали бы возможность значительного уточнения и углубления наших знаний в области сравнительно-исторической и исторической грамматики славянских языков. Создание этого необходимого дополнения к ним, — задача, которую могут решить только специалисты, обладающие серьезной подготовкой как в области славянских, так и соответствующих неславянских

языков, — остается настоятельным требованием, стоящим перед славянским языкознанием.

Не менее серьезной и сложной задачей является изучение славянских языковых субстратов, остатков славянских субстратных языков и диалектов на территориях, занимаемых ныне неславянскими языками. Решение задачи возможного, хотя бы фрагментарного, восстановления фактов ныне исчезнувших славянских языков имеет большое значение для науки, поскольку оно должно дать возможность яснее представить как историческую эволюцию славянских языков, так и их взаимосвязи. В частности, особый интерес может представлять задача реконструкции славянских языковых субстратов на территории Румынии, Венгрии и Австрии, поскольку, по-видимому, именно здесь должна была проходить граница между восточнославянскими, западнославянскими и южнославянскими языками. Реконструкция исчезнувших славянских языков и диалектов этих переходных территорий помогла бы точнее представить формирование древних границ, прежние взаимоотношения и начальные этапы расхождения трех славянских языковых групп.

Ясно, что подобного сопоставительно-исторического изучения требуют не одни только славянские и смежные с ними неславянские языки. В сущности, поскольку в мире не существует изолированных языков, для всех языков мира неизбежным является глубокое изучение межъязыковых контактов в их истории и последствиях, а это требует применения к ним сопоставительно-исторического метода. Сопоставительно-историческое изучение языков, не исключающее, а напротив, требующее одновременного изучения нескольких (не менее двух) языковых семей в их взаимосвязях, при его последовательном применении потребовало бы, чтобы им были охвачены все без исключения языки мира, что привело бы и к наиболее результативному исследованию исчезнувших субстратных языков.

Только выполнение этого пока идеального, далекого от осуществления требования вместе с серьезным описательным и сравнительно-историческим изучением всех языков мира могло бы привести впоследствии к действительному решению проблемы языковых универсалий, в частности, универсалий языковой истории. Без этого мы вынуждены пока довольствоваться суммой более или менее вероятных гипотез, так как окончательному негипотетическому решению препятствует как слишком небольшой процент исследованных языков, так и далеко не удовлетворительное с рассмотренной точки зрения состояние исследования даже наиболее хорошо, в том числе наиболее развитых, тем более других частей света.

Разнообразие и ответственность проблематики, связанной с сопоставительно-историческим изучением как славянских, так и других языков, заставляют рассматривать это направление лингвистических исследований как одно из наиболее актуальных и перспективных.

БАСКАКОВ Н. А.

К ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ  
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Как известно, И. А. Бодуэн де Куртенэ считал, что постижение истинной природы языка как целой системы заключается в раскрытии: а) структуры синтаксических единиц — предложения и словосочетания; б) морфологической структуры слова и в) фонологической структуры корня, т. е. в установлении всех существующих в данном языке или группе генетически родственных языков структурных типов и моделей каждого уровня в их органической причинной связи и взаимных отношениях<sup>1</sup>.

Если историко-типологические исследования синтаксиса и морфологии тюркских языков имеют уже свою историю и представлены в тюркологии некоторым количеством специальных работ, то историко-типологическое изучение фонологии всей группы тюркских языков по существу находится еще в зачаточном состоянии. Существующие специальные работы по фонетике и фонологии тюркских языков посвящены либо анализу фонологических систем конкретных тюркских языков, либо исследованию частных явлений фонетики и фонологии, характерных для того или иного тюркского языка или для отдельных групп тюркских языков.

Некоторые успехи в изучении фонетики и фонологии тюркских языков представлены специальными трудами сравнительно-исторического характера, которые, однако, как правило, имеют незначительную хронологическую глубину, редко выходящую за пределы близкородственных языков одной тюркской группы, без привлечения данных других алтайских языков. Вместе с тем, как в первом типе синхронных исследований фонологической структуры конкретных языков, так и в исследованиях второго типа — диахронических сравнительно-исторических трудах тюркологов уже присутствуют выводы и заключения, касающиеся типологии фонологических структур тюркских языков как единой генетической общности. Наибольшее значение для изучения типологии фонологических структур тюркских языков имеют два основных направления: а) сравнительно-историческая фонетика и б) типологическая фонология, т. е. фонология, непосредственно связанная с установлением структурных фонологических типов, встречающихся в современных и древних тюркских языках.

Истоками для типологического изучения фонологии тюркских языков были прежде всего исследования В. Радлова, его сравнительная фонетика тюркских языков и отдельные его исследования по исторической фонетике. Эти исследования В. Радлова<sup>2</sup>, в которых был привлечен материал по всем основным тюркским языкам и диалектам, послужил основой для

<sup>1</sup> И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избранные труды по общему языкознанию, II, М., 1963, стр. 65, 108 и др.

<sup>2</sup> W. R a d l o f f, *Fonetik der nördlichen Türksprachen*, Leipzig, 1882; е г о ж е, *Zur Geschichte des türkischen Vocalsystems*, «Изв. АН», V серия, XIV, 4, 1901.

последующих исследований по сравнительной грамматике и фонетике тюркских языков в России, главным образом в Казанской школе, представленной трудами В. А. Богородицкого и Г. Шарафа<sup>3</sup> и за рубежом в трудах К. Фоя, Г. Ярринга, А. Бомбачи, Г. И. Рамстедта и некот. др.<sup>4</sup>, подытоженных в синтетических трудах частично М. Рясняном и А. Емре<sup>5</sup>. Интенсивное развитие сравнительно-исторические исследования в тюркологии получили, начиная с пятидесятих годов, в трудах Н. К. Дмитриева и его учеников Ф. Г. Исхакова, Дж. Киекбаева и других<sup>6</sup>, а также в работах Ф. Кязимова и Г. П. Мельникова<sup>7</sup>, в которых были освещены такие стороны диахронической фонетики, как исторические соответствия и чередования звуков в корневой морфеме, сущность и роль сингармонизма в фонологической структуре слова (последний вопрос особенно тщательно был разработан Г. П. Мельниковым<sup>8</sup>), наконец, известный синтез всех сравнительно-исторических исследований был представлен А. М. Щербаком в его «Сравнительной фонетике тюркских языков» и в других его работах<sup>9</sup>. Все указанные выше исследования относятся главным образом к сравнительно-исторической фонетике тюркских языков, хотя и представляют весьма ценные итоги для установления основных типов фонологической их структуры.

Второе направление — типологическое изучение фонологии тюркских языков в тесной связи со структурой слова, его строением и механизмом агглютинации — было представлено исследованиями И. А. Бодуэна де Куртене, Е. Д. Поливанова и Н. С. Трубецкого, определившими общую теорию типологического анализа<sup>10</sup>, а также трудами А. Фишера, Ж. Де-

<sup>3</sup> В. А. Богородицкий. Законы сингармонизма в тюркских языках, «Вестник научного общества татароведения», Казань, 1927, 6; его же, Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию, Казань, 1933; Г. Ш а р а ф, Палатограммы звуков татарского языка, Казань, 1927; его же, Сонорная длительность татарских гласных, «Вестник научного общества татароведения», Казань, 1928, 8.

<sup>4</sup> К. Ф о у, Türkische Vocalstudien besonders das Köktürkische und Osmanische betreffend, MSOS, III, 2, 1900; G. J a r r i n g, Studien zu einer osttürkischen Lautlehre, Lund—Leipzig, 1933; A. B o m b a c i, Probleme der historischen Lautlehre der türkischen Sprache, UAJb, XXIV, 3—4, 1952; G. J. R a m s t e d t, Einführung in die altaischen Sprachwissenschaft, I — Lautlehre, MSFOu, 1957; E. H a m p, Vowel harmony in classical mongolian, «Word», 14, 2—3, 1958.

<sup>5</sup> M. R ä s ä n e n, Beiträge zur Frage der türkischen Vocalharmonie, JSFOu, XLV, 3, 1932; его же, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen, Helsinki, 1949 (русский перевод: М. Р я с н я н, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955); А. С. Е м р е, Türk lehçelerinin mukayeseli grameri (ilk deme-ne), birinci kitap — Fonetik, Istanbul, 1949.

<sup>6</sup> Н. К. Д м и т р и е в, Чередование гласных заднего и переднего ряда в одном и том же корне отдельных тюркских языков, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», I, М., 1955; Ф. Г. И с х а к о в, Гармония гласных в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков»; Дж. К и е к б а е в, Вариантные слова или сингармонистический параллелизм в башкирском языке, «Уч. зап. [Башкирк. гос. пед. ин-та]», IV. Серия филологическая, 1, Уфа, 1955; его же, О передвижении гласных в башкирском языке, «Уч. зап. [Башкирк. гос. пед. ин-та]», VIII. Серия филологическая, 2, Уфа, 1956.

<sup>7</sup> Ф. К я з и м о в, Принципы сингармонизма в азербайджанском языке, ИАН ОЛЯ, 1954, 4; Г. П. М е л ь н и к о в, О некоторых типах слогоразличительных сигналов в языках тюркских и банту, «Народы Азии и Африки», 1962, 6; его же, Классификация гласных, способ их описания и причины перебора татарско-башкирских гласных, «Тезисы научной конференции аспирантов Института языкознания АН СССР», М., 1963; его же, Причины нарушения симметрии киргизского вокализма, «Туркологические исследования», Фрунзе, 1970.

<sup>8</sup> Г. П. М е л ь н и к о в, Некоторые способы описания и анализа гармонии гласных в современных тюркских языках, ВЯ, 1962, 6.

<sup>9</sup> А. М. Щ е р б а к, О тюркском вокализме, «Туркологические исследования», М., 1963; его же, Тюркский консонантизм, ВЯ, 1964, 5; его же, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970.

<sup>10</sup> И. А. Б о д у э н д е К у р т е н э, указ. соч.; Е. Д. П о л и в а н о в, Субъективный характер восприятия звуков языка, «Избранные работы», М., 1968; его же,

ни, И. ван Гиннекена и И. Крамского<sup>11</sup>, установившими непосредственно роль сингармонизма в формировании структуры слова, происхождение и функции сингармонизма, а также роль дихотомической альтернации гласных в реконструкции типологических типов фонологической структуры тюркских языков, и наконец, некоторыми частными исследованиями К. Томсена, Ю. Немета, К. Менгеса и Л. Базэна, а также некоторыми других тюркологов, давших ценные детали, характеризующие исторически сложившиеся типы некоторых конкретных тюркских языков<sup>12</sup>.

Начиная с 50-х и 60-х гг. предшествующий опыт установления фонологической типологии тюркских языков был развит в направлении точного определения сущности фонемы как единицы звукового строя языка, характеризующейся взаимосвязью и единством материальной и функциональной ее сторон, и как элемента, формирующего реальную структуру слова, в свою очередь конструирующего тот или иной фонологический тип языка. Определение же типа фонологической структуры реализуется в тесной связи с единством морфологического и синтаксического типа. Так, специфика исторически сложившегося общего типа тюркского языка, состав гласных фонем корневой морфемы в котором представлен восьмью, а аффиксальными морфем — четырьмя гласными, заключается в том, что подобный тип фонологической структуры тюркских языков характеризует последние как сложившиеся агглютинативные языки, специфика же исторически предшествующего типа, который легко ретроспективно реконструируется и характеризуется наличием вокализма, состоящего из одной слогообразующей фонемы, заключается в его характеристике как типа языков изолирующего строя.

Первая попытка изложения этой концепции была предпринята нами в 1952 г. в книге «Каракалпакский язык», затем более детально она изложена в последующих работах<sup>13</sup>. К этому же направлению следует отнести работы, частично касающиеся фонологии тюркских языков: А. А. Реформатского, М. Молловой, В. А. Виноградова и интересную статью узбекских фонологов Ш. Ш. Шаабдуррахманова и А. А. Абдуазизова<sup>14</sup>.

Узбекская диалектология и узбекский литературный язык, Ташкент, 1933; е го ж е, К вопросу о долгих гласных в общетурецком языке, «Доклады АН СССР», В. 7, Л., 1927; Н. С. Трубецкой. Основы фонологии, М., 1960.

<sup>11</sup> A. Fischer, Die Vocalharmonie der Endungen an den Fremdwörtern des Türkischen, Leipzig, 1920; J. Deny, Rôle de l'harmonie vocale dans la formation des mots turcs, «Atti XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti», Roma, 1938; J. van Ginneken, La reconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité, Amsterdam, 1939; J. Kramsky, Ueber den Ursprung und die Funktion der Vocalharmonie in den ural-altaïsche Sprachen, ZDMG, 106 (N. F.), 31, 1956.

<sup>12</sup> K. Tomesen, The closed e in Turkish, AO, XXII, 1957; J. Nemeth, Zu den e-Lauten im Türkischen, «Stud. Or.», XXVIII, 14, 1964; K. H. Menges, Zu den Haqasischen i-Lauten, UAJb, XXXV, D, 1964; L. Bazin, Y-a-t-il en turc des alternances vocaliques?, UAJb, XXXIII, 1—2, 1961; Э. Р. Тенишев, О связи гармонии гласных с агглютинацией в тюркских языках, «Морфологическая типология и проблемы классификации языков», М.—Л., 1965; А. Н. Кононов, О фузии в тюркских языках, «Структура и история тюркских языков», М., 1971; е го ж е, О природе тюркской агглютинации, ВЯ, 1976, 4; И. В. Кормушин, Явление фузии в истории алтайских языков и ее значение для решения проблем общности алтайских языков, «Проблемы общности алтайских языков», Л., 1971.

<sup>13</sup> Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, М., 1952; е го ж е, Тюркские языки (Общие сведения и типологическая характеристика), «Языки народов СССР», II, М., 1966; е го ж е, Введение в изучение тюркских языков, М., 1969.

<sup>14</sup> А. А. Реформатский, Сингармонизм как проблема фонологии и общей лингвистики, «Тюркологические исследования», Фрунзе, 1970; е го ж е, Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка, «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961; е го ж е, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), «Вопросы грамматического строя», М., 1955; М. Моллова, К истории тюркского вокализма, ВЯ, 1966, 2; В. А. Виноградов, Сингармонизм и фонология слова, «Тюркологические ис-

Предпринятая нами серия историко-типологических исследований, имеющая своей целью историко-типологическое сопоставление тюркских языков и вскрытие основных типов важнейших категорий языка также только внутри группы родственных языков, т. е. в данном случае внутри группы тюркских языков, уже установила на синтаксическом и морфологическом уровнях определенные исторически сложившиеся и имеющие хронологическую последовательность в своем развитии типы основных синтаксических конструкций — словосочетаний и предложений, равно как и соответствующие хронологически соотнесенные типы морфологической структуры тюркского слова, характеризующих последовательный переход тюркских языков от древнего, близкого к изолирующему строю, до структурного типа агглютинирующих языков<sup>15</sup>.

Все типы синтаксических конструкций и модели морфологической структуры слова установлены методом ретроспективной, внутренней реконструкции от существующих конструкций и моделей к более древним, рудименты которых сохранились как в древних, так и современных языках, т. е. исходя не из реконструированных праязыковых форм, как это принято в сравнительно-исторических исследованиях, а из существующих сохранившихся закономерностей. Историко-типологическая ретроспективная, внутренняя реконструкция, таким образом, заключается в сопоставлении существующих в конкретных языках, в их синхронной, современной структуре, структурных явлений, как различных этапов развития и определения, с одной стороны, их иерархии в ряде других явлений, а с другой в установлении хронологической последовательности в их развитии с учетом относительной первичности значений и соответствующей формы. Как показали эти исследования, все уровни тюркских языков тесно взаимосвязаны между собой органическим изоморфизмом и зависимостью от синтаксического уровня, устанавливающего общий строй тюркских языков и определяющего морфологическую структуру тюркского слова, которая в свою очередь служит базой, устанавливающей соответствующие фонологические закономерности и специфические для тюркских языков типы фонологических структур.

Для того, чтобы изучить фонологическую структуру тюркского слова, необходимо было прежде всего определить строение слова, его основные смысловые элементы — морфемы, характер его корня и механизм агглютинации аффиксальных морфем, а для того, чтобы понять смысловой строй слова и закономерности присоединения морфем, т. е. сущность морфологических категорий языка, необходимо было исследовать в историко-типологическом плане синтаксическую структуру словосочетания и предложения, изоморфизм которых заложен в морфологической структуре слова. Такая последовательность в анализе уровней языка и дедуктивный метод исследования с большей эффективностью вскрывают сущность типологии тюркских языков в единстве и органической связи всех явлений и всех уровней, в то время как обратная последовательность анализа — от фонологических исследований к грамматическим — морфологическим и синтаксическим — не позволяет установить и объяснить органическую связь уровней между собой.

Если при сравнительно-историческом методе исследователь исходит

следования», Фрунзе, 1970; Ш. Ш. Шабабдурахманов, А. А. Абдуазизов, К проблеме теории и метода фонетико-фонологического анализа в исследованиях тюркских языков, «Общественные науки в Узбекистане», 1976, 10.

<sup>15</sup> См. об этом подробнее: Н. А. Баскаков, Историко-типологическая характеристика тюркских языков. Словосочетание и предложение, М., 1975; его же, Историко-типологическая морфология тюркских языков (Структура слова и механизм агглютинации), М., 1979.

в своем анализе из реконструированных им архетипов, праформ праязыка, объясняя современное состояние изучаемых им языков, то при ретроспективно-типологическом изучении структуры языка все факты и явления более древней структуры отдельных систем и подсистем определяются и объясняются реконструированием, исходя из внутренних закономерностей структуры современных языков.

Считая необходимым и обязательным в первую очередь в историко-типологическом анализе учитывать тесную смысловую связь категорий языка и мышления, мы установили, что основные единицы языка, определяющие смысл и содержание человеческой речи, — слово, словосочетание и предложение — представляют собой реализацию трех основных мыслительных актов — номинации, т. е. образования слов-понятий, как простых, так и сложных, атрибуции, т. е. образования словосочетаний, выражающих конкретизацию слов-понятий, и предикации, т. е. образования предложений, выражающих интеграцию и обобщение слов-понятий по признаку, содержащему категории времени и модальности. Определяя словосочетание как выражение акта атрибуции, как сочетание двух слов-понятий или групп слов, образующих две зоны: определения и определяемого, из которых в определении выражен признак, конкретизирующий абстрактное понятие определяемого, с одной стороны, и устанавливая структуру тюркского слова как непрерывную цепь сочетающихся между собой морфем, исторически восходящих к трехзвучным корням самостоятельных слов, носивших конкретное реальное значение предметов и признаков, но в процессе морфологического развития абстрагировавшихся и в современных языках характеризующихся различной степенью фонетической редукции и выпадением отдельных корневых элементов из состава корней, образующих аффиксы, т. е. по схеме  $ГС + (C)ГС + СГ(C) + (C)Г(C) + С(ГC) + (СГ)C$  и т. д., с другой, мы приходим к выводу о полном изоморфизме слова и словосочетания, т. е. об общей структуре слова, которое состоит либо из одного корня, либо из сочетания корневой морфемы с одним или группой аффиксов, определяющих общее смысловое понятие слова — конкретизирующей части слова, и группы постпозиционных аффиксов — конкретизируемой части слова, выражающей абстрактное понятие, например, казах. *žaz-ıw-şy* «писатель», где корневая морфема *žaz-* «писать» и афф. *-ıw*, образующий масдарную форму *žaz-ıw* «писание», несут функцию определяющей части слова, а морфема *-şy* — функцию определяемой морфемы, выражающей отвлеченное понятие действующего лица.

Таким образом, принимая гипотезу о полном изоморфизме слова и словосочетания и об исторически реальном лексическом значении каждой аффиксальной морфемы, мы должны также признать и общие закономерности, а также и наличие общих смысловых и грамматических категорий для словосочетания и слова, т. е. во-первых, общие со словосочетанием синтаксические отношения в составе корневых и аффиксальных морфем — морфосинтаксис, во-вторых, общие закономерности, определяющие различные части речи и соответствующие морфологические категории в составе морфем — морфоморфологию, в-третьих, общие со словом содержательные, семантические реальные лексические значения, абстрагированные в процессе семантического развития — морфосемасиологию и, наконец, в-четвертых, соответствующее фонологическое выражение морфем — морфофонологию.

Итак, исходя из установленной структуры слова как состоящего либо из одной корневой морфемы, либо из сочетания корневой морфемы с аффиксальными, которые исторически представляли собой такие же самостоятельные, но в процессе грамматикализации фонетически редуциро-

ванные самостоятельные слова, мы переходим к рассмотрению фонологической его структуры.

Если слова, состоящие только из корневой морфемы, представляют собой структуру из двух согласных и интерконсонантного вокалического элемента — *СГС(СVC)*, а слова более сложные — из корневой и аффиксальной или группы аффиксальных морфем, исторически сложившиеся из тех же элементов и той же структуры, т. е., с одной стороны, определяющей корневой морфемы и, с другой, — морфем аффиксальных определяемых, то фонологический анализ слова должен заключаться во вскрытии фонологических закономерностей, относящихся прежде всего к корневой морфеме, а затем закономерностей, определяющих аффиксальные морфемы. Иначе говоря, прежде чем судить об общих фонологических закономерностях, определяющих те или иные фонологические типы тюркских языков, необходимо сначала рассмотреть все фонологические явления и закономерности, определяющие характер корневой морфемы, которая во всех современных и древних тюркских языках характеризуется начальным и конечным консонантами и межконсонантным элементом, а затем уже рассматривать и фонологические закономерности, относящиеся к аффиксальным морфемам и их сочетаниям с корневой морфемой. Что же касается ущербных корневых морфем, т. е. морфем, состоящих из *ГС* или *СГ*, а также из более сложных корней типа *ГСГ*, *ГСС*, *СГСС* и проч., то они, занимая в общем составе лексики тюркских языков чрезвычайно незначительный процент по сравнению с корневыми морфемами типа *СГС*, представляют собой результат длительного фонетического развития и либо редукции одного из консонантных элементов, либо фузии и наращения аффиксальных морфем.

В современных тюркских языках в исконной их лексике, исключая все позднейшие заимствования, главным образом, из арабского, персидского и русского языков, а также некоторые позднейшие фонетические закономерности, например, вторичные долготы, корневые морфемы характеризуются довольно ограниченным набором согласных и восьмью основными гласными фонемами — четырьмя нижнего подъема *a, e, o, ö* и четырьмя верхнего подъема *y, i, u, ü* (в некоторых языках + долгие гласные), а аффиксальные морфемы — той же системой согласных и только двумя основными гласными фонемами — одной нижнего подъема *a* (*e, o, ö*) и одной верхнего подъема *y* (*i, u, ü*). В скобках даны зависящие от сингармонизма аллофоны фонем.

Специфика фонологической структуры тюркской корневой морфемы заключается в том, что она во всех существующих тюркских языках сингармонистична не только по палатальной и лабиальной аттракции, но и по подъему, т. е. каждая корневая морфема представлена сочетанием либо верхнего, либо нижнего подъема гласных и согласных, которые в свою очередь характеризуются либо палатальной или лабиальной аттракцией, либо и той и другой одновременно. Тотальный сингармонизм корневой морфемы и многообразная в связи с этим тембровая окраска согласных по подъему, палатализации и лабиализации не способствовали на первых порах развитию консонантизма в тюркских языках по другим дифференциальным признакам; до массового заимствования иноязычных слов, как это свидетельствует современный алтайский язык, тюркский консонантизм состоял из двух передних фонем — шумного *p* (*b, v/f, w/φ*) и сонорного *m*, трех задних фонем — двух шумных *k* (*g, q/g, x*) и *γ* и одной сонорной *ŋ* и девяти средних фонем — пяти шумных *t(d), s(z), š(ž), č(dž), dj(tj)* и четырех сонорных *j, r, l, n*.

Имея в виду структуру тюркского слова, представляющего собой последовательный ряд, изоморфный структуре словосочетания и состоя-

щий из корневой морфемы и морфем аффиксальных, исторически грамматикализовавшихся таких же корневых морфем, можно предположить, что тюркские языки ранее имели характер изолирующих языков. Такое предположение подкрепляется и фонологическим типом корневой морфемы (resp. самостоятельного слова), которая представляла собой своеобразную морфофону, так как все дифференциальные признаки, характеризующие тембровую окраску составляющих ее консонантных элементов, являются общими для всей корневой морфемы, и, следовательно, могут быть как бы вынесены за скобку, т. е. графически, например, выражены знаками  $\wedge$  — для подъема,  $'$  — для палатализации, и  $\overset{\circ}{}$  — для лабиализации, стоящими впереди корневой морфемы или слова. Такой тип языка мог бы быть отнесен к так называемым моновокалическим языкам, в возможности которых сомневался Н. С. Трубецкой<sup>16</sup>, так как в этом случае вокалический элемент имел бы только функцию слогораздела. Именно такой моновокалический тип фонологической структуры слова был характерен для древнего строя тюркских языков, близкого или совпадающего с типом изолирующих языков, когда грамматические отношения были выражены не агглютинирующими аффиксами, а сочетаниями пока не грамматикализованных или слабо грамматикализованных морфем, сочетающихся между собой в виде самостоятельных морфофонов типа:

$tlk = tyk$ «суть»	$\wedge tlk = tak$ «прицепи»
$'tlk = tik$ «шей»	$\overset{\circ}{\wedge} tlk = tek$ «порода»
$\overset{\circ}{\circ} tlk = tuk$ «запруда»	$\overset{\circ}{\circ} tlk = tok$ «сытый»
$\overset{\circ}{\circ} tlk = tük$ «шерсть»	$\overset{\circ}{\circ} tlk = tök$ «просишь»

Н. С. Трубецкой писал, что «языков с одной-единственной гласной фонемой, видимо, нет. Если бы такой „моновокалический“ язык существовал, то в нем наблюдались бы многочисленные скопления согласных: ведь только при этом условии и могла бы существовать одна-единственная гласная, противопоставляясь отсутствию гласного („вокалическому нулю“) между согласными консонантной группы или же в исходе слова»<sup>17</sup>. Как видно из этого высказывания, Н. С. Трубецкой не учитывал возможностей такого моновокалического языка при условии распространения основных дифференциальных признаков отдельных фонем на всю корневую морфему и образования таким образом морфофонов, но прав в том отношении, что при подобном моновокалическом языке согласные имели бы большее количество фонем, характеризующихся различными тембровыми оттенками.

Возможно, что в подобном предшествующем современным тюркским агглютинативным языкам изолирующем строе, характеризующемся моновокалическим характером структуры слова, дифференциальные признаки подъема, палатализации и лабиализации реализовались различными тонами, характерными для некоторых современных языков Юго-Восточной Азии. Для изолирующего же строя языков характерна, например, синкретичность корневой морфемы, имеющей близкое по смыслу именное и глагольное значение, явление, сохранившееся для некоторых слов и в современных тюркских языках, например, каракалп. *ij* «дом» и *ijj* «складывать в кучу»; *sal* «плот» и *sal-* «класть, положить»; *art* «спина» и *art-* «навьючить» и проч.<sup>18</sup>. Этим же, близким к изолирующему, строем тюркских языков в их древнем состоянии можно объяснить и наличие фиксированного ударения первоначально на первом слоге слова,

<sup>16</sup> Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 107.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, стр. 312.

т. е. на корневой морфеме, которое в этой позиции сохранилось в современных монгольских языках, и только позже в агглютинативном строе, в слове, изоморфном словосочетанию, ударение перешло на последний слог, соответствующий определяемому в системе морфосинтаксиса, как на элемент, содержащий опорное, определяемое значение. Наконец, характером изолирующего строя языка вызван был для подобных языков и иероглифический способ его визуального выражения, т. е. способ письменности, который сохранился и для некоторых современных языков.

С последующими процессами морфологического развития и грамматикализации определяемых морфем и их фонетической редукцией и фузией с предшествующими определяющими корневыми морфемами, т. е. образованием сложных слов, состоящих уже не из изолированных морфофонем, а из сочетаний одной корневой морфемы с грамматикализовавшимися и превратившимися в аффиксы морфемами, появился уже другой, близкий к современным, фонологический тип с наличием только двух гласных фонем, различающихся по подъему: *a* и *y*. Любопытно, что наличие только двух гласных фонем, различающихся по подъему, по существу сохранилось до настоящего времени во многих современных тюркских языках для аффиксальных морфем, которые реализуются только посредством двух фонем: *a* (*o*, *e*, *ö*) и *y* (*i*, *u*, *ü*), так как их варианты *o*, *e*, *ö* для *a* и *i*, *u*, *ü* для *y* не имеют фонематического значения благодаря сингармонизму слова в целом. Что же касается гласных фонем корневых морфем, то они по существу сводятся также к двум фонемам, так как дифференциальные признаки палатализации и лабиализации, например, для современного алтайского языка, относятся не только к корневой морфеме, но и ко всему слову. Это свойство было в свое время использовано казахскими учеными, которые предлагали графически выражать палатализацию всего слова так называемой графемой 'dajaqşy (букв. «палочка») в препозиции по отношению к слову, например: *takty* (= *takty*) «он прицепил» и ' *takty* (= *tekti*) «породистый», *tykty* (= *tykty*) «он сунул» и ' *tykty* (= *tikti*) «он спил». Подобным же условным знаком для обозначения лабиальной аттракции в слове мог бы быть использован также знак °domalaqşy (букв. «шарик»), например: ° *takty* (= *toktu*) «ягненок» и ° *takty* (= *töktü*) «он просыпал», ° *tykty* (= *tuktu*) «запруду» (вин. п.) и ° *tykty* (= *tüktü*) «с шерстью».

Третий, классический агглютинативный фонологический тип тюркских языков характеризуется наличием уже восьми гласных фонем — четырех полного образования: *a*, *e*, *o*, *ö* и четырех неполного образования: *y*, *i*, *u*, *ü* и примерно от семи до девяти анлаутных и от 11 до 13 аусллаутных согласных, т. е. совпадающий с некоторыми современными тюркскими языками фонологический тип развившихся уже в полной степени агглютинативных языков. Следует отметить, что характер типов типологической структуры тюркских языков усложняется еще характером гласных фонем полного образования. В одних языках они представлены широкими гласными: (*a*), *e*, *o*, *ö*, а в других узкими: (*y*), *i*, *u*, *ü*, например, в татарском языке.

Известно положение о том, что центральные языки являются зоной инноваций, а маргинальные языки — зоной консервации<sup>19</sup>, и это положение ярко подтверждается в отношении тюркских языков. Характерно, что крайне западные и крайне восточные тюркские языки, а именно языки Поволжья (чувашский, татарский, башкирский), с одной стороны, и тюркские языки Восточной Сибири (хакасский, северные диалекты алтайского языка) и языки древнетюркских рунических памятников (древнегузский,

<sup>19</sup> Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М., — Л., 1964.

древнеуйгурский и древнекиргизский) — с другой, имеют некоторые объединяющие их существенные черты общего, но поляризованного ареала, отличающегося прежде всего своеобразием подсистемы вокализма и некоторыми специфическими особенностями консонантизма, образуя отличный от других тюркских языков фонологический тип, характеризующийся наличием узких гласных полного образования: *i, u, ü* (в полном объеме или частично) вместо широких: *e, o, ö* (а в некоторых диалектах и *y* вместо *a*), и узких гласных неполного образования: *y, i, u, ü*. Углубленные исследования природы фонологической структуры тюркских языков показывают, что вокализм с узкими гласными полного образования: *i, u, ü*, характерный для указанных маргинальных языков, является результатом параллельного развития с вокализмом языков с широкими гласными: *e, o, ö*, причем ключом для установления этого положения являются языки чувашский, якутский, туркменский и некоторые диалекты других сибирских тюркских языков, составляя особо сложную проблему, имеющую несколько решений, и в том числе в исследовании японского филолога С. Хаттори<sup>20</sup>.

Итак, мы ретроспективно, на основании фонетических закономерностей, заложенных в структуре современных тюркских языков, установили три основных типа фонологической структуры исторически предшествующих тюркских языков, которые в современном своем состоянии имеют уже относительное множество специфических типов, сформировавшихся в результате как своего имманентного развития, так и благодаря воздействию различных субстратных и адстратных языков. Все эти фонологические типы тюркских языков по характеру вокализма, впрочем, тесно связанного и с консонантизмом, могут быть разделены прежде всего на следующие две группы.

Первую группу, характеризующуюся наличием системы вокализма, состоящей из восьми основных фонем: четырех узких гласных неполного образования — *y, i, u, ü* и четырех широких гласных полного образования — *a, e, o, ö*, с некоторыми отклонениями и инновациями, вызванными влиянием соседних родственных и неродственных языков. К этой группе относятся, как уже отмечалось выше, центральные тюркские языки, а именно языки огузо-карлукско-кыпчакские, позже дифференцировавшиеся на соответствующие подразделения:

1. Огузские языки: а) некоторые языки, сохранившие восьмеричную систему вокализма и специфический для огузских языков консонантизм, например, турецкий язык; б) некоторые языки, имеющие основную восьмеричную систему + фонему *ä* и соответствующие восемь первичных долгих гласных как пережитки древних стяжений комплексов ГСГ, например, туркменский язык и в) некоторые языки с основной восьмеричной системой + гласный *ä*, например, азербайджанский язык. Все огузские языки, кроме того, имеют соответствующие вторичные позиционные долгие гласные спорадического характера, и соответствующий, характерный для них консонантизм.

2. Кыпчакские языки: а) группа языков с основной восьмеричной системой вокализма, например, языки: кумыкский, карачаево-балкарский, крымскотатарский, караимский, с некоторыми особенностями для отдельных диалектов; б) группа языков, имеющих основную восьмеричную систему вокализма + гласный *ä*, функционирующий главным образом в за-

<sup>20</sup> Hattori Shiro, Phonological interpretation of Tatar high vowels, «Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges», Wiesbaden, 1977; е го ж е, О формировании татарского и чувашского языков, ВЯ, 1980, 3.

имствованных словах, например, языки: ногайский, казахский, каракалпакский, также с некоторыми отклонениями для диалектов; в) группа языков с тем же основным восьмеричным вокализмом + соответствующие вторичные долгие гласные, например, языки: киргизский и алтайский.

3. Карлукские языки: а) сохранившие восьмеричную систему гласных +  $\bar{a}$  с конвергенцией узких гласных  $y$  и  $i$  и характерным умлаутом и некоторыми другими особенностями, например, новобуйгурский язык и умлаутные диалекты узбекского языка и б) узбекский язык, имеющий по диалектам различные системы вокализма от девяти до шести гласных фонем, сформировавшиеся под влиянием соседних адстратных языков и внутренних закономерностей этого языка, возникших в процессе его формирования.

4. Уйгуро-огузские (сибирские) языки: а) сохранившие восьмеричную систему вокализма, но усложненные соответствующими восьмью долгими и восьмью фарингализованными, например, тувинский язык; б) также с восьмеричным вокализмом + восемь долгих гласных и четыре дифтонгоидных сочетания, например, якутский язык.

Все эти языки имеют и соответствующие особенности консонантизма. Вторая группа тюркских языков, характеризующаяся наличием системы вокализма, исторически состоящего из восьми основных гласных фонем, которая, однако, представлена ныне видоизмененной системой из четырех узких гласных неполного образования:  $y, i, u, \bar{u}$ , общих с теми же узкими гласными и для первой группы, и четырех же узких гласных полного образования:  $y, i, u, \bar{u}$ , вместо широких гласных первой группы ( $a, e, o, \bar{o}$ ). Таким образом, если первая группа тюркских языков характеризуется наличием следующих основных гласных:  $y, i, u, \bar{u} + a, e, o, \bar{o}$ , то вокализм второй группы первоначально состоял из  $y, i, u, \bar{u} + y, i, u, \bar{u}$ . Ко второй группе, как это уже отмечалось, относятся маргинальные языки, а именно языки булгаро-огузские, позже дифференцировавшиеся на следующие подразделения:

1. Булгарские языки, сохранившие восьмеричный вокализм, состоящий из восьми узких гласных, из которых четыре неполного образования:  $y, i, u, \bar{u}$  и четыре полного образования:  $y, i, u, \bar{u} +$  гласные  $a$  и  $e$ , например, древний булгарский и современный чувашский языки (последний сохранил эту систему в низовом диалекте:  $\bar{a}, \bar{e}, \bar{a}^{\circ}, \bar{e}^{\circ}, y, i, u, \bar{u} + a, e$ ).

2. Кыпчакско-булгарские языки, например: а) татарский, сохранивший также восьмеричную систему узких гласных:  $y, i, u, \bar{u}, y, i, u, \bar{u} + a$  и  $\bar{a}$  или б) башкирский язык, имеющий также, кроме восьми узких гласных  $y, i, u, \bar{u}, y, i, u, \bar{u}$ , широкие  $a$  и  $\bar{a}$ .

3. Уйгуро-огузские языки, сохранившие элементы вокализма первой группы, т. е. широкие гласные полного образования, и некоторые особенности вокализма второй группы, например: а) язык орхон-енисейских памятников, в котором отсутствует четкая дифференциация гласных фонем  $e \sim i, o \sim u, \bar{o} \sim \bar{u}$  и имеются парные согласные по палатальному ряду и б) языки хакасский и северные диалекты алтайского, а также некоторые другие сибирские диалекты, где сохранился вокализм, состоящий из восьми гласных фонем:  $y, i, u, \bar{u}, y, i, u, \bar{u}$ , т. е. четырех узких полного образования и четырех узких неполного образования + широкие гласные  $a, e$  и вторичные долгие гласные.

Таковы пока первые мысли и первые наброски исследования историко-типологической фонологии тюркских языков, требующего еще большей и сложной работы аналитического и обобщающего синтетического характера.

СОЛГАНИК Г. Я.

## К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ РЕЧИ

Примерно со времен Ф. де Соссюра вместо единого предмета исследования лингвистика выдвигает два объекта — язык и речь. Однако эта прочно укоренившаяся в языкознании дихотомия, несмотря на огромное количество работ, посвященных данной проблеме, продолжает носить во многом теоретический характер<sup>1</sup>. Определяя в теории по-разному соотношение языка и речи [как социальное и индивидуальное (Ф. де Соссюр), как систему и ее манифестацию (Н. С. Трубецкой), как код и сообщение (А. Мартине) и т. д.], в разных направлениях лингвистики на практике продолжали изучать все же язык. Речь же как объект лингвистического изучения остается до настоящего времени мало исследованной. Не разработаны методы ее изучения, не очерчен достаточно четко круг относящихся сюда проблем.

Трудности изучения речи связаны как с объективными причинами (сюда следует отнести такие ее черты, как конкретность, индивидуальность, непостоянство, делающие речь в известной мере ускользающим, эфемерным объектом анализа), так и с субъективными факторами — неточными исходными посылками. Дело в том, что в большинстве случаев к изучению речи шли от языка, в речи отыскивались единицы, соотносительные с языковыми, например: фонема — звук, лексема — слово, предложение — высказывание. В результате оказывалось, что общее в речи — это язык. Речь же выступала в виде «сверхязыкового остатка» (А. Гардинер). Таким образом, исследование проблемы «язык — речь» образовывало порочный круг: двигаясь в исследовании речи от языка, обнаруживали в ней не что иное, как язык. При таком подходе необходимость в дихотомии «язык — речь» исключается. Если сущность речи составляет язык, а речь лишена самостоятельного существования, то понятие речи оказывается избыточным.

Вопрос о выделении двух самостоятельных объектов лингвистики или двух сторон единого целого не следует сводить и к вопросу о единстве объекта языкознания, как это делает, например, Т. С. Шараденидзе, полагая, что «использование терминов „язык“ и „речь“ оправдано в том случае, если они обозначают два различных объекта»<sup>2</sup>. Будем ли мы рассматривать язык и речь как две стороны единого целого или как различные объекты, подход к их изучению в принципе не меняется. И в том и в другом случае необходимо выделение изучаемой стороны, или объекта.

<sup>1</sup> «Диапазон различий между высказанными по этому вопросу точками зрения весьма велик, — пишет В. З. Панфилов, — от противопоставления языка и речи как автономных объектов, отличающихся друг от друга совокупностью существенных признаков, и выделения двух самостоятельных научных дисциплин, а именно лингвистики языка и лингвистики речи, до полного отрицания обоснованности разграничения языка и речи вообще» (В. З. П а н ф и л о в, Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания, ВЯ, 1979, 4, стр. 5).

<sup>2</sup> Т. С. Ш а р а д е н и д з е. Проблема взаимоотношения языка и речи, Тбилиси, 1971, стр. 36.

Подобно тому, как выделение разных уровней языка не ведет к нарушению целостности языка, выделение в качестве различных объектов языка и речи также не подрывает тезиса об их диалектическом единстве. Напротив, именно разьединение различных сторон единого целого с углубленным анализом их — наиболее действенный путь к последующему синтезу этих сторон.

Таким образом, если мы хотим изучать речь как самостоятельный объект лингвистики, следует обратиться к речи как к таковой и попытаться найти в ней общее, сущностное, не связанное с языком, присущее только речи. Другими словами, необходимо показать, что «речь, в отличие от языка, имеет свои особые, сущностные характеристики»<sup>3</sup>.

Обратимся с этой точки зрения к анализу речевого материала. Начнем с рассмотрения самых элементарных высказываний: *Идет дождь; Дай воды; Волга впадает в Каспийское море*. Приведенные высказывания различны по смыслу, содержанию, грамматическому строению. Единственное, что их объединяет и делает по существу высказываниями, — это определенное отношение к говорящему лицу. Так, высказывание *Идет дождь* означает: «Я (говорящий, пишущий) утверждаю (заявляю, говорю), что сейчас идет дождь». Высказывание *Дай воды* означает непосредственное обращение говорящего к слушающему с просьбой (приказом, побуждением) дать, принести ему воды. Третье высказывание содержит определенную информацию, которая может быть выражена говорящим.

Любое высказывание, даже самое нейтральное (например, научное определение), так или иначе соотносится с «я» говорящего. Известная фраза Л. В. Щербы (*Глокая куздра...*) воспринимается как частично осмысленная не только потому, что компоненты ее имеют грамматическую форму, но и благодаря тому, что она соотносится с говорящим, выражает его речевое намерение. Если пойти дальше, то не только «глокая куздра», но и любой набор звуков, разделенных паузами, будет воспринят как не совсем ясное для слушателя высказывание говорящего, реализующее его речевое намерение. В этом отношении особенно наглядны и убедительны многообразные паралингвистические средства, которые могут образовывать высказывания и рассматриваться как таковые только в связи с личностью производителя речи.

Уже из приведенных примеров становится ясным, что языковые (и параязыковые) средства становятся речью лишь тогда, когда происходит их соединение с говорящим лицом, с «я», т. е. в речевом акте.

Общее «речевое» в самых разнообразных высказываниях определяется природой, характером, структурой речевого акта, различное — ситуацией, обозначаемой, отражаемой в речевом акте. Речевой акт «вмещает» в себя все актуальные (произнесенные) и потенциальные (еще не произнесенные) высказывания. Его структура, схема [«Я (говорящий) сообщаю нечто тебе (слушателю) о нем (предмете, лице, событии и т. д.)»] «покрывает» предложение любого состава, структуры, содержания и выступает как аналог, модель любой ситуации. И этот универсальный, всеобщий характер речевого акта<sup>4</sup> получает отражение в любом высказывании, составляя его специфику, делая его органическим компонентом речи.

Среди трех компонентов, сторон речевого акта (говорящий — слушающий — передаваемая информация), получающих отражение в высказывании, важнейшее, определяющее значение имеет первый — говорящий, производитель речи. Без него вообще невозможна речь, невозможно обще-

<sup>3</sup> В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., стр. 5.

<sup>4</sup> «Согласно современным лингвистическим представлениям, акт речи с его центром — говорящим человеком является ядром всей системы языка» (Ю. С. С т е п а н о в, Основы общего языкознания, М., 1975, стр. 139).

ние. Производство же речи (высказываний) происходит благодаря соединению какой-либо информации с «я» говорящего. Для того чтобы слово вне речи стало высказыванием, речью, необходимо поставить его в определенное отношение к «я». Ср.: *писать* и *Пишет!* В первом случае нет связи с говорящим, поэтому нет и высказывания. Во втором случае перед нами высказывание: говорящий выражает приказ, информация тесно соединяется с «я». Ср. также: *пишу* — высказывание, выражающее действие говорящего, *ты пишешь* — высказывание, в котором говорящий описывает действие слушающего.

Любое высказывание исходит от «я», обращено к «ты» и сообщает нечто о «нем». «Я» — это изначальный центр любого высказывания, его основа даже тогда, когда «я» эксплицитно не выражено. Далеко не случайно то, что лингвистика не знает ни одного языка, в котором отсутствовали бы личные местоимения<sup>5</sup>.

Слушающий («ты») — это объект и цель высказывания, но не его производитель. Высказывание обращено к «ты», существует для адресата, но он не участвует непосредственно в речевом акте, он — пассивная, воспринимающая сторона речевого акта, обязательный, хотя и нередко потенциальный его участник. Даже тогда, когда речь формально строится от 2-го лица (*Ты идешь по берегу моря*) или обращена непосредственно к собеседнику (*Дай воды*), все равно она принадлежит «я», исходит от «я». Этим определяется косвенная, но важная роль слушающего в речевом акте и соответственно в высказывании. Ведь речь всегда обращена к кому-то (даже внутренняя речь имеет в качестве адресата самого говорящего, своеобразное объективированное «второе я»), рассчитана на реакцию слушающего, побуждение его к определенным действиям, поступкам, мыслям и т. д. В этом заключается главный смысл и цель речи, ее назначение. Поэтому коммуникативная сущность речи выражается прежде всего в ее адресованности, функции которой выполняет «ты» — непреременный компонент речевого акта. Таким образом, эгоцентричность и адресованность речи как важнейшие, фундаментальные ее качества обуславливают коррелятивность «я» и «ты». Подобно тому, как «я» обязательно предполагает «ты», последнее предполагает говорящего.

Передаваемая информация — третий обязательный компонент речевого акта и его результата — высказывания. В логическом, философском смысле информация — «одно из свойств предметов, явлений, процессов объективной действительности, созданных человеком управляющих машин, заключающееся в способности воспринимать внутреннее состояние и воздействие окружающей среды и сохранять определенное время результаты его, передавать сведения о внутреннем состоянии и накопленные данные другим предметам, явлениям, процессам»<sup>6</sup>. В лингвистическом смысле информация — это свойство языковых единиц содержать и передавать сведения о чем-либо<sup>7</sup>. Однако свойство передавать информацию присуще языковым единицам лишь в потенции. Чтобы оно стало реальностью, информация должна получить статус высказывания. Для того, чтобы информация стала высказыванием, ее содержанием, она должна пройти через горнило речевого акта, получить речевую форму, т. е. стать в то или иное отношение к «я» говорящего, соединиться с ним. Ср.: *стол* (слово

<sup>5</sup> «...Среди знаков любого языка любого типа, какой бы эпохе или области земного шара он ни принадлежал, всегда обнаруживаются „личные местоимения“. Язык без выражения лица немислим» (Э. Бенвенист, *Общая лингвистика*, М., 1974, стр. 295).

<sup>6</sup> Н. И. Кондаков, *Логический словарь*, М., 1971, стр. 182.

<sup>7</sup> Ср. в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (М., 1966): «Сведения, содержащиеся в данном речевом сообщении и рассматриваемые как объект передачи, хранения и переработки» (стр. 184).

в словаре) и *Стоя!* В первом случае информация не имеет речевой формы, во втором — благодаря интонации, обнаруживающей «я» и его отношение к предмету (например, удивление), перед нами высказывание.

Суть процесса, происходящего в речевом акте, заключается в том, что объективно существующая «предметная» информация перерабатывается говорящим, становится доступной для него, а тем самым для слушающего и для других. Подобно тому, как акт познания — это всегда субъективное раскрытие, узнавание, субъективный образ существующей вне познающего субъекта объективной действительности, акт речи — это «присвоение» объективной, предметной информации говорящим субъектом, это процесс переработки информации, приобретения ею формы, необходимой для общения, для передачи. Будучи объективной по своей природе, информация может храниться и передаваться только в субъективной оболочке, в субъективной форме.

Но субъективная форма — это и есть речевая форма. Язык как система знаков безличен, безразличен к говорящему. Он соотнесен с объективной действительностью, обращен к миру вещей и миру понятий. И в этом отношении он объективен. Речь же всегда лична, персонализирована. Она прежде всего обращена к «я», к говорящему, определяется позицией говорящего, исходит из нее.

В современной лингвистической литературе проблемы субъективности языка — «человек в языке» (Э. Бенвенист), «антропоцентрическая установка» (Е. Курилович), учение о перформативном уровне высказывания (Дж. Остин, Р. Росс и др.) — вызывают все более глубокий интерес. Главное положение всего этого направления, по определению Ю. С. Степанова, состоит в том, что «язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться»<sup>8</sup>. При всей важности названных течений лингвистической мысли главные их идеи следует отнести не к языку, а к речи. Язык, будучи системой знаков, принципиально безличностен. И только в речевом акте происходит «субъективизация» языка, превращение его в речь. Антропоцентрические установки и устремления пронизывают не язык, а речь. В этом и заключается одно из принципиальных различий языка и речи.

Речь эгоцентрична<sup>2</sup> и субъективна по самой своей природе. Это главное и фундаментальное ее качество. И оно проявляется в любом высказывании как субъективно-модальное значение.

Как известно, каждое высказывание обладает индивидуальным предметным значением и обозначает некую ситуацию, например: *Идет дождь*. Это ситуационное значение моделируется в языке как обобщение, типизация ряда сходных ситуаций и выражается в структурных формулах предложений. Однако само это обозначение возможно лишь с позиции говорящего. И реализация этой возможности происходит в речевом акте благодаря тому, что сам акт обозначения, наименования ситуации производит определенный, конкретный говорящий. В результате обезличенная информация становится информацией такого-то лица, т. е. высказыванием, приобретает способность быть передаваемой, иными словами, коммуникативность, речевую форму. С этой точки зрения, например, перформативный уровень высказывания можно трактовать как его способность выступать в субъективно-модальном значении. Так, в соответствии с учением о перформативах, в глубинной структуре предложения *Мальчик растет* следует выделить перформативное предложение *Я говорю тебе: мальчик растет*. Однако точнее, по-видимому, говорить не об усложненной структуре вы-

<sup>8</sup> Ю. С. Степанов, Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований, в кн.: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 15.

сказывания, а о том, что любое высказывание по природе своей обладает в большей или меньшей степени субъективно-модальным значением, т. к. любое высказывание имеет своего производителя речи, является результатом речевого акта. Поэтому перформативное высказывание *Я говорю тебе...* представляет собой эксплицированное субъективно-модальное значение.

Таким образом, в высказывании взаимодействуют три вида значений: 1) предметное (денотативное), 2) объективно-модальное и 3) субъективно-модальное, связанное с принадлежностью высказывания говорящему лицу. Если первое и второе значения моделируются в языке, то третье — принадлежность только речи. Оно формируется непосредственно в речевом акте и служит окончательному оформлению высказывания.

Взаимодействие трех названных видов значений и составляет сущность речеобразования, производства высказываний. При этом предметное значение выступает в качестве основы содержания высказывания, объективно-модальное значение при помощи соответствующих средств образует языковую форму, а субъективно-модальное значение — речевую форму высказывания.

О самостоятельности высказывания как единицы речи, независимости его от предложения свидетельствует тот факт, что большое количество высказываний находится вне структурных схем предложения. Ср.: *Ого! Вот! Нет уж!*, *Так и быть*, *Да*, *Ни в коем случае*, *Может быть* и др. Все эти слова и выражения становятся высказываниями благодаря выраженному в них субъективно-модальному значению, отношению говорящего к содержанию того, о чем говорится. Фактически все приведенные высказывания имеют только речевую форму, т. е. они не строятся по моделям, структурным схемам предложений.

Субъективно-модальное значение — это непосредственно речевое значение высказывания. Любое потенциальное высказывание коммуникативно по своей природе, т. е. стремится стать достоянием других. И оно становится высказыванием, приобретает форму только тогда, когда ставится в связь с «я». В этом случае, будучи принадлежностью говорящего, оно становится достоянием и слушающего.

Средства выражения субъективной модальности многообразны. Сюда относятся: интонация, словопорядок, специальные конструкции, повторы, частицы, междометия, вводные (модальные) слова и вводные сочетания слов, вводные предложения<sup>9</sup>.

Однако главное, центральное средство, не названное в приведенном выше перечне, но определяющее и объединяющее все остальные, — это местоимение *я*, позиция говорящего. Говорящий — главное действующее лицо речевого акта, поэтому и «я» говорящего становится носителем субъективно-модального значения. Оно определяет максимальную степень участия говорящего в высказывании. Все остальные средства субъективной модальности служат выявлению «я» в речи, связаны так или иначе с «я», подчинены ему. Например, вводные (модальные) слова обладают субъективно-модальным значением потому, что обнаруживают отношение говорящего к содержанию высказывания, потому, что имеют непосредственную связь с производителем речи, с «я». Именно эта связь делает любое вводное слово, словосочетание или предложение выразителем субъективно-модального значения. Модальное значение вводного слова легко и естественно взаимодействует с субъективно-модальным значением высказывания, т. к. значения эти одного уровня и одинаковой природы.

<sup>9</sup> См.: Гр. 70, стр. 611—614.

Тесной связью с говорящим определяется и природа междометий, представляющих собой не что иное, как непосредственную реакцию говорящего на те или иные факты или события. Если взглянуть несколько шире, то не только перечисленные выше средства связаны с точкой зрения говорящего. Речь эгоцентрична, и многие категории языка могут быть представлены как система средств, ориентированных на точку зрения говорящего. Например, категория времени глагола определяется по отношению к моменту речи, категория наклонения — как устанавливаемое говорящим отношение действия (состояния) к действительности. Дальнейшее исследование покажет, по-видимому, и другие связи языковой системы с эгоцентрическим характером речи. Для наших же целей достаточно констатировать, что позиция говорящего, «я» — это своеобразный центр, средоточие поля субъективной модальности, широко представленного в языке и многообразно проявляющегося в речи.

С содержательной точки зрения высказывания бесконечны и многообразны. Общее же, объединяющее их, — это речевая форма высказывания, обязательное отношение к «я», производителю речи, субъективно-модальное значение. Любое высказывание, даже самое обезличенное, в той или иной степени субъективно-модально, принадлежит говорящему, хотя возможна разная степень отхода от «я», разная степень выражения субъективной модальности. Ср.: 1) *Биология — одна из интереснейших наук XX века*; 2) *Я думаю, биология — одна из интереснейших наук XX века*. В первом высказывании субъективная модальность минимальна. Это общее утверждение, которое вне контекста может принадлежать любому лицу (ср. афоризмы, научные определения и т. п.). Второе высказывание имеет явно выраженную субъективную модальность: так думает лишь говорящий, другие могут придерживаться иного мнения. Высказывание принадлежит определенному, конкретному лицу.

Большая или меньшая связь говорящего с содержанием высказывания обуславливает существенное различие в семантике высказываний, отличной от семантики соответствующих структурных схем предложений. Ср. два высказывания: *я клянусь* и *он клянется*<sup>10</sup>, построенные по одной структурной схеме. В первом случае «я» говорящего тесно связано с клятвой и высказывание *я клянусь* есть сам акт принятия на себя говорящим клятвы, во втором случае «я» говорящего в меньшей степени связано с содержанием высказывания, и последнее представляет собой о п и с а н и е говорящим акта клятвы.

Таким образом, высказывание обладает собственной семантикой, не совпадающей с семантикой предложения, что конституирует высказывание как самостоятельную единицу речи. Синтаксическая семантика высказывания есть не что иное, как субъективная модальность.

Выяснение роли высказывания как единицы речи, обладающей существенными отличительными признаками, важно, но недостаточно для изучения речи как самостоятельной отрасли лингвистики. Не менее важны задачи исследования парадигматики и синтагматики высказываний, разработки основ их научной классификации.

Проблемы типологии речи относятся к наименее исследованным. В связи с этим следует особо отметить работы А. А. Холодовича и Р. А. Будагова. В статье «О типологии речи»<sup>11</sup> А. А. Холодович выделяет пять признаков «речевого поведения человека» и на их основе — 32 типа речевого поведения, каждый из которых характеризуется своим набором диф-

<sup>10</sup> Пример Э. Бенвениста (см.: Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 299).

<sup>11</sup> А. А. Холодович, О типологии речи, в кн.: «Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятилетию академика Н. И. Коврада», М., 1967.

ференциальных признаков. Это важное направление исследования имеет целью выделить все формы, виды речи в зависимости от тех или иных сторон речевого акта (число участников, контактность и др.). Однако не менее важно исследовать то общее, внутреннее, глубинное, что присуще всем этим формам и видам речи. Как справедливо пишет Р. А. Будагов в своем интересном критическом разборе статьи А. А. Холодовича, «задача типологии речи заключается в том, чтобы, классифицируя признаки речевого поведения человека, установить правильное соотношение между внешними (формальными) и внутренними (семантическими) особенностями подобных признаков. ...Сами признаки речевого акта всегда двусторонни: они характеризуются не только внешними формами проявления, но и внутренними побудительными импульсами.

Обобщенная семантика пяти признаков речевого поведения человека должна точно так же входить в типологию речи (наряду с признаками чисто формальными), как обобщенная семантика слова, отвлекаясь от индивидуальных и единичных осмыслений, органически входит в само понятие слова»<sup>12</sup>.

Обобщенная семантика высказываний, связанных с любой стороной речевого акта, — это, как было выяснено выше, их субъективно-модальное значение. Естественно с этой точки зрения в основу классификации высказываний, в основу типологии речи положить самый существенный для них признак — субъективную модальность. Подобно тому, как предложения группируются по выраженным в них объективно-модальным значениям, так и высказывания подразделяются по выражаемым в них субъективно-модальным значениям.

Главное средство выражения субъективной модальности, не отмечаемое грамматиками, — категория лица, прежде всего личные местоимения *я*, *ты*, *он*, представляющие собой наименования участников речевого акта: *я* — обозначение непосредственного производителя речи, *ты* — обозначение адресата речи, *он* — обозначение любого не участвующего в речевом акте лица, субъекта. *Я* и *ты* — взаимно координированы (подразумевают одно другое) и противопоставлены *он* по признаку участия (неучастия) в речевом акте.

Таким образом, участие в высказывании любого из личных местоимений служит средством выражения субъективной модальности. При этом основное средство ее выражения (прямое, естественное, немаркированное) — местоимение *я*. Высказывания типа *я рисую*, *я инженер*, *я болен* означают, что субъектом действия, состояния, носителем признака, качества является сам говорящий. Перед нами не отвлеченное обозначение действия, но непосредственное воспроизведение его говорящим.

Личные местоимения являются не только средством выражения субъективной модальности. Будучи наименованиями участников речевого акта, они выступают и исходной основой построения высказываний. В соответствии с тремя участниками речевого акта речь (высказывание) может строиться от 1-го, 2-го или 3-го лица. К этим трем типам (по структуре и значению — субъективной модальности) и сводится все многообразие речи<sup>13</sup>.

И тип речи — высказывания от 1-го лица. Сюда относим не только высказывания, строящиеся непосредственно от 1-го лица, т. е. с формами *я* или *мы* (с прямыми средствами выражения субъек-

<sup>12</sup> Р. А. Будагов, Язык, история и современность. М., 1971, стр. 75.

<sup>13</sup> Основы представленной здесь типологии высказываний были изложены автором в докладе «Актуализационные (прагматические) компоненты высказывания в славянских языках» на IV Международном симпозиуме по синтаксису славянских языков (Брно, 6—9/IX 1976 г.).

тивной модальности), но и высказывания с косвенными средствами выражения «я».

1) Высказывания с формами *я, мы* или соответствующими глагольными личными формами и притяжательными местоимениями: *Я отправляюсь за город; Иду за грибами; Мы строим общежитие; Наш сад в цвету; Мой отец — конструктор.*

2) Высказывания побудительные и вопросительные. Субъективная модальность их обнаруживается (косвенно) благодаря тесной связи (координации) *я — ты*: *Посмотри вокруг; Пойдем на концерт; Какое сегодня число? Как тебя зовут?*

3) Высказывания эмоционально-восклицательного характера. Субъективная модальность их выражается средствами интонации, словопорядка, с помощью частиц, междометий и т. д., эмоциональности, имеющей «авторский» характер: *Как хорошо!; Хорошо!; Какая погода!; Ай! я-яй!; Что за чудеса в решетке!*

4) Высказывания с вводными модальными словами и словосочетаниями, выражающими субъективно-модальную оценку и имеющими различные значения: *Чего доброго, нагрянут сегодня эти разбойники; Задача, по-моему, не имеет решения; Здесь, помнится, была дорога.*

Расположенные по степени убывания субъективной модальности, все приведенные виды высказываний объединяются благодаря эксплицитному (прямому — 1 вид или косвенному — 2—4 виды) выражению субъективной модальности. Все эти высказывания могут употребляться только в речи от 1-го лица. Это исходный, изначальный тип речи. Для него характерно совпадение производителя речи и «я» говорящего в сфере разговорной диалогической речи — основной области использования высказываний I типа. Однако в художественной литературе рассматриваемые высказывания используются для построения особого типа повествования от 1-го лица (здесь можно говорить о непрямом их употреблении, о вторичной их функции), при которой субъект речи («я») объективируется и не совпадает с фактическим производителем речи. В этом, в частности, заключается особенность художественной литературы как особого типа речевой структуры, как искусства. В сфере же разговорной диалогической речи принципиальная особенность высказываний I типа в отличие от других типов заключается в совпадении «я» говорящего и фактического производителя речи.

II тип речи — высказывания, строящиеся от 2-го лица: *Ты ошибаешься; Вы играете с огнем; Ваш самолет отправляется в 19.00.*

Главная особенность высказываний этого типа — несовпадение фактического производителя и субъекта речи. Каждое из этих высказываний, если иметь в виду диалогическую речь, может быть интерпретировано как субъективно-модальное. *Ты ошибаешься* означает: «Я думаю (считаю, полагаю), что ты ошибаешься». Однако значение субъективной модальности эксплицитно не выражено в этих высказываниях (в отличие, например, от близких к ним высказываний побудительного типа). И субъект речи (2-е лицо) как ее структурная основа носит в этих высказываниях относительно самостоятельный характер. Благодаря этому и сами высказывания имеют тенденцию к приобретению статуса особого типа речи с особой модальностью. Ср. отрывки (разной протяженности) в художественной очерковой прозе, построенные во 2-ом лице: *Вы идете по пустыне. Перед вами знойное небо и пески без конца и края. Вы смотрите вдаль* и т. д.

Французскими писателями, представителями «нового романа», создан довольно необычный тип повествования во 2-ом лице. Стилистический эффект этих произведений строится на несовпадении фактического произво-

дителя речи и ее субъекта, на взаимодействии не выраженной эксплицитно «авторской» модальности и модальности повествования во 2-ом лице.

III тип речи — высказывания от 3-го лица. *Ученик рисует; Снег лежит на полях; Завод выпускает комбайны.*

Как и в высказываниях II типа, фактический производитель речи не совпадает с ее субъектом (*он*): *я рисую* есть сам акт действия, выполняемый мной, говорящим; *ученик рисует* есть описание говорящим, производителем речи, акта, действия, субъектом которого выступает *он* (*ученик*), не участвующий в акте речи.

Высказывания рассматриваемого типа обладают наименьшей субъективной модальностью, носят описательный или повествовательный характер и противопоставлены высказываниям I типа с ярко выраженной субъективной модальностью. Как и в других типах высказываний, несовпадение фактического производителя речи и ее субъекта позволяет (в художественной литературе) создавать сложные речевые контексты, в которых взаимодействуют разные виды субъективной модальности — образы автора, рассказчика, героев (эта проблематика разработана в трудах акад. В. В. Виноградова). Несовпадение фактического производителя речи с ее субъектом — один из главных признаков художественной речи, связанный с условностью беллетристики как искусства. Все типы высказываний используются в художественной литературе, и во всех этих типах основой «беллетризации» речи, ее объективизации выступает несовпадение фактического производителя речи и ее субъекта.

Как особую разновидность высказываний III типа можно рассматривать высказывания обезличенные, лишённые субъективной модальности, не соотносящиеся с формами авторского «я». Подобные высказывания, для которых характерны особые глагольные временные формы («настоящее постоянное», «настоящее вневременное» и др.), распространены в научной и деловой речи, например: *Земля вращается вокруг своей оси; Площадь прямоугольника равняется произведению основания на высоту.*

Таким образом, рассмотренные три типа высказываний (три типа речи) охватывают все высказывания русской речи и служат структурной основой разнообразных текстов. Структурная роль выделенных типов речи заключается в том, что любая речь (независимо от ее стилевой принадлежности) всегда строится от одного из трех лиц. И этот характер построения выдерживается или полностью, или на протяжении значительных ее отрезков (ср., например, преобладание III типа речи в научных, официально-деловых, публицистических текстах). Не меньшее значение имеют типы речи в смысловом отношении — в создании семантической структуры текста, его модального плана. С этой точки зрения весьма показательна возможность связать выделенные типы речи с некоторыми основными функциями языка. Ср. замечание Р. Якобсона: «Эпическая поэзия, сосредоточенная на III лице, в большей степени опирается на коммуникативную функцию языка; лирическая поэзия, направленная на первое лицо, тесно связана с экспрессивной функцией; „поэзия второго лица“ пропитана апеллятивной функцией: она либо умоляет, либо поучает — в зависимости от того, кто кому подчинен — первое лицо второму или наоборот»<sup>14</sup>.

Каждый тип речи в семантическом отношении — это наиболее общая и главная установка на определенную модальность изложения, на определенные отношения производителя и адресата речи. Особенно рельефно-созидающая, фундаментальная роль модальности повествования высту-

<sup>14</sup> Р. Якобсон, Лингвистика и поэтика, в кн.: «Структурализм: „за“ и „против“». Сборник статей, М., 1975, стр. 203.

пает на уровне целых текстов, где одним из законов организации речи служит сохранение единства модальности. Изменение же модальности знаменует переходы, перерывы в единой линии повествования (изложения). Как показывает анализ, высказывание — это относительно самостоятельная единица речи, имеющая собственное значение (субъективно-модальное) и структуру, не совпадающие со значением и структурой предложения. Высказывание необходимо рассматривать не только как реализацию предложения, но и как самостоятельную речевую единицу, имеющую свои особенности и требующую специальных методов изучения. Все это подтверждает мысль о целесообразности выделения особой отрасли лингвистики — лингвистики речи или «речеведения» (speechology), как предлагают назвать эту область языковедения О. С. Ахманова и Л. В. Минаева: «... „речеведение“ является наукой, занимающейся установлением непосредственных корреляций между внешним миром и умственными процессами, с одной стороны, и теми богатейшими возможностями их передачи, которые представляет естественный человеческий язык звуков, с другой»<sup>15</sup>.

Из изложенного вытекают основные проблемы изучения речи: 1) исследование процессов, происходящих в речевом акте (взаимодействие предметного, объективно-модального и субъективно-модального значений); 2) изучение средств выражения субъективной модальности в языке и их воплощения в речи; 3) изучение типологии высказываний, типологии речи; 4) определение элементов и единиц речи; 5) исследование проблем связной речи.

<sup>15</sup> О. С. Ахманова, Л. В. Минаева, Место звучащей речи в науке о языке, ВЯ, 1977, 6, стр. 46.

БОГАТОВА Г. А.

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАК ЖАНР

Теория и практика исторической лексикографии в последнее время стремительно перемещаются из периферийных областей к центру, к месту решения наиболее сложных общелингвистических проблем, касающихся истории каждого языка. Не удивительно, что среди тех, кто сейчас работает над крупномасштабными проблемами этого плана, мы все чаще встречаем имена лексикографов. Все они, как правило, связаны с созданием словарей исторического цикла: этимологических (историко-этимологических), исторических, диалектных. Если рассмотреть только программы двух последних, VII и VIII Международных съездов славистов, то к таким крупномасштабным темам можно отнести доклады по проблеме образования древних языковых общностей и отдельных языков и вопросам их периодизации (В. И. Георгиев, Ф. Славский, О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин, Р. И. Аванесов)<sup>1</sup>, конfrontации и диглоссии (Л. Л. Кутина, С. Урбанчик, Ш. Пецциар)<sup>2</sup>, по проблеме взаимодействия языка и общества (Р. А. Будагов-

<sup>1</sup> В. И. Георгиев, Три периода развития праславянского языка, «Славянская филология. Доклады и статьи за VII Международный конгресс на славистике. XII — Езикознание», София, 1973. С 1962 г. под ред. В. И. Георгиева выходит «Български етимологичен речник»; Fr. S i a w s k i, Die Urheimat der Slaven im Lichte der Etymologie. «Knjiga referata. VIII Medunarodni Slavistički kongres. Sažeci», II, Zagreb, 1978. Фр. Славский издает два словаря: «Słownik etymologiczny języka polskiego», 1—23 (A—L), Kraków, 1952—1978 и «Słownik prasłowiański» pod red. Fr. Sławskiego, 1—3 (A—D), Wrocław—Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1974—1979; О. Н. Трубочев, Лингвистическая периферия древнейшего славянства, «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов», М., 1978. Под ред. О. Н. Трубочева с 1974 г. выходит «Этимологический словарь славянских языков», 1—7 (A — \*gyžati); Ф. П. Филин, Проблема происхождения славянских языков, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973. Ф. П. Филин возглавляет два крупных лексикографических предприятия: с 1968 г. «Словарь русских народных говоров» (гл. ред. Ф. П. Филин, ред. Ф. П. Сороколетов), 1—15 (A—K); с 1979 г. «Словарь русского языка XI—XVII вв.» (гл. ред. Ф. П. Филин, ред. Г. А. Богатова), 7—8 (K—L); Р. И. Аванесов, К вопросам периодизации истории русского языка. «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973. Р. И. Аванесов возглавляет работу над многотомным «Древнерусским словарем XI—XIV вв.», который готовит к изданию редакция словарей издательства «Русский язык».

<sup>2</sup> Л. Л. Кутина, Последний период двуязычия в России. «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов», М., 1978. Л. Л. Кутина — руководитель Группы «Словаря русского языка XVIII в.», который готовится к изданию в Словарном секторе Института языкознания АН СССР г. Ленинграда.

Проблемам лексикографии в их отношении к языковой конfrontации в синхронии и диахронии посвящены доклады, прочитанные на II заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном Комитете славистов, известных лексикографов Ш. Пецциара «Некоторые проблемы словарей близкородственных языков» и Ст. Урбанчика «Заемствования в старопольском словаре и старопольских текстах» (см. «Хроникальные заметки», ВЯ, 1977, 6, стр. 154—155). Деятельность Ш. Пецциара связана с готовящимся историческим словарем словацкого языка, Ст. Урбанчика — с выходящим с 1953 г. «Старопольским словарем».

И. Немец)<sup>3</sup>, формирования, состава, периодизации литературных языков (Ф. П. Филин, Ю. С. Сорокин, Д. Иванова-Мирчева)<sup>4</sup>, и по мн. др.

В науке сейчас сложилось положение, когда решение многих подобных общетеоретических вопросов можно поставить в определенную зависимость от времени завершения наиболее крупных комплексных лексикографических предприятий исторического цикла.

Для трех названных выше лексикографических направлений, трех жанров, занимающихся проблемами истории лексического состава, наметились свои наиболее эффективные точки приложения сил, обеспечивающие в целом всесторонний подход к истории слова, широкий языковой фон и «прочтение» истории слова с той мерой подробности, потребность в которой может возникнуть у разных категорий обращающихся к словарям специалистов.

**Этимологическая лексикография** относится к жанру с наиболее старыми традициями, разработанной методикой и довольно определенным предметом пристального внимания: сложение слова, генетические моменты его истории. Сама история слова трактуется этимологией широко: ведь для очень больших пластов слов это дописменные глубины, многовековая «устная» жизнь слова в условиях миграции и языкового смешения этносов. Этимологическая лексикография реконструирует исходные формальные и семантические слагаемые корни, анализирует его селективные свойства (избирательность сочетания с аффиксом), т. е. в этимологической лексикографии преобладает структурно-генетический подход к описанию истории слова с выдвинутым «на первый план формально-словообразовательного и пространственного критериев»<sup>5</sup>. В современной этимологической лексикографии более значительное место стал занимать момент семантической реконструкции. Этимологии нужно опираться на весь объем знаний о слове, т. е. в качестве материала для семантической реконструкции слова и интерпретации его эволюции важны как исторические свидетельства, так и данные современных диалектов.

**Диалектная лексикография** имеет дело с проблемами истории лексики, ее устного бытования в условиях развитой письменности и влияния последней на лексико-семантические процессы. Назначение диалектной лексикографии — фиксировать разнообразные региональные характеристики (фонетические, морфологические,

<sup>3</sup> Р. А. Будагов, История слов в истории общества, М., 1971. Р. А. Будагов выступает в качестве рецензента этимологического словаря русского языка под ред. Н. М. Шанского, 1—7 (А—И). Ж. Немец, E. Michálek a kol., Vztah sémantiky staročeské slovní zásoby ke společenské situaci, «Slavia», XLVII, 1. И. Немец — гл. ред. «Slovníka staročeského», выпуски которого выходят с 1968 г. как продолжение тт. 1—2 «Slovníka staročeského» Я. Гебауэра (А—N), переизданного в 1970 г.

<sup>4</sup> Ф. П. Филин, О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка. ВЯ, 1977, 4; е го же, Исконное и заимствованное в современном русском литературном языке, «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов», М., 1978; Ю. С. Сорокин (отв. ред.), «Словарь русского языка XVIII в. Проект», Л., 1977. Проект имеет не только практическое назначение. Он включает и теоретические вопросы, касающиеся процессов формирования русского литературного языка, его стилей в XVIII в.; Д. Иванова-Мирчева, Към периодизацията на историята на българския литературен език от донационалната епоха (IX в.— X в. до XVIII в.), «Славянска филология. Доклади и статии за VIII Международен конгрес на славистите. XV — Езикознание», София, 1978. Д. Иванова-Мирчева — главный редактор готовящегося «Древнеболгарского словаря».

<sup>5</sup> О. Н. Трубачев, О составе праславянского словаря. Проблемы и задачи, в кн.: «Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1963, стр. 167; е го же, Реконструкция слов и их значений, ВЯ, 1980, 3.

семантические), территориальную, а для историко-диалектных словарей и стратификационную локализацию слова, чтобы участвовать в решении общей с исторической лексикографией задачи «восстановления... древнерусских лексических диалектизмов»<sup>6</sup>. В диалектологии лексикографическое и лексикологическое<sup>7</sup> описание сочетается с методом картографирования лексических явлений (атласы, лингвогеографические карты), дающим дополнительный уникальный материал по истории слова, тематических групп слов.

Историческая лексикография ограничивает свой круг наблюдений за историей слова письменным периодом (или той или иной его частью). В ее поле зрения попадают процессы, связанные с письменной формой бытования слова, с особенностями письменной культуры вообще, с историческими особенностями сложения и функционирования данной письменности. Именно это и определяет специфику жанра.

Несколько примеров из истории русской письменности. Существование некоторых слов обязано исключительно письменной традиции: слово *кромля* (*крѣмля*) вряд ли существовало в восприятии русской среды отдельно от *кормля*, и тем не менее как гиперкорректность, окказионализм в письменных источниках оно существует: *Альчиномъ же... небо дающе крѣмлю*. Гр. Наз., 185. XI в.<sup>8</sup> *Гѣ послеть ти кромлю*. Ефр. Сир. XIII в.\*. Южнославянские и византийские лексические элементы, распространившиеся с книжной церковной культурой в восточнославянской среде, вступали во взаимодействие с однокоренными лексическими элементами восточнославянской книжно-письменной культуры и народно-разговорной стихии, и потому, например, проблема дублетных форм (*ночь* и *нощь*, *речи* и *реши*) составляет специфику русской исторической лексикографии при решении вопроса об объеме лексикографического слова. Уловить семантическое и стилистическое расслоение дублетных единиц и превращение их в самостоятельные лексикографические слова (*мочь* и *моць*, *вредъ* и *вередъ*) входит в задачи исторических словарей (чаще всего диахронических, с широкими хронологическими рамками). Те же процессы наблюдаются и в судьбах заимствований. Слова с первоначально различными исходами типа *magister*, *master*; *bayatur*; *κράτηρ* нередко в процессе функционирования в русском языке под влиянием аналогических процессов получали новое слоговоеделение (суффиксы), а с ними и новые семантические оттенки, что уже ставит перед словарником вопрос о статусе слова *мастьрь* «мастер-строитель» на фоне *магистръ* (*маистръ*) и *мастеръ* (ср. *пастырь*, *возырь*, *колантырь*, *богатырь*, *жолнырь* и др.), или *кратырь* «церковный сосуд» на фоне *кратерь*, *кратирь* «чаша, кубок для смешивания вина» (давших позднее свое расслоение на *кратер вулкана* и *кратирь* «византийско-греческий сосуд, чаша», отдельные слова, употребляющиеся так и поныне).

<sup>6</sup> Ф. П. Филин, Проблема локализации древнерусской лексики и историческая лексикография, в кн.: «Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции, 3 — Теория и практика исторической лексикографии» (далее — ПСИЛЛ). М., 1975, стр. 10.

<sup>7</sup> Н. С. Бондарчук, Проблемы исторической региональной лексикологии, Калинин, 1978; О. И. Блинова, Введение в современную региональную лексикологию, Томск, 1975 (особенно раздел «Региональная и историческая лексикология»); Т. С. Коготкова, Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы), М., 1979.

<sup>8</sup> Полные названия сокращенных обозначений цитируемых источников см. по изд. «Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников», М., 1975. Цитаты под\* взяты из «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского.

Историческая лексикография, таким образом, в описании истории слова делает акцент на предметно-семантическом подходе с выдвинутым в центр вопросов функционирования слова в письменности и в языке в целом (общефилологические словари).

Письменная форма бытования слова позволяет проследить и документировать в словарях разных типов (общефилологических или специальных: терминологических, грамматических и пр.) различные стороны жизни слова: сложение фонетического и графического его облика, эволюцию парадигмы форм, процессы семантического развития. В лексикографическом описании могут быть учтены стратификационные, типологические, региональные, частотные и др. характеристики развития слова, в зависимости от того, как, с какой целью производились извлечения из памятников письменности (одного периода, одного жанра, одной территории, преобладала ли выборочность или сплошная фиксация всех встречаемости и т. д.).

Общефилологические (неспециальные) словари имеют более широкий круг задач. Лексикограф в них по возможности полно инвентаризирует всю лексику языка, при описании структурно или семантически сходных слов он вычленяет общее в их развитии, т. е. по существу в первом приближении систематизирует лексику языка, документируя эту систематизацию. Так как «исторический словарь — не только описание языка в исторической длительности, но и взгляд на язык как на образованный из ряда последовательных состояний, изучаемых в связи с эволюцией каждого слова»<sup>9</sup>, то такие словари дают лингвистической науке материал для суждений о связи языковых явлений с развитием общества, о формировании языкового самосознания и языковой культуры носителей определенного этнического коллектива. В исторической лексикографии сложилось два способа описания языкового развития: *диахроническое описание* (в словарях с широкими хронологическими рамками) и *описание по синхронным срезам* или периодам, условно принимаемым за один синхронный срез.

Диахронические словари, нижней границей которых является начало письменного периода, тяготеют к воссозданию в том или ином объеме (преимущественно контурно) истории слова<sup>10</sup> с генетическим принципом расположения значений в словарной статье, нередко и с экскурсом в этимологию.

Словари синхронных срезов, обычно более подробно воссоздающие динамику в функционировании слова, могут иметь и другой принцип расположения значений в пределах словарной статьи<sup>11</sup>.

Сложен и чрезвычайно актуален (если не сказать болезненен) для словарей исторического цикла вопрос об объеме отражения истории слова, об объеме словаря. У. Вайнрайх сравнивает язык с картой, «не располагающей априорным пространством... Словарник как бы кладет пространство языка на карту... определенного масштаба, т. е. исходит в своей работе из правил, диктуемых избранным типом словаря, его задачами»<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> J. Reu-Debove, *Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains*, The Hague—Paris, 1971, стр. 64.

<sup>10</sup> Г. А. Богатова, *История слова и русская историческая лексикография*, ПСИЛЛ.

<sup>11</sup> См.: «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1966, стр. 80; «Словарь русского языка XVIII в. Проект», под ред. Ю. С. Сорокина, М.—Л., 1977, стр. 77.

<sup>12</sup> U. Weinreich, *Lexicographic definition in descriptive semantics*, IJAL, 1962, 28, 2, стр. 31.

Работы по созданию общефилологических словарей, дающих нам карты языка разных масштабов, очевидно, необходимы для исторической лексикографии языков с развитой письменной культурой<sup>13</sup>. Верно будет и другое сравнение: исторический словарь, как и многотомный исторический роман — «постройка огромная. Она требует безупречного чувства пропорции»<sup>14</sup>, очень больших и четких усилий по организации материала.

Современная историческая лексикография должна совершенствовать и методику описания истории слова, и структуру словарной статьи. Важно зафиксировать слово вообще, важно установить «нижнюю» и «верхнюю» границы фиксации слова и отдельных его значений, сделать его историческую проекцию. Но это не всегда выглядит достаточно убедительно в словарной статье с линейными средствами расположения значений, если не понять условности некоторых приемов, не понять типичных ситуаций, с которыми сталкивается историк-лексикограф при работе с материалами памятников письменности. Например, не все моменты, существующие для воссоздания истории слова, представлены в письменности в реальной хронологической последовательности. Часто значения корня, более близкие к этимологическому, представлены лишь поздними свидетельствами или выявляются лишь в некоторых периферийных производных корня. Ср.: *лукавый* I (988): *Очи убо непричастны да будуть... лукаваго зръниа;* (1015): *Князи правьдиви... и лукави бывають;* (1057): *лукавыи рабе (долье поурре)* «дурной; склонный к дурному, к хитрости, предательству, т. е. изворотливый, легко изменяющий обещанному». Контексты же, относящиеся к прямым физическим свойствам, более поздние: *лукавыи норы* (извилистые) 1385 г., а *лукавый дубъ* (с изгибами, ответвлениями), *лукавая змея*, извиляющаяся существо которой уподобляется «вилавому» характеру — XVII—XVIII вв. Таким образом, в исторической лексикографии имеет место абсолютность факта фиксации и относительность его хронологизирования.

Ситуация утраты первичного значения у опорных, высокочастотных слов оказывается довольно частой. Слово *глазъ* известно в русской письменности в значении «орган зрения», но некоторые его производные сохраняют отношение к утраченному, этимологически первичному (номинационному) значению «камень, камешек-окатыш; отшлифованный водой камень; шлифованное стекло; шарик, бусинка; игральная кость». *Глазки* (1114): *Находять дѣти... глазки стекляныи... подлѣ Волховъ берутъ, еже выполаскываетъ вода.* Ипат. лет., 277. *Наложн на нос да гляди в глазки. Безъ глазков тебѣ не видеть.* Псков. разгов., 185. 1607 г. — Ср.: *Трои очки хрустальные.* Кн. расх. Ивер. м., № 24, л. 64. 1664 г. *Глазеницы: Да купиши ему глазеницовъ багровыхъ крупныхъ.* Ревел. а. I, 83. XVI в. Более того, подобно чистоте драгоценного камня, прозрачность которого определяется через сопоставление с водой (камень чистой воды, камень темной

<sup>13</sup> Нуждается в оживлении и поддержке работа по созданию специальных и учебных исторических словарей. Для историков языка, историков культуры, социально-экономических и правовых отношений важно было бы продолжить работу по описанию тематических групп лексики (например, словарь древнерусской метрологической лексики, словарь лексики пушного промысла, словарь древнерусских названий минералов и т. п.). Есть нужда в словарях учебно-справочного назначения, представляющих собой монографическое описание определенных разрядов лексики, в том числе грамматических категорий. Например, словарь древнерусских служебных слов, словарь глагольных форм XI—XVII вв., словарь форм сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий и т. д. В этимологической лексикографии этот тип реально существует: Е. Кореңнү, *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena*, 1 — Předložky. Konecové partikule, Praha, 1973, с разработкой служебных слов (предлогов, союзов) и местоимений.

<sup>14</sup> Ю. Давыдов, Шаги твои, вечно идущее прошлое, «Лит. газета», 6 II 1980, стр. 6.

воды: *Камень яхонтъ черчат или синь... смотри чтоб вода чиста.* Торг. кн., 10. XVII в. ~ XVI в.), недостатки, изъяны органа зрения, видимо, не случайно долго определялись через такое же сопоставление: *У Ортошики подошла темная вода и отъ того онъ мало видить.* Мат. медиц., 312. 1666 г. *У стрѣльца Ивашки ... болѣзнь: глазами видить худо для того что подошла темная вода.* Там же, 1101. 1679 г. Интерпретация такого материала требует знания истории духовной и материальной культуры, истории реалий данного народа, подводит вплотную к проблеме реконструкции случайно не нашедших отражения в письменности слов и значений (есть *кожемячий, кожемяцкий* — нет *кожемяка!*), хотя методика эта в исторической лексикографии не разработана и пока исключается из лексикографической практики<sup>15</sup> или применяется в очень ограниченном числе случаев, например, в связи с проблемой тождества слова. В проблеме тождества слова ищут гармонического сочетания и моменты реконструкции, без которых нарушится непрерывность в развитии слова, и относительность хронологизации.

В словарях исторического жанра, особенно диахронических, написание слова может иметь значительные колебания, большое количество вариантов (сильных и слабых), связанных как с преобразованием морфем в ходе фонетических и морфологических процессов, действовавших в восточно-славянском языке XI—XII вв., так и с типичными для русского языка комбинаторными изменениями в потоке речи, с изменениями орфографической традиции. Каждый раз словарник решает вопрос, имеет ли он дело уже с новым словом или с одним из его вариантов (*веревъ* и *веревь*, *мастеръ* и *мастырь*, *острый* и *вострый*, *отчина* и *вотчина* даются в разных словарных статьях, а *вычесь* и *вычьсь*, *байна* и *байня* — в одной, так как их производные зачастую трудно с уверенностью отнести к той или иной форме слова).

Словари, близкие к одному синхронному срезу, могут ставить своей задачей привести в заголовочной строке в качестве основного (первого) древнейшее написание слова (хотя очень часто оно сохраняется лишь производными формами слова), могут ставить своей задачей приведение в словарной статье и всех зафиксированных последующих написаний вообще (например, «Словарь старорусского языка XIII—XIV вв.»). Диахронический словарь не может позволить себе этого как в связи с объемом заголовочной строки (существует до 20 написаний некоторых слов), так и по соображениям иного плана.

Позиции сегодняшнего дня полезно рассмотреть с точки зрения опыта вчерашнего дня. В статье А. С. Львова «Работа И. И. Срезневского над древнерусским словарем» отмечается такая характерная деталь: «В пробных листах, разосланных отдельным лицам в 1868 г., Срезневский оформил в 2 статьи слово *августъ*. Приведем эти статьи: *А в г 8 с т ь = а в ъ г 8 с т ь = а в г у с т ь* — месяц август, *augustus, αὐγουστος*; др. Сл. *з а р е в ь*. Мѣць августъ рекомыи заревъ имать днии ла. Стих. XII и пр. Изв. 220. Через 4 словарные статьи: *А в ъ г 8 с т ь = а в г у с т ь*. — Августъ иже и осмородьнии (*octavianus*). Изб. 1073 г. По указанию А. Ф. Бычкова эти две статьи были слиты в одну, и она приняла тот вид, какой мы имеем в печатном тексте»<sup>16</sup>: *августъ = августъ = августъ*. В одной словарной статье выступают и *азѣвди = азъѣвди, азбука = азъбуки*, хотя расположение вариантов в пределах заголовочной строки

<sup>15</sup> Ю. С. Сорокин, Что такое исторический словарь?, ПСИЛЛ, стр. 22: «Для исторического словаря невозможно заполнение „пустых клеток“, если слово, потенциально возможное, не зафиксировано источником».

<sup>16</sup> А. С. Львов, Работа И. И. Срезневского над древнерусским словарем, «Лексикографический сборник» IV. М., 1960, стр. 134.

могло быть разным, т. е. иногда в I томе предпочтение отдавалось и новым вариантам, оформившимся после падения редуцированных.

Уже к букве *К* (и далее в целом по «Материалам» с явным преобладанием XI—XII вв., евангельских текстов разных списков) тенденция к выносу на первое место древнейших форм написания стала определенной и последовательно поддерживалась издателями, даже в том случае, когда она реально не была зафиксирована и являлась по существу реконструкцией. *Кръвопища* = *кровопища*. *Немилостивыя кровопищѣ*. Иак. Бор. Гл., 86. *Кръвопротитьць* = *кровопротитьць*. *Поидоша къ Володимирю множество кровопролитъць* *кръстьянская крѣви*. Новг. I лет. 6746 г.\*. Неустойчивость орфографии (см. в последнем примере в одной фразе и *кров-*, и *крѣ-*) заставила издателей «Материалов» соблюдать «закон гnezда», т. е. собрать под заголовочной строкой, неизменно начинающейся с *крѣ-*, 23 написания с *крѣ-* и 33 с *кров-*. И это по материалам, почти не выходящим за пределы XIV в. В «Дополнениях...» на *К*, где составители вводили материал до XVI—XVII вв., написания-реконструкции с *ъ*, начинающие заголовочную строку, также преобладали, хотя материал цитат давно давал только новое безъеровое написание. Но таким способом можно было сохранить слово в его естественной среде — корневой группе, заголовочная строка которой одновременно показывала и динамику в пределах хронологического отрезка: от *крѣ-* до *кров-*. Этот прием, чисто условный, был найден, постепенно нащупан как способ наилучшей организации материала. И это был уже шаг от издания материалов к изданию словаря.

Историческая лексикография нашего времени также пользуется рядом условных приемов. По инициативе А. И. Соболевского в 1925 г. при Академии наук продолжили работу, начатую И. И. Срезневским, по сбору материалов для новых словарных начинаний. Под руководством Б. А. Ларина были значительно расширены хронологические рамки описания языка. Картоотека ДРС, предназначавшаяся первоначально для нескольких словарей разных периодов, стала фундаментом для единого диахронического словаря, и уже при раскладке ее материалов возникла проблема тождества слова, выделения картотечного заголовка, так или иначе организующего и будущий словарь. Материалы XV—XVII вв. доминировали в Картоотеке, и это нужно считать не недостатком выборки по ранним векам, а отражением естественного процесса развития языка, расцвета и разнообразия письменных жанров, роста лексических богатств. За основное условно было принято написание слова, представленное в конце охватываемого будущим словарем периода. Рассмотрим ситуацию тождества слова в «Словаре русского языка XI—XVII вв.».

В тексте СлРЯ XI—XVII вв. в среднем около 19% цитат XI—XII вв., 12% — XIII—XIV вв., около 67% — XV—XVII вв. При таком соотношении можно предвидеть, что если избрать в качестве основной заголовочной формы древнейшее написание, то корневая группа сразу распадется на несколько фонетических слов, соответствующих написанию разных периодов и алфавитно удаленных друг от друга, или придется реконструировать древнейшее написание у 67% слов. Предвидя это «осложнение», Л. В. Щерба еще в 1940 г. в «Опыте общей теории лексикографии» остро ставил перед составителями исторических словарей вопрос: «Будем ли мы создавать историю фонетических слов и их значений или историю слов-понятий, или наконец, свяжем все это в одно целое, как теоретически казалось бы более правильным»<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии. I — Основные типы словарей, ИАН ОЛЯ, 1940, 3, стр. 117.

Выбор в СлРЯ XI—XVII вв. заголовочной формы, ориентированной на конец охватываемого словарем периода, с приведением в скобках в заголовочной строке древнейшего написания и нескольких регулярных, по возможности, в соответствии с хронологией расположенных вариантов, если они реально фиксируются в слове, позволил «связать все это в единое целое» и обойти — ради размещения корневой группы в одном алфавитном отрезке — минимумом реконструкций заголовочной формы слова. Приведем один пример с цифрами. Корневая группа с начальным *зло-* (*зло-, злу-, зль-*) состоит из 261 словарной статьи (из них 141 только с материалами XV—XVII вв.). Статьи располагаются компактно на стр. 14—26 выпуска. Для всей корневой группы выбрана единая форма заголовочного слова: *зло, зль, злой*. Группа многоосновна. Здесь есть и *злоба, злобие, и зльдь, зლობь, зლობство* и множество сложных слов: *злокосние, зломудрие, злонравие, зльхитрый, злопамятникъ и злупамятникъ, злорадство и злурадый* и т. п. Написания таких слов также и с *ъ* (*зъл-*) отмечены лишь в 40 случаях из 261, и все они приведены в заголовочной строке в качестве вариантного раннего, например, *злодѣти (зълдѣти, м., злочестивый (зълчъс ливый), прил.* На своем алфавитном месте древнейшие фонетические варианты с *ъ* (*зъл-*) имеют отсылку, что не создает, таким образом, препятствий в поисках слова специалисту, работающему с древнейшими текстами. 14 слов (из 261) представлены лишь материалами XI—XII вв. и имеют написание только с *ъ*: *зълъсловесити, зълъсловити, зълъованиный, зълъовольный, зълъогрѣшный, зълъодѣльный, зълъожизние, зълъожитие, зълъокосникъ, зълъоличный, зълъобразити, зълъословесити, зълъословесовати, зълъодульный*. Лишь в этих 14 случаях применена в опоре на «закон гнезда» — единства написания заголовочного слова — реконструкция, т. е. в этих статьях заголовочная строка выглядит так: *зловольный (зълвольныйъ)*, прил. *Ради зълвольнаго ума*. Ефр. Корм., 349. XII в. Также выглядит заголовочная строка в 26 словарных статьях, где есть хотя бы одно написание с *ъ* (преимущественно в материалах XI—XIII вв.): *Злопамятие с Аще ли злопамяти емалъ имаши*. Корм. Балаш., 321об. XVI в. *Злопамятникъ (зълпамятникъ)* и *злупамятникъ, м.* *Инако есть мхгоимъцо помазание и другая зльчба лъжо, и инако злопамятнику*. Патерик Син., 141. XI—XII вв. *Инако бо зѣнхитъ блудникъ, инако жго тразчикъ ... а инако клеветникъ и злупамятникъ*. Пролог (БАН<sup>2</sup>), 127. XIV в. *Злопамятный*, прил. *Всячески похъбнаго и яростного... и злопамятчаго останея* (Сл. мт. Дан.) сб. Друж., 61. XVI в.

Оставшиеся (141) словарные статьи (только по материалам XV—XVII вв.) не содержат даже часто графических вариантов с *ъ*. Очевидно, в Картотеке ДРС с такой комплектностью по периодам, которая отражает рост лексики буквально в геометрической прогрессии, единственно правильным, хоть и условным<sup>18</sup> решением, является ориентация на наиболее позднюю зафиксированную форму слова в качестве заголовочной,

<sup>18</sup> Ориентация на древнейшие формы в описываемой ситуации повлекла бы за собой, как видим, гораздо большую условность из-за отсутствия древнейших фиксации у большинства слов Картотеки, из-за неизбежности реконструкций. Все реально зафиксированные варианты формы заголовочной строки имеют в СлРЯ XI—XVII вв. отсылки на своем алфавитном месте. Кстати сказать, создание системы отсылок и сопоставительных помет в жанре исторической лексикографии требует немалого материального труда. Ре-Дебов (указ. соч., ч. II, § 3.2.2) приводит такие цифры из практики одного современного французского словаря: лицо, ответственное только за проверку этой системы, посвящало этому занятию 4 часа в день в течение двух лет. Трудоемкость такого процесса в исторической лексикографии значительно выше как из-за множественности вариантов слова, подлежащих учету, так и из-за больших объемов исторических словарей. К сожалению, о технике лексикографического труда написано неправоммерно мало.

с приведением древнейшей формы, если она имеется (а это небольшой процент слов: 40 из 261) среди вариантов заголовочной строки.

Таким образом, имеет место тенденция к объединению слов одной корневой группы, а не к раздроблению ее на разновременные фонетические варианты. Так решается в СЛРЯ XI—XVII вв. вопрос, поставленный в 1940 г. акад. Л. В. Щербой, таковы некоторые типические ситуации, которые помогают понять смысл тех или иных лексикографических решений при описании истории слова.

Жанр исторической лексикографии призван инвентаризировать лексику, лексические сочетания разной степени устойчивости, фразеологический материал и документировать выделяемые лексикографические единицы. При описании лексики моменты сходства семантического, логико-понятийного планов отдельных слов, тематических групп, структурно близких классов слов, моменты сходства в их функционировании и развитии предполагают однородность квалификации, соразмерность и соотносимость иллюстрации. Органической частью исторической лексикографии, таким образом, является стремление систематизировать лексику и отразить динамичность лексики как системы систем.

Исторические словари разных типов, опираясь на исследования историко-лексикологического характера, сами призваны дать материал, создать базу для дальнейшего развития исторической лексикологии. Они содержат отчасти и сведения о грамматических, морфологических и фонетических изменениях слов и потому могут служить и для познания истории языка в целом. В какой-то мере словари исторического жанра должны служить справочным пособием также и для воссоздания истории духовной и материальной культуры носителей данного языка. Разрешение этих задач, стоящих сегодня перед исторической лексикографией, в конечном счете, возможно лишь в тесном контакте с другими жанрами лексикографии.

Определившиеся три направления, три жанра словарей исторического цикла — этимологическая, историческая и диалектная лексикография — научно активны и уже сегодня дают в какой-то мере систематизированный материал для исследований и научных обобщений в области истории языка, сравнительно-исторического языкознания.

Как отмечал Ф. П. Филин, в русской лексикографии впервые историю функционирования слова можно будет проследить по столь большому периоду<sup>19</sup>: от праславянского времени («Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд», издается с 1974 г.) до новейших времен в устной и письменной форме его бытования: «Словарь русского языка XI—XVII вв.» (издается с 1975 г.), «Словарь русского языка XVIII в.» (вышел проект), «Словарь русского литературного языка (готовится второе издание)» и «Словарь русских народных говоров» (издается с 1965 г.). Успехи современной практической лексикологии огромны.

Вместе с тем продолжается работа по совершенствованию жанров, более полному использованию их возможностей. Отрабатываются в каждом жанре методы исследования и способы фиксации различных аспектов истории слова, уточняются задачи, стоящие перед жанром (и исполнимые на данном этапе), создаются новые, более компактные типы словарей, учитывающие возможность взаимодействия жанров при некоторой синхронности в подготовке и издании словарей. Из периферийных становятся актуальными также вопросы теории исторической лекси-

<sup>19</sup> Ф. П. Филин, С. Г. Бархударов, У словарных богатств, «Лит. газета», 16 IV 1975.

кограф ии: тождество слова, его границы в диахронии<sup>20</sup>, хронизм и историзм в подаче слова (что предпочтительнее: общий диахронический словарь или серия исторических словарей по синхронным срезам)<sup>21</sup>, генетический принцип в освещении истории слова и его реализация в исторических словарях одного синхронного среза и в диахронических словарях, эволюция языковых состояний и языковое тождество (как вопрос о том, насколько широки могут быть рамки исторического словаря одного языка), подача системы лексики через словарь<sup>22</sup>, какой тип словаря (тезаурус? полный? сводный? дифференциальный?) должен быть преобладающим для жанра и мн. др.

В начале 60-х годов У. Вайнрайх писал: «Безразличие, которое проявляет лексикография к ее собственной методологии, поразительно. Может быть, лексикографы благодушествуют потому, что их продукция работает, но закономерно спросить, каким образом она работает, кроме того, что она имеет сбыт»<sup>23</sup>.

Все перечисленное выше из области теории и практики составления словарей говорит о том, что в конце 70-х годов лексикографов никак нельзя ушрекнуть в благодушии. Напротив, ведутся напряженные искания в области теории, совершенствуется методика описания истории слова, и речь идет уже не о сбыте словарей, а о небывалом спросе на словари, который пока не могут удовлетворить ни по тиражам, ни по разнообразию типов.

<sup>20</sup> См.: Э. Г. Шимчук, Проблемы тождества слова. АКД, М., 1974.

<sup>21</sup> Так был сформулирован устроителями заседания по большим историческим словарям во Флоренции в 1971 г. один из вопросов анкеты.

<sup>22</sup> Р. А. Будагов, Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния, ВЯ, 1958, 4. Вопрос этот мало исследуется. Отчасти нельзя не согласиться с Ре-Дебов, что «подача системы языка через словарь явно не ясна в деталях» (указ. соч., стр. 150), но в целом и эта проблема решается постепенно в практике составления словарей.

<sup>23</sup> У. Вайнрайх, указ. соч., стр. 26.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АМБРОЗИНИ Р.

ПЕРВЫЙ ГИМН РИГВЕДЫ И МНИМАЯ МНОГЗНАЧНОСТЬ  
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Многозначность некоторых литературных произведений, особенно поэтических, зависит не только от возможности субъективных интерпретаций одного и того же произведения в различных аспектах, но и от объективной вариативности (полисемии) составляющих его элементов. В этом отношении ведическая поэзия по праву считается одним из самых ярких примеров использования полисемии в целях создания нарочитой многозначности; последняя, в свою очередь, рассматривается как результат интенсивного использования такого общего свойства языка, как аллюзивность. Язык, как известно, характеризуется такими функциональными свойствами, как, с одной стороны, семантическая редуцируемость, а с другой, аллюзивность и эвокативность. Эти противоречащие друг другу существенные свойства языка проявляются именно в явлении многозначности, называемом также неопределенностью; иногда под этим подразумевается даже особый вид лжи<sup>1</sup>, поскольку, по крайней мере в некоторых случаях, степень однозначности соответствия между означающим и референтом крайне ничтожна. Но именно по поводу таких случаев (считающихся типичными при произвольном использовании языка как орудия, хотя сам язык основан на принципе условности), как мне кажется, можно действительно говорить о неоднозначности, но особого рода, а именно: когда общая идея произведения оказывает влияние на значение его отдельных частей, первоначально не входивших в состав произведения. Общая, определяющая идея могла сформироваться последовательно в процессе создания произведения или же могла быть подсказана существовавшим ранее отрывком, который был использован в целях, отличных от первоначальных, посредством некоторой реинтерпретации (если не переделки). В связи с этим отдельные части, войдя в композицию литературного произведения, приобретают многоаспектность и могут быть подвергнуты более чем одной интерпретации. Их может быть по крайней мере две: та, которая оправдана для части произведения, взятой самой по себе, и та, которая вытекает из общей, определяющей идеи произведения.

Кроме того, интерпретация может быть обусловлена специфическими особенностями грамматического строя некоторых языков. Так, в древнеиндийском существует глагольная форма инъюнктива, которую справедливо считают многозначной. Эта форма, предмет довольно многочислен-

<sup>1</sup> Ср.: R. Ambrosini, Sul tema dell'inganno, «Linguistica e letteratura», 1976, 1, стр. 32 (примеч.).

ных дискуссий<sup>2</sup>, употребляется как атемпоральное настоящее (настоящее обычного действия), как кондиционалис (или потенциалис), для обозначения приказа (большей частью отрицательного), прошедшего действия. Предположение о том, что инфинитив предшествует становлению времен и наклонов глагола и что возможен перевод его несколькими способами, дает благоприятный повод для изучения использования многозначных языковых средств. В настоящей статье, рассматривая первый гимн Ригведы, я попытаюсь показать, что в данном случае многозначность является более поздним фактом, поскольку она возникает в выражениях (и соответствующих интерпретациях) явно однозначных, но приобретающих несколько смыслов в результате разнонаправленности идейного содержания отдельного отрывка и всего произведения и различного их использования. Очевидно, что при «синтагматической» интерпретации устраняются некоторые возможности, создаваемые парадигмой. Например, фраза, которую произносит вежливый покупатель-итальянец: *Volevo quell'oggetto* «Я хотел (бы) этот предмет» не понимается в том смысле, что при произнесении просьбы покупатель уже не хочет приобрести данный товар, поскольку *volevo* — это имперфект; в этом контексте *volevo*, будучи грамматически формой имперфекта, соответствует форме *vorrei* «я хотел бы» и соотносится с настоящим. В современном итальянском форма простого кондиционалиса соотносится только с настоящим, хотя она происходит, как известно, из конструкции «инфинитив + *habui*». То же относится к французской форме *dirais < dicere + habebam* (и в старофранцузском *chantereiet* обнаруживается первоначально сложная структура: *cantare + habebat*). В этой связи стоит напомнить, что во французском языке только в XVIII в. у формы кондиционалиса развивается модальное значение «предположительности» (для обозначения факта, в реальности которого нет уверенности) в главном предложении<sup>3</sup>. В придаточных предложениях на наиболее ранних стадиях развития итальянского и французского простой кондиционалис выражал то, что позднее стало обозначаться сложным кондиционалисом. Убедительный пример содержится в отрывке из «Fiore» («Цветок»), произведения, приписываемого, по моему мнению, несправедливо, Данте и созданного по образцу французского «Романа о розе». В «Цветке» (XXXIII 5—6) читаем *fe saramento* (галлицизм вместо *guiramento* «клятва») *ch'ella non prenderebbe* (на современном итальянском было бы *avrebbe preso*) *per me affanno* «она поклялась, что не побеспокоилась бы обо мне». Подобное употребление кондиционалиса не ограничено текстами, насыщенными галлицизмами, оно обнаруживается и в произведениях, их лишенных, например, в «Декамероне». Та же простая форма кондиционалиса со значением, идентичным современному, встречается в начале знаменитого сонета Данте «Guido, i'vorrei» «О если б, Гвидо...». Различия в синтаксическом окружении (главное — придаточное предложение) позволяют однозначно интерпретировать одну и ту же форму, поскольку в главном предложении перифразы, образованные с помощью инфинитива глагола и последующего *habui*, *habebam*, уже на древних этапах развития французского и итальянского стали означать действие, относящееся к настоящему (или будущему). Модальная функция при этом преобладала над временной. Впрочем, это не исключительный слу-

<sup>2</sup> Ср.: R. A m b r o s i n i, *Concordanze nelle strutture formali delle categorie verbali indo-europee*, «Studi e saggi linguistici», II, 1962, стр. 43—44; J. K u r y ł o w i c z, *The inflectional categories of Indo-European*, Heidelberg, 1964, стр. 145—146, 152; K. H o f f m a n, *Der Injunktiv im Veda*, Heidelberg, 1969, стр. 35, 278—279; C. W a t k i n s, *Indogermanische Grammatik*, III, 1, Heidelberg, 1969, стр. 45, 59, 100, 132.

<sup>3</sup> Ср.: N. C h i g a r e v s k a i a, *Précis d'histoire de la langue française*, Leningrad, 1974, стр. 218.

чай: например, модальные глаголы английского языка являются атемпоральными формами. Наоборот, в придаточном предложении такие перифразы продолжали указывать, хотя и не всегда, на действия, относящиеся к прошлому (так называемое «будущее в прошедшем»). Однако хорошо известно, что синтаксические изменения происходят в различных частях предложения с неодинаковой скоростью: именно придаточные в силу меньшей частотности употребления по сравнению с главными лучше сохраняют следы прошлых состояний.

Следует ли говорить о многозначности в таких случаях? Нет, поскольку не на всех стадиях языкового развития существует постоянное однозначное соответствие между формой и выражаемым содержанием; степень «прозрачности», если употребить термин, нашедший ныне, кажется, признание<sup>4</sup>, варьирует со временем. По этой же причине не следует считать многозначными и формы инъюнктива в первой части гимна Ригведы, к рассмотрению которых мы приступаем.

Первый гимн первой книги Ригведы — один из самых известных из этого сборника. Здесь, по-видимому, неуместно рассматривать его еще раз, поскольку имеющиеся интерпретации не представляются мне неточными или неполными как с формальной, так и с содержательной стороны. Что касается формы, то первая часть гимна (строфы 1—5) характеризуется употреблением имени собственного *Agni* в начале каждой строфы и указаниями на богов в заключительной части строф 2, 4 и 5. Эта формальная и содержательная однородность особенно заметна по сравнению с остальными строфами (6—9), которые формально и содержательно менее цельны; здесь молитва, обращенная к огню, теряет свою поучительность (вероятно, необходимую черту ритуала), в ней много ссылок на поэтов-жрецов; строфы 7 и 8 представляют собой синтаксическое единство и содержат ряд восхвалений и перечислений атрибутов огня.

Первые пять строф в переводе, к разбору которого мы обратимся ниже, означают следующее:

1. Я взываю к огню, к тому, кто поставлен во главе ритуала жертвоприношения, как его божественный исполнитель, который имеет своей обязанностью осуществить его, который есть тот, кто доставляет много радостей.

2. По справедливости огонь был взываем древними поэтами и взываем нынешними; он тот, кто приводит сюда богов.

3. С помощью огня достигается (могут быть достигнуты, обычно достигаются, достигались) людьми богатство и благосостояние, действительно каждый день, прекрасное и очень обильное.

4. Огонь, ритуальное действие, которое, образуемое жертвенным даром, ты окружаешь со всех сторон, это тот, кто идет среди богов.

5. Огонь, который несет обязанность выполнять ритуальное действие и обладает прозорливостью пророка, истинный бог святельнейшей славы, пусть идет (может идти, обычно идет, шед) с богами.

Строфы 2—5 могут получить «поэтическое» толкование на основе первой, которая содержит их темы: вероятно, поэтому все последующие строфы следуют модели первой. Совершенно ясно соотношение между стоящим вначале призывом к огню (*Agnim iḥe*, переводимое «взываю для меня») и, может быть, «взываю сюда» с глаголом в медиопассиве, который конкретизирует мольбу, определяя ее время и место) и утверждением в строфе 2, что огонь был и есть по праву объект мольбы со стороны поэтов-жрецов (*ṛṣi-*), былых и нынешних (*pūrvebhir ṛṣibhir iḍyo nūtanair*). Использо-

<sup>4</sup> Cp.: D. Lightfoot, Principles of diachronic syntax, Cambridge, 1979.

зование прилагательного, производного от глагола в первой строфе, в качестве пассива (о чем свидетельствуют формы инструменталиса со значением дополнения агенса) не случайно — оно обобщает констатацию факта: реальные и несомненные, хочет сказать автор, заслуги, приобретенные огнем, поскольку именно он приводит богов к месту жертвоприношения.

Этим открывается следующая тема: присутствие богов при жертвоприношении в результате деятельности огня, который, как говорится в строфе 1, является ритуальным служителем (*rtvij-*), тем, кто совершает жертвоприношение в нужное время. Очевидно, что по отношению к *rtvij-* (<*rt-*) «порядок», «своевременность» и *ij-* <*yaj-* «приносить жертву») генитив *vajñāsya* «жертвоприношения» представляет собой случай «внутреннего, этимологического генитива» (об аккузативе здесь не может быть речи). Огонь как «тот, кто вовремя приносит жертву» поставлен во главе (*puróhita*) обряда в том смысле, что при жертвоприношении он есть первое, что надо сделать; без *puróhita-*, без этого первого действия человека, который зажигает огонь и вместе с тем ставит его первым (этими уточнениями я подчеркиваю значение *purás* «перед, до»), жертвоприношение лишилось бы самого главного его исполнителя — *hótāram*, т. е. «того, кто несет обязанность совершать жертвоприношение», передавать жертву посредством ритуала богам. Но под зажиганием огня подразумевается также и факт обожествления самого огня; огонь, зажженный согласно требованиям ритуала, действительно, заставляет богов прийти, поэтому тот, кто был поставлен во главе, становится также «тем, кто кладет, дает богатство, более, чем кто-либо другой» (*ratnadhātām*). Неясно, кому это доставляет радость (*rātna-* может также означать «драгоценности»), поскольку неясен референт «того, кто совершает жертвоприношение», — то ли людям (по крайней мере, поэтам жреческой коллегии), то ли богам; последние действительно извлекают выгоду из жертвоприношений, которые достигаются с помощью огня.

В строфе 3 развивается следующая тема: огонь может дать и обычно дает богатство и благосостояние. Многозначность формы инфинитива *aśnavat* может привести к мысли, что глагол означает или возможность (обычно так и переводят) или предсказание («можно получить»). Субъект *aśnavat* (если только не интерпретировать текст другим образом, см. ниже) остается невыраженным. Безличная форма (согласно традиционной интерпретации) сознательно связывается с формой пассива в строфе 2: вероятно, что те, кто получает блага, это прежде всего поэты-жрецы. Однако верно и то, что они эти блага уже получали, как позволяет предполагать другое значение инфинитива, которое можно передать посредством атемпорального, обобщающего настоящего: «обычно получают». Конец строфы 3 *yaśásam vīrávattamam* (рифмующийся с концом строфы 1 *ratnadhātām*) содержит важное уточнение: изобилие (скорее «добро», если учесть возможное значение *rayīm*), и благосостояние (*póṣam*) определяются как «прекрасные» (*yaśásam* напоминает некоторые значения греч. *καλός*) и как «очень богатые людьми». Нелегко установить, обозначает ли *vīrá-vat-* обилие сыновей или достойных вассалов, но, видимо, в любом случае речь идет о людях, подчиненных господину, независимо от того, воюют ли они на его стороне, или работают на него, или же составляют прекрасную (*yaśásam*) семью. Трудно исключить, что *rayīm* как-то связано с этими прилагательными. Но рифма с первой строфой представляется не случайной: огонь не только доставляет много радостей, но и способствует (только людям в этом случае) обилию людей в том смысле, что дает возможность кормить многих людей и поддерживать их благосостояние; эти люди в свою очередь делают «прекрасной» мощь своего господина.

Строфа 4 соотносится со строфой 1, поскольку объясняет, в чем заключается *yajñā-* и что с этим происходит; это, т. е. ритуал жертвоприношения, объясняется неясным термином *adhvarā-*, который, по-видимому, указывает на функцию посвящения жертвы богам. Действительно, при посвящении дара богам с помощью ритуальных действий и при наделении его посреднической функцией огня происходит не только трансформация дара в объект, угодный богам (и в некоторой степени обожествленный), но также возникает возможность присутствия богов при совершении ритуала. Именно такой смысл я приписал бы строфе 4: акт жертвоприношения происходит среди богов, поскольку они уже здесь, на жертвеннике, на *barhīs-*, а не далеко на небе, *paramē vyòman*, согласно известной ведической формуле. В этом смысле *yajñā-* есть *adhvarā-*, т. е. акт жертвоприношения есть акт посвящения и при этом со всех сторон находится огонь; таким образом, посвящение происходит в присутствии богов, которые явились по просьбе огня (ср. в строфе 2с: *sá devān éhā vakṣati*).

И последняя строфа этой без сомнения единой в своем построении части гимна также связана с первой: огонь описывается как мудрый, истинный (*satyāś* «реальный, не обманчивый») и божественный посвяститель. Повторение *hótā* уточняет, что огонь не только обладает функцией посвящения, но эту функцию он выполняет знанием провидца, вдохновением мудреца (*kavī-*) и, естественно, в сиянии славы; прилагательное *citrāśravas-* объединяет, не без натяжки, значения «сияние» (*citrā-*) и «слава» как в смысле «известность, слава», так и в смысле «выслушиваемая и повторяемая похвала» (*śrāvas-*). Но слава огня блистательна и в конкретном и в переносном значении: его свет приносит ему известность, а его слава сиятельна. О столь достойной похвалы сущности (*īdyo*, строфа 2b) можно сказать, что она не только «приводит богов» (2с) и «вращается среди богов» (4с), но даже «приходит с помощью богов». Так я понимаю выражение в строфе 5с (*devēbhir ā gamat*), где обычный инъюнктив обозначает или предсказание («придет сюда») или обычное действие («обычно приходит сюда») именно «с помощью богов», которые согласно ведическому парадоксу, из существ, к которым обращено действие, превращаются в существа, выполняющие его. Боги и огонь связаны отношением, аналогичным отношению между родителями и детьми: родители порождают детей и в то же время порождаемы ими, ибо отец является таковым постольку, поскольку у него есть сын; подобным образом, человек богат, если у него много достойных вассалов, которые дают всем возможность понять и оценить его богатство.

Теперь, вероятно, ясно, почему я считаю, что гимн до сих пор не был осмыслен до конца. Он не делится на три части, как утверждает Гельднер<sup>5</sup>, и это не просто школьное упражнение, как утверждает Рену<sup>6</sup>. Напротив, речь идет о некоей теме, предложенной в строфе 1, с разъяснением содержания, сжато изложенного вначале. В этом свете становятся очевидными причины, по которым и в других гимнах встречаются определенные формулы, два полустиха, и ясно, почему изучаемый гимн расположен в начале сборника. Ригведа представляет собой прежде всего прославление силы и значимости огня, который находится в природе и вместе с тем порождается человеком: ведь человек открыл огонь, когда внял своим разумом велениям природы. Какое другое живое существо может зажечь огонь? Доказательства живительной силы огня и, следует добавить, слова, индусы находили только у человека<sup>7</sup>. Отсюда культ огня как культ человеческого разума, как культ стихии, которую

<sup>5</sup> K. Geldner, *Der Rig-Veda*, I, Cambridge (Mass.), 1951, стр. 1.

<sup>6</sup> L. Renou, «*Études védiques et pāṇinienes*», XII, 1964, стр. 70.

<sup>7</sup> Ср.: *Rg-Veda*, X, 125.

только люди и боги, в частности, бог молнии Индра, могли и умели производить (и воспроизводить).

По сравнению с этим содержанием, завуалированным поэтической формой, но вовсе не недешифрируемым и эзотерическим, содержание второй части гимна более простое и, так сказать, более бессвязное. Вот ее перевод:

6. Если ты еще раз, огонь, захочешь сделать то, что осчастливит того, кто тебя почитает, ты действительно имеешь эту возможность, о Ангирас.

7. К тебе приближаемся каждый день мы, о огонь, который день за днем освещает мрак, воздавая тебе почести нашими стихами.

8. К тебе, который сияя, руководит жертвоприношением и охраняет таким образом мировой порядок и благоденствует в своем доме.

9. Поскольку ты таков, будь доступен для нас, как доступен отец, как сын, и оставайся с нами для нашего блага.

Строфа 6 утверждает, что об огне достоверен [*távét tát satyám* «о тебе верно это», в смысле «тебе это возможно (сделать это)»] тот факт, что он, если пожелает, может сделать ослепительно счастливым (*bhadrám* «блестящий, светлый») того, кто его почитает. Но утверждение ослаблено словом *angá* «еще раз» (предполагая, что благодеяния огонь совершает экономно, когда у него есть желание). Нельзя, конечно, оставить без внимания ассоциативную связь между сиянием славы огня (строфа 5) и сиянием того, кому он желает благоволить. Это подчеркивает единство первых пяти стрóf, поскольку в шестой развивается, возможно, утверждение, содержащееся не в первой строфе гимна (как это сделано в строфах 2—5), а в последней, пятой. Также не случаен повтор *satyá-* из пятой строфы, хотя значение его в строфе 6 другое: там активное («реальный, искренний, не обманчивый»), здесь пассивное («могущий считаться истинным», отсюда «возможный»). Таким образом, строфа 6 означает, что позволительно говорить об огне, что он может, если пожелает, передать свое сияние тому, кто его почитает. Но это указание на почитание, выраженное *dāśūše*, отдаляет в концептуальном смысле строфу 1 от строфы 6: в первой среди существенных черт ритуала называется вызвание к огню, в последней его почитают. Речь идет о разных уровнях религиозных представлений: отношении между жрецом и огнем в строфе 1 есть отношение уважения к могущественнейшему орудью, которое всегда, однако, является производением рук человека; в строфе 6, наоборот, это отношение представляет собой полную зависимость человека от воли и прихоти огня.

В строфе 7 объясняется, кто же в действительности почитает огонь: это поэты-жрецы, которые приближаются к огню, воздавая ему почести в своих стихах (*dhiyā... /nāmo bhāranta*). Постоянный ритуальный характер этого почитания уточняется словами *divē-divē* «день за днем», которые отсылают к тому же выражению в строфе 3, где они, однако, более уместны: каждый день зажигается огонь, который каждый день приносит благосостояние. Здесь же ситуация обратная: огонь почитается каждый день как стихия, освещающая мрак, или же, метафорически, несет свет туда, где хаос. Здесь возможен намек на зарю (*-vastar* имеет тот же корень, что и *uśā-*) и ясно, что *divē-divē* предпочтительнее соотносить с *vayāt... ēmasi* «мы... приближаемся», т. е. «тебя почитаем» (ср. колебания в значении лат. *colō* «часто посещать» и «почитать», а также в значении дериватов индоевропейского корня *\*kuel-*), но можно это выражение также соотнести прежде всего с *dōśāvastar*, что еще более уменьшило бы экспрессивность этой строфы.

Являясь и с грамматической точки зрения продолжением строфы 7, строфа 8 представляет собой перечисление атрибутов огня. Отсылки к элементам темы немало; они содержатся в *adhvarānām, dīdivim* «светлый»,

вариант *citrá-* (и, следовательно, *bhadrám*), в *ṛtása*, которое в какой-то степени повторяет *ṛtv-* в *ṛvijam* строфы 1. В 8с содержится новый элемент *várdhamānaṃ své dāme*, трудно соотносимый с *viśvátaḥ paribhūṛ* ási в строфе 4с. Об огне, который распространяется вокруг жертвенных даров, можно сказать, что он благоденствует в своем доме.

Еще менее связана с первой частью гимна строфа 9, представляющая собой заключительную молитву условного характера. Огонь здесь призывается «быть доступным», «легко достигаемым». Смысл, передаваемый *sūpāyaṅ*, является пассивным отражением смысла *émasi* в 7с: если «мы приближаемся к тебе», то и «ты должен стать легко доступным для нас», как доступен отец или сын. Что касается этого последнего выражения, оно может описывать отношение между тем, кто совершает жертвоприношение, и огнем, поскольку собственный отец и собственный сын для всякого человека более доступны, чем другие люди. Может быть, однако, это выражение надо понимать в том смысле, что огонь играет роль инструмента («сына») и в то же время свободной божественной стихии («отца»). Вторая интерпретация, какой бы сомнительной она ни была, хорошо вписывается в известную тему взаимной обратимости ролей, характерную для ведического мировоззрения (см. выше).

Гимн заканчивается призывом к огню оставаться рядом с тем, кто его почитает (*sácasvā haḥ*), ради благополучия (*svastáye*), счастья и благосостояния последнего. В заключительной строфе глаголы в императиве подчеркивают аллокутивный характер второй части гимна, уже ясный из употребления второго лица в строфе 6; но аллокутивность присутствует, как мы увидим, и в первой части (строфа 4). Именно императивы *bhava*, *sácasvā* заставляют нас интерпретировать в побудительном смысле инъюнктивы первой части гимна, которые, как мы убедились, могут также обозначать обычное и даже уже исполненное действие огня. Отсюда возникает впечатление, по-моему, ложное, единства композиции, которая вовсе этим единством не обладает и при реконструкции ее компонентов обнаруживает двойственность, типичную для поэтического видения мира Ригведы: миф и молитва, более или менее объективное повествование и ясно выраженная субъективная сопричастность, композиция и приспособление ее, хотя и без изменения структуры, к требованиям ритуала. С этой точки зрения можно сказать, что впечатление многозначности, которое производит гимн (он может считаться образцовым для интерпретации многих гимнов), зависит не от читателя, а от намерений самого *ṛṣi*, который приспособил к религиозной церемонии миф, изложенный, вероятно, в разговорном стиле, на что указывает аллокутивное *ты* в первой части. Не обязательно полагать, что это *ты* было добавлено после слияния со второй частью, тем более, что это слияние, как легко заметить, далеко от совершенства. Можно по-разному понимать взаимоотношение между двумя частями гимна: как предложение темы и ее развитие или почти как соотношение между темой и ремой; можно считать удачным или неудачным объединение двух частей, видеть в этом выражение нарастания личной сопричастности или же считать это объединение чисто механическим. В любом случае мне представляется ясным, что единство интерпретации гимна определяется второй частью; она, как я сказал, заставляет рассматривать инъюнктивы первой части как выражение призыва, а не как формы вневременного повествования; совсем наоборот, этим формам вторая часть придает временную определенность и заставляет считать их формами настоящего предсказания и его логического следствия — будущего. Она придает аллокутивную непосредственность обращению *ты* и вокативу строфы 4, в то время как вне этого контекста речь могла бы идти только о риторическом приеме приближения удаленного объекта.

Вернемся снова к строфе 3. Если считать, что первая часть гимна самостоятельна, строфа 3 есть объяснение строфы 2. Действительно, огонь достоин мольбы, поскольку «обычно» этим достигается богатство и благосостояние, или вернее, потому что он «обычно помогал получить их», если читать в начале строфы *agnír ā* вместо дошедшей до нас формы *agnínā*. Тогда перевод будет «огонь действительно помог получить богатство» или «огонь помог получить именно богатство» в зависимости от того, соотносить ли эмфатическую частицу *ā* с *agnír* (что предпочтительнее ввиду ее положения) или с *rayīm*. Тем самым рассеиваются сомнения, которые обоснованно возникают при интерпретации субъекта *ašnavat*, каузативное значение которого («заставить получить» вместо «получить») не должно вызывать удивления, потому что глагольный корень *aš-* засвидетельствован также со значением «дать»; следовательно, огонь обычно помогал получать или обычно доставлял богатство.

Еще раз просматривая весь текст, можно выдвинуть предположение, что строфа 4, единственная строфа аллокутивного характера первой части гимна, была добавлена после объединения двух частей; первая часть, по видимому, первоначально состояла только из четырех строф, которые начинались именем собственным *Agni* или в номинативе (если принять предложенное выше чтение начала строфы 3) или в аккузативе.

Таким образом, можно сделать вывод, что гимн, первая часть которого, вероятно, возникла раньше второй, получил свой окончательный смысл именно после присоединения последней и что наблюдаемая многозначность зависит от наложения двух различных композиционных моментов. В результате новой интерпретации первоначально самостоятельный отрывок приобретает другие семантические функции; может быть, речь идет о части гимна, который, согласно известным гимнологическим традициям древности, повествовал о деяниях огня, о его парадоксальном положении среди людей и богов. Присоединение другой части, которая: 1) содержит мольбу, обращенную к огню (утверждение о том, что от огня зависит, пожелает ли он еще раз сделать счастливым того, кто его почитает, есть способ его восхваления и вместе с тем обращения к нему с мольбой); 2) заканчивается призывом оставаться доступным, как отец или сын для того, кто его почитает и 3) утверждает, что поэты приближаются и, следовательно, воздают почести огню с помощью своей поэзии, — определяет общую интерпретацию гимна. Вторая часть, лишенная многозначности, приводит к «векторной» многозначности первой, которая, как мы видели, развивается в четырех, если не в трех, строфах содержание, сконцентрированное в первой.

Я полагаю, что этот вывод должен быть учтен при интерпретации многих стихотворных произведений (и не только ведической поэзии); совершенно ясно, что многозначность возникает не при редактировании материала (и, следовательно, в отрывках, остающихся впоследствии неизменными), а при его повторном использовании, независимо от того, свой ли это материал или чужой. Многозначность есть результат столкновения различных авторских интенций, а в такой анонимной поэзии, как ведическая, результат более или менее удачного объединения различных произведений. Многозначность присуща не самой поэзии, а использованию поэтических произведений.

Перевел с итальянского *Нарумов Б. П*

МАЛКОВА О. В.

### О ПРИНЦИПЕ ДЕЛЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ НА СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ В ПОЗДНЕМ ПРАСЛАВЯНСКОМ И В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В праславянском языке был пережит процесс изменения кратких звуков [ǐ] и [i], унаследованных от праиндоевропейского языка, в специфически славянские звуки [ъ] и [ь]. Фонетическую природу звуков [ъ] и [ь] слависты определяли по-разному, что нашло отражение в многочисленности терминов, которыми их называли: редуцированные, глухие, краткие (полукраткие), сверхкраткие, иррациональные, еры (по названию букв ѣ и ъ, которыми они обозначались в кириллице) и т. д. При характеристике акустико-физиологической природы славянских редуцированных гласных их нередко сопоставляли со словенским редуцированным звуком [ə] и с русскими редуцированными звуками [ъ] и [ь], которые произносятся во втором предупредном слоге и в заударных слогах в соответствии с гласными неверхнего подъема: [пъпалам] «пополам», [ста́нъм] «станем». Естественно, при сравнении этих звуков имелось в виду не их тождество, а подобие, наличие некоторых общих характеристик<sup>1</sup>.

В X—XIII вв. по причинам, которые в настоящее время не установлены, редуцированные гласные в славянских языках стали интенсивно исчезать: в одних условиях (в слабой позиции) они утратились, в других условиях (в сильной позиции) они либо совпали с одним или с двумя уже имевшимися гласными полного образования (сѣтъникъ > сотник, днь > день), либо развились в самостоятельный звук полного образования (в болгарском языке сѣнь > сѣн). Процесс исчезновения редуцированных гласных в славянских языках называют падением редуцированных гласных. Падение редуцированных гласных осуществлялось в различных славянских диалектных зонах, в разное время: оно началось в X в. в южнославянских языках, затем охватило западнославянские языки, в восточнославянских языках оно завершилось вполне в XII—XIV вв. В южных (украинских) диалектах древнерусского языка редуцированные пали приблизительно на один век раньше, чем в северных (новгородских) диалектах<sup>2</sup>. Падение редуцированных гласных слависты единодушно относят к числу важнейших фонетических процессов в истории славянских языков, вызвавших наиболее существенные преобразования в их звуковых системах и грамматическом строе<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Р. Нахтигал, Славянские языки, М., 1963, стр. 49.

<sup>2</sup> А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, «Энциклопедия славянской филологии», 11, Лг., 1915, стр. 216.

<sup>3</sup> См., например: В. Н. Сидоров, Редуцированные гласные ѣ и ъ в древнерусском языке XI в., «Труды Ин-та языкознания АН СССР», II, 1953, стр. 199; Ф. П. Филипп, Образование языка восточных славян, М.—Л., 1962, стр. 259—260; В. К. Журавлев, Генезис группового сингармонизма в праславянском языке. АДД, М., 1965, стр. 3.

Не все в истории редуцированных гласных для славистов понятно. Одним из трудных вопросов является вопрос об условиях, в которых редуцированные гласные развивались в гласные полного образования (сильная позиция) или утрачивались (слабая позиция). Длительное изучение рефлексов редуцированных в современных славянских языках позволило переосмыслить принцип деления редуцированных гласных на сильные и слабые. На материале восточнославянских языков он впервые был отчетливо сформулирован А. А. Потебней, а на материале чешского языка через два десятилетия А. Гавликом<sup>4</sup>. А. А. Потебня писал: «Глухие звуки внутри слов почти одинаково во всех русских наречиях (восточнославянских языках. — М. О.) частью заменяются чистыми *o*, *e*, частью исчезают... Слова *сънь*, *мъжь*, *ръжь*, *пнь* и т. п. в русском были сначала двухсложны. Потом... стерся конечный глухой звук, а согласная второго слога вместе с первым прямым (открытым. — М. О.) образовала средний слог (закрытый. — М. О.), после чего произошло изменение первого *ъ*, *ь* в *o*, *e*: *сон*, *пен*. Если же во втором слоге этих слов будет основная чистая гласная (*съ-на*, *пъ-ня*), то в русс. первый слог потеряет свою гласную и соединится со вторым (*сна*, *пня*). То же повторяется и в многосложных словах: *кубок*, *вѣнец* (из *ку-бъ-къ*, *вѣ-нѣ-ць*), *кубка*, *вѣнца* (из *ку-бъ-ка*, *вѣ-нѣ-ца*)»<sup>5</sup>. Сейчас в обобщенном на материале различных славянских языков виде принцип деления редуцированных на слабые и сильные формулируют следующим образом: редуцированные гласные перед слогом с гласным полного образования были слабыми и в эпоху падения редуцированных утратились, перед слогом со слабым редуцированным они были сильными и совпали с одним или с двумя гласными полного образования (это правило не распространялось на сочетания редуцированных с плавными между согласными). Если в слове имелось несколько подряд расположенных редуцированных, точкой отсчета при делении редуцированных на слабые и сильные был конечный редуцированный. В практике лингвистических исследований этот принцип нередко возводится в степень установленного факта. Сложилась устойчивая традиция четко классифицировать редуцированные на сильные и слабые, а нерегулярные рефлексы редуцированных рассматривать как исключения, полученные в некоторых специфических условиях.

Редуцированные гласные отражены в современных славянских языках сложно и противоречиво. Правило Потебни — Гавлика хорошо описывает большую часть рефлексов редуцированных в славянских языках, однако «исключения» многочисленны. Основной вид отступлений от ожидаемых рефлексов редуцированных — это присутствие гласного полного образования на месте слабого редуцированного, чаще наблюдаемое в начальном слоге слова. Значительно реже встречается отсутствие гласного на месте редуцированного в сильной позиции. Классы слов, к рефлексам редуцированных в которых не применимо правило Потебни — Гавлика, в отдельных славянских языках не совпадают. В качестве причин неравномерного развития редуцированных в тех или иных группах слов слависты называли разные явления.

Одной из причин развития слабых редуцированных в гласные полного образования считали наличие на редуцированном ударения, что имело место в неодносложных словах только в первом слоге слова: в русском языке *дѣску* < *дѣскоу*, *сѣхнутъ* < *сѣхнути*, *стѣкла* < *стѣкла*, в сербском языке в формах сравнительной степени *манѣ*, в глагольных формах

<sup>4</sup> А. Н a v l i k, *К otázce jerové v staré češtině*, «Listy filologické», XVI, 1889, стр. 45.

<sup>5</sup> А. А. Потебня, Два исследования о звуках русского языка..., Воронеж. 1866, стр. 56.

жање, гање и в некоторых других случаях под вторичным метатоническим восходящим ударением<sup>6</sup>. Позиция редуцированного под ударением в первом слоге односложного слова одними учеными интерпретировалась как сильная позиция, равноценная позиции перед слогом со слабым редуцированным<sup>7</sup>, другими учеными она расценивалась как позиция, где падение слабых редуцированных «задерживалось», а позднее происходила их замена гласными полного образования<sup>8</sup>.

Причиной развития редуцированных в гласные полного образования в односложных местоимениях и союзе *нъ* считали наличие на редуцированном ударения, а также присутствие в слове только одного гласного, который не мог быть утрачен. Так развивались односложные местоимения в сербохорватских диалектах: *чь* > *ча*, *тъ* > *та*, *те*, *тѧ*<sup>9</sup>. В восточнославянских языках односложные местоимения не сохранились, однако в памятниках письменности они иногда отражаются с гласными полного образования: *тъ* > *то*, *сь* > *се*<sup>10</sup>.

Одной из причин вокализации слабых редуцированных считали «трудные» сочетания согласных, в особенности те, где в результате ослабления и исчезновения редуцированных должны были начаться ассимиляционные процессы, что привело бы к большому различию между формами одного слова или между однокоренными словами. К числу «трудных» сочетаний относили в сербохорватском языке сочетания сонант + редуцированный + шумный в начале слова (*лагати*, *лажица*, *магла*, *мазда*, *мазга*, *ласт* — *ласти*), группы из трех-четырёх согласных, если они не соответствовали формуле фрикативный + взрывной + сонант (*цвѣсти*, *стакло*, *даска*, *снаха*, *стаза*, *дажд* — *дажда*)<sup>11</sup>. В русском языке к числу таких сочетаний относили группы согласных в словах *цвести*, *стекло*, *доска*, *сноха*, *стезя*, *дождя*, *пестрить*, *чести*, *лести* и некот. др.<sup>12</sup>.

Причиной появления гласных полного образования на месте слабых редуцированных в словах, имевших в своем составе не менее двух редуцированных, считали действие тенденции к выравниванию основ: в русском языке — *шеуц* — *шеуца*, *собратъ* — *соберу*, *темен* — *темна*; в украинском языке — *шеуць* — *шеуця*; в сербохорватском языке — *шавац* — *шаваца*, *таман* — *тамна*; в польском языке — *szewc* — *szewca*, а в диалектах и *szwiec*, *szewiec*<sup>13</sup> и т. д.

Причиной вокализации слабых редуцированных в предлогах и приставках в ряде основ и отдельных корнях слов в восточнославянских языках считали проникновение в восточнославянские языки слов и выражений из церковно-книжного языка: *во имя*, *во истину*, *сокровище*, *собор*, *совет*, *восток*, *возератить*, *воплотить*, *вопршать*, *уповать* и т. д. Идея о проникновении приставочно-предложных форм с [о] в восточнославянские язы-

<sup>6</sup> П. И в и њ, О условама за чување и испадње полугласа у српскохрватском, «Зборник за филологију и лингвистику», XVII/2, Нови сад, 1974, стр. 39.

<sup>7</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 245, 250; А. М. Селищев, Старославянский язык, I, М., 1951, стр. 153; Д. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 140—141; В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 100, 104; О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жовтоброух, С. П. Самойленко, I. И. Тараненко, Исторична граматика української мови, Київ, 1962, стр. 123.

<sup>8</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительная фонетика индоевропейских языков, «Избранные труды», I, М., 1956, стр. 294—296.

<sup>9</sup> П. И в и њ, указ. соч., стр. 38.

<sup>10</sup> П. С. Кузнецов, В. И. Борковский, указ. соч., стр. 104, 220.

<sup>11</sup> П. И в и њ, указ. соч., стр. 41—42.

<sup>12</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 250—251. Однако А. А. Шахматов считал, что редуцированные в таких словах утрачивались, но позднее в них восстанавливался гласный полного образования по аналогии с родственными формами.

<sup>13</sup> Т. Лер-Сплавинский, Польский язык, М., 1954, стр. 60.

ки из церковно-книжного языка принадлежит А. А. Шахматову<sup>14</sup>. А. А. Шахматов исходил из наличия в древнейший период тесных культурных связей между Древней Русью и южнославянскими областями. Ход мысли А. А. Шахматова был следующим. В южнославянских языках редуцированные гали раньше, чем в восточнославянских языках. Южнославянские учителя при обучении письму прививали своим ученикам — восточным славянам — произношение букв ѣ и ѓ как [o] и [e], поэтому во многих древнерусских школах письма звуковое значение букв ѣ и ѓ было [o] и [e]. Контроль живого произношения ограничивал такое искусственное произношение, но последнее оставило след в восточнославянских языках в виде вокализованных слабых редуцированных в некоторых группах лексик, преимущественно в приставочно-предложных формах. Гипотеза А. А. Шахматова не была оснащена фактами, но признавалась многими славистами благодаря исключительно высокому научному авторитету А. А. Шахматова. Она вошла в вузовские учебники<sup>15</sup>.

Иначе объяснял причину вокализации слабых редуцированных в предложениях в положении перед гласными [и], [у], [о], [а] Л. Л. Васильев. Он считал, что в древнерусском языке в эпоху до падения редуцированных проходил фонетический процесс сокращения «нейотированных» гласных в начале слова и переход их в неслоговые звуки. Результатом этого процесса и была вокализация слабых редуцированных в предложениях (*во имя, во истину, ко ангелу, со омота страны* и т. п.)<sup>16</sup>. По мнению Л. Л. Васильева, этот процесс имел место во всех древнерусских диалектных областях, но наибольшее развитие он получил в говорах, легших в основу украинского языка. Гипотеза Л. Л. Васильева в дальнейшем признании не получила<sup>17</sup>.

На материале западнославянских и южнославянских языков слависты называли и другие причины нерегулярного развития редуцированных: общее количество слогов в слове, положение в начальном слоге слова при некоторых дополнительных условиях и др. В целом для современного понимания проблемы характерно признание того факта, что причины нерегулярного развития редуцированных в славянских языках могли быть множественными, что условия нерегулярного развития редуцированных не совпадали в отдельных славянских языках<sup>17</sup>.

Целиком разделяя справедливость только что названных выводов, мы предлагаем ниже как обобщение различных случаев нерегулярного развития редуцированных в славянских языках гипотезу о том, что в позднем праславянском языке и в древних славянских языках не существовало «категорического» разграничения редуцированных на сильные и слабые. Наряду с наличием двух отчетливо выраженных типов произношения редуцированных, сильного и слабого, существовали переходные типы произношения, то есть различие между сильными и слабыми редуцированными носило градуальный характер. В эпоху общего падения редуцированных славянскими языками были утрачены только определенно сильные редуцированные (совпали с гласными полного образования или развились в особый звук или звуки полного образования) и определенно слабые редуцированные (выпали). Переходные по произношению типы редуцированных падением охвачены не были. Эти сохранившиеся после общего падения

<sup>14</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 254—255, 268—269. В некоторых приставочных образованиях появление [o] на месте слабого редуцированного А. А. Шахматов объяснял аналогическим выравниванием основ (*собратъ — соберу*).

<sup>15</sup> В. И. Бороковский, П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 101.

<sup>16</sup> Л. Л. Васильев, О влиянии нейотированных гласных на предыдущий открытый слог, «Изв. ОРЯС», 1908, XIII, 3, стр. 181—255.

<sup>17</sup> С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 254; Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 260 и сл.

редуцированные позднее постепенно устранялись преимущественно через замещение гласными полного образования.

В пользу данной гипотезы можно привести соображения теоретического порядка, некоторые факты из истории славянских языков и показания славянских памятников письменности.

1. Во-первых, представления о четком делении редуцированных гласных на сильные и слабые не соответствуют научным представлениям о фонемах и их реализациях в потоке речи. Фонемы реализуются не в одном-двух типах звуков, а в целом классе звуков. В отдельных «экземплярах» — реализациях фонемы существенное (дифференциальное) материальное свойство фонемы обычно присутствует, но реальная степень этого свойства различна и зависит от комплекса причин<sup>18</sup>. От комплекса причин зависит и судьба фонем в процессе исторического развития: от места фонемы в данной фонемной системе, от свойств данной системы фонем, от реальных свойств звуков-репрезентантов фонемы; важно отметить, что играют роль и количественные характеристики материальных свойств звуков («больше» — «меньше»).

2. Во-вторых, существующий принцип деления редуцированных возник в результате анализа рефлексов редуцированных в современных славянских языках. Он является бинарным (сильные или слабые), так как имеется два основных результата развития редуцированных в современных славянских языках (вокализация в определенные гласные полного образования или выпадение). Однако этот принцип не учитывает наличие по крайней мере еще одного результата развития редуцированных в славянских языках (особое развитие редуцированных в сочетаниях с плавными между согласными здесь сбрасываем со счета). Имеем в виду тот широко известный факт, что в некоторых славянских языках в результате нерегулярного развития слабых редуцированных получены иные гласные, чем те, которые возникли в результате развития сильных редуцированных. Например, в словацком языке обычным рефлексом сильного редуцированного [ъ] является [o], в то время как рефлексом нерегулярно развивавшегося слабого редуцированного в начале слова является [a] (вследствие аналогии этот звук иногда проникал и в сильную позицию: *machu* — *mach*, *l'ani* — *l'an*)<sup>19</sup>. Вряд ли можно указать иную причину «третьего» пути развития редуцированных, чем их иное звуковое качество.

3. В-третьих, существующий принцип деления редуцированных на сильные и слабые не учитывает, что в эпоху общего падения редуцированных существовало не два, а три направления в развитии редуцированных: вокализация сильных редуцированных, утрата слабых редуцированных и сохранение — «задержка» «слабых» редуцированных в некоторых специфических условиях. Это засвидетельствовано южнославянскими и древнерусскими памятниками письменности. А. М. Селищев, опираясь на показания старославянских памятников, писал о падении редуцированных гласных в древнеболгарских и древнесербских диалектах следующим: «В некотором фонетическом положении редуцированный ъ перед слогом с гласным полного образования оставался и после окончательной утраты слабых ъ, ь. В этом гласном ъ в таком особом положении был не только давний ъ, но и совпавший с ним давний њ. Так, по диалектам был ъ между *д — щ*, *т — ц*, *д — н*, *т — м*, *т — к*, *м — ст*, *м — зд*, *м — г*, *л — начальное слога* перед слогом с гласным полного образования: *дъщери*, *дъщца*, *тѣща* «теща», *тѣщание*, *дѣно*, *тѣма*, *тѣмѣ*, *тѣкнѣти*

<sup>18</sup> В. М. Солдцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1977, стр. 240 и сл. Изложенные представления еще в начале века были достоянием русского классического языковедения, но отчетливо были сформулированы позднее.

<sup>19</sup> С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 255.

(*прѣтъкнеши*), *мъстиши* (вм. *мѣстиши*), *мъзда*, *мъгла* (вм. *мѣгла*), *мѣсти*. С гласным ѣ такие сочетания сохранялись и позднее в языке славян болгарских... Показательно в этом отношении и древнесербское Мирославово ев. (XII в.): при частых пропусках ѣ, ѥ в слабом положении последовательно переданы со знаком редуцированного гласного сочетания *лъж-* (*лъжа*, *лъжи...*), *лѣст-* (*лѣсти*, *лѣщени*), *мъзд-* (*мъзда...*), *мѣст-* (*мѣсти...*), *тѣц-* (*тѣца*, *потѣцаесе*, *отѣцетить*)»<sup>20</sup>. Исследователи восточнославянских памятников, созданных в эпоху общего падения редуцированных и позже в различных древнерусских диалектных областях, также отмечали в некоторых классах слов последовательное употребление букв ѣ и ѥ в соответствии со слабыми редуцированными и единодушно интерпретировали это явление как «задержку» утраты слабых редуцированных<sup>21</sup>. Трудно предположить иную причину особого развития некоторых «слабых» редуцированных в эпоху общего падения редуцированных, чем их особое качество, отличие от обычных слабых редуцированных.

4 В-четвертых, в праславянском языке слабые редуцированные теряли свое ударение, оно переходило на гласные полного образования соседних слогов или на сильные редуцированные. Это явление засвидетельствовано русским языком: *бол*, *волá* < *volž*, *volá*, *добр*, *дворá* < *dvorž*, *dvorá*, *орéа*, *орлá* < *orž*, *orlá*, *дубк*, *дубкá* < *dvbžkž*, *dvbžká*, *сучкá*, *сучкá* < *sočžkž*, *sočžká*, *рѣчка* < *ročžka*, *нбжкá* < *nožžka*. Однако наблюдалось и нарушение данной закономерности — в начальном слоге неодносложного слова, где слабые редуцированные сохраняли свое ударение<sup>22</sup>. В современных славянских языках таким редуцированным соответствуют гласные полного образования: в русском языке *дбску*, *стéкла*, *сбнзуть*, *дбзнуть*, *мбхом*, *нѣстрый*, *сбты*, *мѣстя*, *тѣца*, *чѣсти*, в украинском языке *мбху*, *мѣсти*, *сбта*, *тѣца*, в белорусском языке *дбжджу*, *мбху* и т. д., в сербском языке в формах сравнительной степени *мáньи*, *дáљи*, в формах глаголов *жáне*, *тáре*, *шáле* и др. (под восходящим секундарным ударением). Способность нести ударение не позволяет приравнять такие редуцированные к обычным слабым редуцированным. Выше говорилось, что некоторые исследователи считали сильными редуцированные под ударением в первом слоге неодносложного слова. Однако в справедливости данного мнения заставляет усомниться тот факт, что наличие или отсутствие ударения на сильных редуцированных не оставило следов в славянских языках в виде особых рефлексов редуцированных, например, *lžgžkž* > *лѣжок* и *lžgžkž* > *лѣжкий*<sup>23</sup>. Далее, древнерусские памятники письменности, созданные в эпоху общего падения редуцированных и позже, одинаково отражают редуцированные в «трудных» группах согласных вне зависимости от того, находились ли редуцированные под ударением в первом слоге неодносложного слова (*дѣскоу*, *тѣца*) или не под ударением (*дѣщери*, *дѣждить*, *снѣга*, *потѣчени*): и в том и в другом случае обычно употребляются буквы ѣ и ѥ. Достаточно последовательно употребляются буквы ѣ и ѥ в этих памятниках и в односложных словах, редуцированные в которых несли ударение: в союзе *нѣ*, в местоимениях *тѣ*, *сѣ*, *нѣ* и в предложениях *сѣ*, *кѣ* в определенных сочетаниях. Показания древнерусских па-

<sup>20</sup> А. М. Селищев, указ. соч., стр. 285.

<sup>21</sup> Б. М. Ляпунов, Исследование о языке Синодального списка 4-ой Новгородской летописи, «Исследования по русскому языку», II, 2, СПб., 1900, стр. 28, 44, 60, 71; Л. П. Жуковская, К вопросу о конечной стадии истории редуцированных в русском языке (По материалам Галицкого евангелия 1357 г.), «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960, стр. 59—60; О. А. Князевская, К истории русского языка в Северо-Восточной Руси в середине XIV в., «Труды Ин-та языковедения АН СССР», VIII, М., 1957.

<sup>22</sup> С. Б. Бернштейн, указ. соч., стр. 232—233, 249.

<sup>23</sup> Ф. Ф. Фортунатов, указ. соч., стр. 296.

мятников письменности для истории редуцированных в славянских языках важны по двум причинам: во-первых, падение редуцированных гласных в восточнославянских языках имело место позднее, чем в южно- и западнославянских языках, поэтому самые древние восточнославянские памятники отразили состояние редуцированных, близкое к реконструируемому общеславянскому состоянию; во-вторых, сохранилось значительное количество восточнославянских памятников письменности, которые в совокупности отражают основные этапы процесса падения редуцированных в «чистом», не затертом последующими аналогическими выравнениями виде.

Данная работа обобщает материал группы древнерусских памятников, созданных в XII—XIII вв. на южнорусской (украинской) языковой территории. Исследовались в полном объеме Галицкое евангелие 1144 г. (ГИМ, Син. 404), Типографское евангелие № 6 XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 6), Добрилово евангелие 1164 г. (ГБЛ, ф. 256, № 103)<sup>24</sup>, Галицкое евангелие 1266—1301 гг. (ГПБ, Ф. п. 1.64). Были изучены лл. 1—60 Поликарпова евангелия 1307 г. (ГИМ, Син. 740), лл. 1—100 Луцкого евангелия XIV в. (ГБЛ, ф. 256, № 112). По избранной в исследовании методике были обработаны материалы Изборника 1073 г. и Архангельского евангелия 1092 г., изученных М. А. Соколовой и И. Еленски<sup>25</sup>. При интерпретации полученных данных учитывались опубликованные в печати сведения по памятникам, созданным в других восточнославянских и в южнославянских областях.

Условия употребления определенно сильных редуцированных (вокализировались в эпоху общего падения редуцированных), определенно слабых редуцированных (выпали) и редуцированных переходного типа (сохранились в эпоху общего падения редуцированных) описываем преимущественно на материале Добрилово евангелия 1164 г. и Галицкого евангелия 1266—1301 гг.<sup>26</sup> А. А. Шахматов, устанавливая хронологию падения редуцированных в южных говорах древнерусского языка, в значительной мере опирался на примеры, извлеченные из Добрилово евангелия<sup>26</sup>. Галицкое евангелие 1266—1301 гг. представляет особый интерес в связи с тем, что в его орфографии вполне отразились диалектные отличия, восстанавливаемые для южных говоров древнерусского языка в XIII в.

1. Определенно сильные редуцированные и редуцированные переходного типа в односложных словах и в неодносложных словах в позиции перед слогом со слабым редуцированным.

Распределение орфограмм с ъ, ѣ и с о, е в Добрилово евангелии 1164 г. позволяет следующим образом описать условия употребления определенно сильных редуцированных и редуцированных переходного типа (первые вокализовались, вторые — нет) в эпоху общего падения редуцированных. Определенно сильные редуцированные употреблялись в корнях; суффиксах, окончаниях неодносложных слов и в неодносложных предложениях. В этих условиях вокализация отражена последовательно: *вонъ* 15в, 30а,

<sup>24</sup> Отражение редуцированных гласных в Типографском евангелии № 6 XII в. и в Добрилово евангелии 1164 г. описано в статьях: О. В. Малкова, К уточнению времени написания Типографского евангелия № 6 (7), «Восточнославянские языки. Источники для их изучения», М., 1973, стр. 147—171; е е же, К истории редуцированных гласных ѣ и ѣ в южных говорах древнерусского языка, ИАН ОЛЯ. 1966, 3, стр. 240—246; е е же, Редуцированные гласные в Добрилово евангелии 1164 года. Канд. диссерт., М., 1966.

<sup>25</sup> М. А. Соколова, К истории русского языка в XI веке, «Известия по русскому языку и словесности», III, 1, Л., 1930; И. Еленски, Редуцированные гласные в Святославово Изборнике 1073 г., «Годишник на Софийския университет, Филологически факултет», LIV, 1, 1960.

<sup>26</sup> А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 216, 219.

воплъ 104г, дождь 51а,б, тощъ 147а, бисеръ 48а, дверь 245в, жезлъ 96г и т. д., всего написаний с о, е 809, с ъ, ь — 34; жерновъ 70а, крокожь 54б, дѣтскъ 102б, болень 209в, агнецъ 5б, гладомъ 172б, дѣремъ 8г, домохъ 52г и т. д., всего написаний с о, е — 638, с ъ, ь — 5; надо многими 104а, а, надо естъ (естъми) 4б, 8в, в, 81г, 106в, надо дѣри 14а, прѣдо мною 3а, прѣдъ дѣри 177б, ото двою 132г, ото плъти 18в и т. д., всего написаний с о 44, с ъ — 1. Определенно сильные редуцированные употреблялись также в односложных предлогах в позиции перед корнями слов, где редуцированные исчезли рано, до начала общего падения редуцированных или в ходе общего падения редуцированных (преимущественно это корни слов, где предполагают раннюю утрату редуцированных, обозначим их условно А, АБ): во мнѣ 33г, г, 34б, 35в, ко мнѣ 15б, в, 18а,в, со мною 21в, 37г, 38б, 5бв, во мнозѣ 160г, г, во естѣхъ 33а, 122в, 134а, со естѣмъ 185в, въ книгахъ 9в, 150а, 166б, со книжники 238г, во дѣвѣ 97а, со дѣтма 173г, въ что 133г, къ зѣвавшему 138а, 156а, во снѣ 231г, 252а, во днѣ 103а, 109а и т. д., всего написаний с о 104, с ъ — 40.

Переходного типа редуцированные употреблялись в следующих классах слов:

а) В союзе нѣ, в односложных местоимениях тѣ, сѣ, нѣ, в односложных предлогах въ, сѣ, къ, если за ними следовали корни слов, где падение слабых редуцированных задерживалось (обозначим их условно Б). Союз нѣ передается орфограммой но только 9 раз: но что 52г, 116б, но спитъ 62г, 93г, 133в, но въ чрѣво 101г, но имъ же 73а, 193г, но спѣтъ 123б. Орфограмма нѣ использована 258 раз: нѣ чѣтоу 24г, нѣ что 116а, нѣ рѣчи 124в, нѣ быше 168г, нѣ въскрѣшу 15в, нѣ сътвориша 68б, нѣ съкончатъ 250б, нѣ аще, нѣ избаги и т. д. Местоимение тѣ отражено орфограммой то 8 раз: днѣ то 5в, 179г, рабъ то 83б, 134в, 149а, члѣкъ то 174г, дѣхъ... иже ѡца исходить, то съвѣдѣтельствуеъ 222г, то писа 12в. Орфограмма тѣ использована 142 раза: рабъ тѣ 81г, 81г, 82а, 83а, 134в, 207а, единъ тѣ 13б, оученикъ тѣ 39б, домъ тѣ 88а, члѣкъ тѣ 215г, црѣ тѣ 95б, дѣтищъ тѣ 70а, 77в, тѣ въземъ 77б, тѣ съвѣдѣтельствоа 12б, 17а, тѣ въскрсе 63б, тѣ възведъ 112в, тѣ възгляшъ 125а, тѣ мнѣ 17г, 211г, 259а, тѣ сътворитъ 36а, тѣ исповѣда 3б, тѣ оклеветанъ 139г, тѣ оумре 149в, тѣ бо иродъ 63б, 269а, зми тѣ рабъ 207а, тѣ же иоанъ 256а, во тѣ днѣ 34б, 77б, 224а, во тѣ ча 50а, 105г, 169б, въ тѣ днѣ 17г, 37б, 37в, 46г, 112г, 124а, 185б, въ тѣ частъ 55в, 115г, 132б, 147в и т. д. Въ дѣри, со слъзами, всего перед корнями группы Б написаний с о 40, с ъ — 90. Употребление редуцированных гласных переходного типа в односложных словах легко интерпретируется как языковое явление. Здесь положение редуцированного не отвечало тем условиям, которыми создавалось различие между слабыми и сильными редуцированными: в слове был только один гласный. Изменение фонетической длины слова в контексте при энклизе и проклизе не обеспечивало редуцированным стабильных условий для продления.

б) Переходного типа редуцированные употреблялись часто в словах, содержавших односложные приставки въ-, сѣ-, въз-. Здесь проявление редуцированных отражено весьма непосредственно (приблизительно в одной четвертой части имеющихся написаний): въдѣхнуоуѣ 153б, 191в, въсылавшю 14а, 57г, 241б, възлыа 171а, возьмѣтъ 37б, 54б, возъва 48б, 133в, возрѣвше 14а, воскрсе 133в, съжъжетъ 258б, съгноуѣ 108в, съкрѣвѣна 61а, созда 199в, съзва 185б, всего написаний с о 60, с ъ — 190. Для отражения слабых редуцированных в односложных приставках также характерен значительный консерватизм. Употребление редуцированных

гласных переходного типа в односложных приставках также просто интерпретировать как языковое явление. Приставки в славянских языках легко вычлениаются языковым сознанием говорящих как отдельные единицы, что обусловлено высокой частотой их употребления и наличием параллельных однокоренных бесприставочных образований и образованных с различными приставками. В таких условиях морфемный шов отчетливо осознается. Это могло нарушать нормальное чередование сильных и слабых редуцированных в словах с приставками. На реализации редуцированных в односложных приставках могла сказываться еще тенденция сохранить неизменным начало слова как наиболее важную для его опознания часть. Утрате слабых редуцированных в односложных приставках могла препятствовать и тенденция не укорачивать до одного согласного морфему—носителя существенной лексико-грамматической информации. Наблюдения над языками различных типов свидетельствуют, что наиболее продуктивные и выделяемые морфемы обычно характеризуются не меньшей длиной, чем один слог<sup>27</sup>.

Галицкое евангелие 1266—1301 гг. отражает языковое состояние приблизительно через полтора века после общего падения редуцированных. Как и в Добриловом евангелии 1164 г., определенно сильные редуцированные в корнях, суффиксах, окончаниях неодносложных слов и в двухсложных предлогах обычно передаются буквами *o*, *e*: написаний с *o*, *e* в корнях слов (*золъ, ложь, день*) 844, с *ъ, ь* — 20, написаний с *o*, *e* в суффиксах и окончаниях (*жерновъ, людехъ*) около 500, с *ъ, ь* — 14, написаний с *o* в двухсложных предлогах (*надо многыми, ото плъти*) 24, с *ъ* — 6. Значительно реже, чем в Добриловом евангелии 1164 г., передаются буквами *ъ* и *ь* редуцированные переходного типа. Для союза *нъ* характерно варьирование *нъ* — *но* во всех позициях (*но створиша* 44г, *нъ въскршию* 10а, *но боллци* 38в, *нъ боллци* 73в, *но приидеть* 7а, *нъ приидеть* 7а, *но азъ* 17г, *нъ азъ* 10в, всего написаний с *o* 179, с *ъ* — 97. Односложные предлоги в позиции перед слогом с выпавшим слабым редуцированным чаще пишутся с *o* (*во свѣдѣные, во сборище, во свѣдѣтельство* 34б, 124а, 54б, 68б), всего написаний с *o* 205, с *ъ* — 74. Чаще пишутся с *o* и односложные приставки в позиции перед слогом с утраченным редуцированным (*воиъзи* 140а, *сожьжетъ* 161в, *воиъзи* 50а, *воиъзи* 85г), всего написаний с *o* 135, с *ъ* — 116. Таким образом, в течение второй половины XII в. и первой половины XIII в. шло замещение редуцированных переходного типа гласными полного образования.

2. Определенно слабые редуцированные и редуцированные переходного типа в неодносложных словах в позиции перед слогом с гласным полного образования.

В Добриловом евангелии 1164 г. имеется свыше 3400 орфограмм, отражающих корни слов, в которых были редуцированные гласные в позиции перед слогом с гласным полного образования. В Галицком евангелии таких орфограмм свыше 3600 (в расчет нами не принимались случаи употребления букв *ъ* и *ь* на переносе: *къ/то, мъ/ноу*), приблизительно столько же написаний имеется и в других исследованных рукописях. Во всех изученных рукописях корни неодносложных слов приблизительно одинаково распределяются на два класса по употреблению и пропуску в них букв редуцированных гласных. В одном классе (группа А, АБ) буквы редуцированных не пишутся или пишутся непоследовательно, в другом классе (группа В) буквы редуцированных сохраняются достаточно последовательно. В группу А, АБ вошли корни слов: *гън-*, *дъз-*, *зъз-*,

<sup>27</sup> S. O h l a n d e r, Phonology, meaning, morphology. On the role of semantic and phonological analysis, Goteborg, 1976.

зѣл-, кѣниг-, кѣнаа-, кѣде, мѣног-, мѣнѣ, мѣною, кѣтищ-, съл-, сън-, съп-, сът-, тѣкъмо, въс-, доиѣдеже, зѣд-, зѣр-, мѣн- (мѣню), мѣр-, пѣс- (пѣси), пѣш-, сѣде, -чѣн- (начѣни), что-, -ѣм-. Пропуски букв редуцированных в этих корнях слов наблюдаются в древнерусских рукописях XI в. Они пишутся без ѣ, ѣ в Галицком евангелии 1144 г. и в Типографском евангелии XII в., которые отражают языковое состояние, предшествующее общему падению редуцированных. Корни слов группы Б, где имела место «задержка» редуцированных, могут быть частично классифицированы с учетом сопутствующих редуцированному согласных. В перечне написаний ниже используются сокращенные названия рукописей: ДЕ — Добрилово евангелие 1164 г., ГЕ — Галицкое евангелие 1266 — 1301 гг., ПЕ — Поликарпово евангелие 1307 г., ЛЕ — Луцкое евангелие XIV в. Приводятся также написания 1-й Новгородской летописи по Синодальному списку, созданной в XIII—XIV вв.<sup>28</sup>, так как в этом памятнике выдержанно употребляются буквы ѣ и ѣ приблизительно в том же круге корней слов. Напомним, что падение редуцированных в Северной Руси осуществлялось приблизительно на один век позднее, чем в Юго-Западной Руси. Цифры 1, 2, 3 в скобках после сокращенного названия летописи обозначают части рукописи, написанные первым, вторым, третьим писцами, например, Новг. I лет. (1) — часть рукописи, написанная первым писцом.

1. Весьма многочисленную группу образуют корни слов, где редуцированному сопутствуют три-четыре согласных или два согласных, один из которых аффриката. В рукописях имеются следующие орфограммы. Корень *дѣжд-* (*дѣжж-*): в ДЕ *дѣждити* 45а, *дѣжди* 142б, в ГЕ *дѣждити* 29в, *дѣжжи* 88в, в ПЕ *дѣждити* 21в, в ЛЕ *дѣжжит* 45в, в Новг. I лет. (1) *дѣжжѣ*, -*емѣ*, -*ждѣа* 45, 46, 49, 63... 5 раз, в Новг. I лет. (2) *дѣжжѣ*, *дѣжжѣо* 210, 125, в Новг. I лет. (3) *дѣждѣе* 250, *дѣждѣе* 263. Корень *дѣск-* (*дѣщ-*): в ДЕ *дѣски* (вин. мн.) 7в, 73б, *дѣскоу* 247г, *дѣскѣ/коу* 248а, *дѣщицу* 265в, в ГЕ *дѣски* 4в, 47г, *дѣщицу* 166б, в ПЕ *дѣски* 36г, в ЛЕ *дѣски* 74в, в Новг. I лет. (2) *дѣщкѣ* 149, *на дѣщкѣхѣ* 148, *дѣски* 197. Корень *дѣщ-* (*дѣч-*): в ДЕ *дѣщи* (вин. ед.) 62б, 63в... 14 раз, *дѣщере* (род. ед.) 102б, *дѣщери* (дат. ед.) 196г, 269б, *дѣщери* 45б, 50г, 65в, 145а, *дѣщери* (им. мн.) 186а, в конце строки *дѣщ/ци* 62б, *дѣщери* 264б. С о 1 раз *из/дѣщери* 102б. В ГЕ *дѣщи* 41а... 16 раз в строке и 2 раза на переносе, *дѣщи* 40г, *дѣщирь* 29г... 4 раза в строке и 1 раз на переносе, *дѣщирь* 33в, *изъ дѣщере* 64г, *изъ дѣщере* 65а, *дѣщери сисни* 121в, *дѣщери* 115б, ѿ *дѣщери* (<и>). В ПЕ *дѣщи* 31а, а, 47б, *дѣщирь* 21г, 24г, *дѣщирь* 32г, *дѣщере* 51в, г, *дѣщи* 47а, 48в, 51в, 53б, 53в, в ЛЕ *дѣщи* 95г, *дѣщи*, *дѣщери* 46б, 52а, 63г, 65а, 93в. В Новг. I лет. (1) *дѣщи*, *дѣщери* 15, 79, 98, 117, в Новг. I лет. (2) *дѣщери* 163, *дѣщери* 227, *дѣщери* 172, в Новг. I лет. (3) *дѣщи* 24б, *дѣщери* 251. Корень *дѣхн-* (*дѣш-*): в ДЕ *дѣхнѣноуѣ* 191в, *дѣхнѣноуѣ* 153б, *издѣше* 179а, 186в, 235а, *издѣше* 179а, в ГЕ *дѣхнѣноуѣ* 118в, *дѣхнѣноуѣ* (описка, должно быть) 95в, *издѣше* 110в, в, *изъ/дѣше* 145в, в Новг. I лет. (2) *издѣхша* 174. Корень *дѣхн-* (*дѣш-*): в ДЕ *дѣхнѣ* 135б, *дѣхнѣ* 135б, в ГЕ *дѣхнѣ* 84б, *дѣхнѣ/хоу* 84б. Корень *дѣхн-* (*дѣш-*): в ДЕ *дѣхнѣ* 58а, 73г, г, 75а, б, 95г, *дѣхнѣ* 36а, *дѣхнѣ* 221в, *дѣхнѣ* 89а, 162г, 198г, *дѣхнѣ* 120г, 198в, в ГЕ *дѣхнѣ* 24а, 38а, *дѣхнѣ* 47г, 48а, г, 108в, 122в, *дѣхнѣ* 61а, *дѣхнѣ* 136г, в ПЕ *дѣхнѣ*... с ѣ 5 раз, без ѣ 2 раза — *дѣхнѣ*, *дѣхнѣ* (упрощение группы согласных). в ЛЕ *дѣхнѣ* 37б, *дѣхнѣ* 52б, 75а, 76б. Корень *дѣкн-* (*дѣк-*): в ДЕ *дѣкнѣ* 76в, 157б, *дѣкнѣтѣса* 194в, в, *дѣкнѣтѣса* 108а, *дѣкнѣтѣса* 114в, в ГЕ *дѣкнѣтѣса* 68а, 162б, *дѣкнѣтѣса* 120б, б. В ПЕ корень 1 раз написан с ѣ и 1 раз без ѣ. Ср. в ЛЕ *дѣкнѣтѣса* 18а.

<sup>28</sup> Б. М. Ляпунов, указ. соч.

Слово *притѣча*: в ДЕ *притѣча* и др. формы 37г, 57г... 58 раз в строке и 12 раз на переносе, в ГЕ *притѣчю* 17в, 25а... 62 раза в строке и 3 раза на переносе, 3 раза без ѣ: 38б, 40а, а. В ПЕ с ѣ слово написано 2 раза и 39 раз без ѣ. В ЛЕ с ѣ слово написано 5 раз и 30 раз без ѣ. Корень *тъщ-*: в ДЕ *потѣщиса* 165а, б... 6 раз, в ГЕ *потѣщавьса* 102а, а, со *тъщаныемъ* 150г, 168г, *отѣщити* 44в, 76б, 118б. Корень *дѣбр-*: в ДЕ *дѣбри* 78в, в ГЕ *дѣбри* 50г, в ЛЕ *дѣбри* 79б. Корень *жѣзл-*: в ДЕ *жѣзла* 49б, *жѣзла* 132б, в ГЕ *жезла* 32в, *жезѣла* 82в, в ПЕ *жезла* — 1 раз. Корень *оцѣт-*: в ДЕ *оцѣта* 179а, 234а, 235в, в, 239а, *оцѣтано* 232, *оцѣта* 235в, в ГЕ *оцѣта* 110в, 144г, 145г, 148в, *оцѣта* 145г. Корень *стъгн-*: в ДЕ *стъгны* 149а, *стегнахъ* 53б, 152в, 187б, *стегнахъ* 187в, в ГЕ *стъгнахъ* 35а, *стъгны* 92г, *стъгнахъ* 116а, в ЛЕ *стъгнахъ* 54в, ср. в Изборнике 1073 г. на *стеги* 1 раз и 5 раз с ѣ<sup>29</sup>. Корень *ствъ-*: в ДЕ *ствъа* 256а, г, 257в, в ГЕ *ствъа* 160б, г, 161а. Корень *ствкл-*: в ДЕ *ствкланицы* 79а, б, 130а, 205б, *ствкланицю* 171а, а, 197в, 212а, *ствкланицы* 205б, в ГЕ *ствкланицы* 51б... 8 раз, *ствкланица* 81б, *ствкланицы* 51а, 126б, б, в ПЕ *ствкланицы* 39г, г, в ЛЕ *ствкланицы* 79г, *ствкланицы* 80а. В Новг. I лет (2) *ствкломъ* 142, в Новг. I лет. (3) *ствкланицю* 260. Корень *тъщ-*: в ДЕ *тъща* 85а, 110в, *тещю* 54г, в ГЕ *теща* 54в, 69в, *тещю* 36а, в ПЕ *тещюу* 27а, *теща* 42г, 55б, в ЛЕ *тещю* 56а, *теща* 85б, в Новг. I лет. *тъщюу* 33. Корень *чѣст-*: в ДЕ *чѣстенъ* 63б, 96в, 124б, *чѣстивъ* 260в, *чѣстоуетъ* 64б, *чѣствоваеши* 147а, в ГЕ не *чѣстоуетъ* 42б, 91в, *бѣсѣ чѣсти* 41в, *бѣ чѣсти* 61б, *блѣгочѣстивъ* 163а, *блѣчѣстивъ* 19г, в ПЕ *блѣгочѣстивъ* 15в, *бѣсѣ чѣсти* 31в, *бѣсѣ чѣсти* 48в, в ЛЕ *бѣсѣстенъ* 64г, *чѣстоуетъ* 66а, *бѣ чѣсти* 96а. В Новг. I лет. (2) *блѣгочѣстивыи* 179, *обѣсѣствовали* 207, в Новг. I лет (3) *бѣсѣствовали* 297. Корень *лъст-* (*лъщ-*): в ДЕ *лъсти* 6а, *лъстець* 236г, *лъстити* 19б, *прѣлъщаетеса*... всего 13 раз в строке и 8 раз на переносе, в ГЕ *лъсти*, *облѣстити*... 16 раз в строке и 2 раза на переносе, *прѣлъщивые* 105а, 125а, в ПЕ 7 раз с ѣ, в ЛЕ 8 раз с ѣ. Корень *мъзд-*: в ДЕ *мъздоу* 23г, 43а... 14 раз в строке и 2 раза на переносе. В ГЕ *мъздоу* 15г, *мъзда* 28б... 13 раз в строке и 1 раз на переносе, в ПЕ с ѣ 1 раз и 8 раз с ѣ, *мъзда* 12б, 20 в и т. д., в ЛЕ *мъзда* 23г, 43г, 67б, 67в, 73б, *мъздоу* 46а, *мъздоу* 67в. Корень *мъст-*: в ДЕ *мъсти* 168в, *мъщю* 168б, *мъститса* 131а, *мъсти* 168б, *мъщениа* 151а, в ГЕ *мъститса*, *мъщѣнью*, *мъсти* 81г, 94а, 104а, а, всего 5 раз. Корень *ствл-*: в ДЕ *постъланю* 174б, 181а, 213а, в ГЕ *постъланю* 112б, *постъланю* 131а, в ПЕ и в ЛЕ не встретился (речь идет о первых половинах рукописей).

В предлогах, приставках, суффиксах и окончаниях буквы ѣ и ѣ на месте редуцированных в группах из трех-четырех согласных обычно сохраняются на письме. В ГЕ: *сѣ братомъ* 28в, *сѣ другоу* 107а, *сѣблюде* 6б, *кѣ другоу* 58г, *кѣ своимъ* 59в, *праздъни* 46г, *бѣсѣстѣна* 101б, *польскаго* 34б, *морскомоу* 74в, *множество* 11а, *сластѣми* 75г и т. д., примеры многочисленны.

2. Примеры, где редуцированный находился между одинаковыми согласными в корнях слов, единичны: в ДЕ *сѣсоущихъ* 197б, *сѣсоущаа* 254в, *сѣсалъ* 246г, в ГЕ *сѣсалъ* 151в, 159а, *сѣсоущихъ* (так в рукоп.) 121г. В ДЕ *вѣсъжъжени* 167а, *сѣжъжетъ* 258б, *закъже* 95б, в ГЕ *закъже* 60в, *сожъжетъ* 161в. Много таких примеров в предлогах, приставках, суффиксах. В ГЕ: *сѣ села* 101г, *сѣсоуды* 40в, *кѣ копачемъ* 84г, *истиньныи* 9г, *безаконьныи* 113а.

3. Корней слов, где [ъ] находился в позиции после [в] перед согласным в начале слова, также немного (*вѣнъ*, *вѣдова*, *вѣторыи*), но это сочетание звуков содержали предлог *въ* и приставки *въ-*, *въз-*, которые встре-

<sup>29</sup> И. Еленски, указ. соч., стр. 641.

чаются часто. В изученных рукописях сочетание [вѣ] обычно передается буквами *въ*, реже *оу*, в ГЕ орфограмма *ѣъ* использована свыше двух с половиной тысяч раз.

4. Помимо корней слов, перечисленных в трех предшествующих группах, последовательно употребляются буквы *ѣ* и *ѡ* в следующих корнях слов. Корень *бѣд-*: в ДЕ *бѣдите* 103б... 17 раз в строке и 6 раз на переносе, в ГЕ *бѣдите* 52в... 22 раза и 4 раза на переносе, *побѣдѣти* 108б. Корень *лѡбѣз-* (*лѡбѣж-*): в ДЕ *лѡбѣжю* 176а, 217а, *лѡбѣза* 176а, *лѡбѣзаньемъ* 183б, *лѡбѣжю* 183б, *лѡбѣза* 183а, в ГЕ *лѡбѣзаньа*, *лѡбѣза* 74а, 108г, г, *лѡбѣзаньемъ* 113в, *лѡбѣжю* 113в, 134а, *лѡбѣзатѣ* 113в. Корень *лѣж-*: в ДЕ *лѣжю* 24в... 19 раз в строке и 3 раза на переносе, в ГЕ *лѣжю*, *лѣжюще* 16а... 21 раз, *лѣжитѣ* 30в, 134в. Корень *мѡв-*: в ДЕ *оумѡвенама* 100б, *оумѡвенами* 100в, г, *цамовении* 215а, в ГЕ *неоумѡвенама* 63в (*ѣ* по *ѡ*), 63г, 64а, *неоумѡвенами* 42г, *измѡвѡвении* 132г. Корень *бисѣр-*: в ДЕ *бисѣра* 61в, в ГЕ *бисѣра* 153б. Слово *ковѣчегъ*: в ДЕ *ковѣчегъ* 142б, 197б, 206в, в ГЕ *ковѣчегъ* 88в, 122а, 127а. Слово *польза*: в ДЕ *польза* 30в, 122а, 210а, 18в, *польза* 191а, в ГЕ *польза* 12а, 20б, 76б, 118б, 129б. Основа *оупѡва-* в обеих рукописях пишется только с *о*: в ДЕ *оупѡвасте* 12в... 7 раз, в ГЕ *оупѡвасте* 62б... 6 раз и *ѡвѡвасте* 8а.

Написаний, отражающих позицию редуцированных в первом слоге неодносложного слова под ударением, в рукописях немного. Мы привели их в общем списке корней слов группы Б, где наблюдалась «задержка» слабых редуцированных. В качестве типичных примеров позиции редуцированного под ударением чаще всего приводят формы вин. ед. и вин. мн. *дѣски*, *дѣскоу* и формы слова *тыца*. В Добриловом евангелии 1164 г. эти формы написаны 6 раз с *ѣ*, *ѡ* и 1 раз с *е* *тецю*, в то время как перед слогом со слабым редуцированным в 95% случаев в соответствии с [ѣ], [ѡ] пишутся *о* и *е*. В Галицком евангелии 1266—1301 гг., в Поликарповом евангелии 1307 г., в Луцком евангелии XIV в. всегда пишется с *ѣ* форма *дѣски*, а формы слова *теца* пишутся с *е*.

Чтобы описанные данные памятников письменности были убедительными, следует изложить основания, по которым отражение редуцированных в орфографии рукописей считается соответствующим языковому состоянию. Прежде всего следует отметить, что орфография привлеченных к исследованию южнорусских рукописей XI—XIII вв. отразила падение редуцированных как единый поступательный процесс. Если расположить материалы этих памятников в хронологическом порядке, можно наблюдать ряд последовательных этапов в процессе падения редуцированных, на каждом из них часть фонемного класса редуцированных исчезает или передвигается в класс гласных полного образования. Объем передвинувшейся или исчезнувшей части редуцированных каждый раз можно описать в терминах фонетических. В пользу адекватности отражения письмом рукописей состояния редуцированных в языке писцов свидетельствует также то обстоятельство, что в употреблении и пропусках букв гласных в соответствии с редуцированными отчетливо прослеживаются типично языковые закономерности. Рассмотрим некоторые из них. Регулярное развитие сильных редуцированных засвидетельствовано рукописями внутри всех неодносложных (бесприставочных) слов. Регулярное развитие слабых редуцированных засвидетельствовано в корнях неодносложных слов, если утраче редуцированных не препятствовала сопутствующая группа согласных. «Аномалии» в развитии сильных и слабых редуцированных отражены в особых фонетико-морфологических условиях: в односложных приставках, в односложных словах *нѣ*, *тѣ*, *сѣ*, *нѣ*, в начале корней слов в сложных группах согласных, прежде всего в таких, где с ослаблением и дальнейшей утратой редуцированных должны были начаться

ассимиляционные процессы, существенно изменяющие звуковой облик слова. Таким образом, «аномалии» в развитии редуцированных наблюдаются на границах морфем и слов, где действие фонетических закономерностей осложняется «возмущающим» воздействием лексико-грамматического уровня языка, потребностями выражения лексических и лексико-грамматических значений отдельными языковыми единицами достаточно стабильного фонемного состава. В целом орфографическая картина отражения редуцированных соответствует закономерности, наблюдаемой в языках, типологически весьма далеких друг от друга: на границах морфем и слов наблюдаются такие фонетические процессы, которые не наблюдаются внутри морфем и простых слов. Это объясняют тем, что внутри морфем и простых слов комплексы звуков каждый раз воспроизводятся как готовые, здесь фонетические тенденции действуют в чистом виде, в то время как на стыках слов и морфем комбинации звуков не являются заданными, изменения звуков определяются не только фонетическими факторами<sup>30</sup>.

Далее, в Добриловом евангелии 1164 г. зафиксировано параллельное развитие редуцированных в структурно однородных классах слов: задержка проявления сильных редуцированных отражена в односложных словах (в союзе *нъ*, в местоимениях *тѣ*, *сѣ*, *нѣ*, в односложных предложениях *ѣ*, *сѣ*, *кѣ*), в то время как в неодносложных словах проявление редуцированных отражено последовательно. Аналогичное явление наблюдается и в развитии нового [t]: в отрицании новый [ʦ] отражается несколько реже, чем внутри слов, кроме того, имеется еще и различие в условиях появления нового [ʦ]: внутри неодносложных слов новый [ʦ] употребляется только перед слогом со слабыми [ъ] или [і] (*рожьньи* 96в, *сѣмъньи* 90б, *сѣдмъ* 74а, *пѣщъ* 61б, *кажѣнь* 14а, *сѣльнаго* 52а), а в отрицании новый [ʦ] употребляется и перед слогом со слабым [ъ] (*нѣ смѣлоу* 150а, *нѣ въприсѣ* 37б, *нѣмно* 221а, *нѣ чьстоуеть* 64б, *нѣ пытѣса* 45г).

Далее, в Добриловом евангелии 1164 г. и в Галицком евангелии 1266—1301 гг. некоторые фонетические явления отражены двумя независимыми рядами орфографических явлений. Приведем примеры. В Добриловом евангелии 1164 г. утрата слабых редуцированных в корнях группы А, АБ отразилась в пропусках букв *ѣ* и *ь* на письме, а сохранение редуцированных в корнях группы Б отразилось в выдержанном употреблении букв *ѣ* и *ь*. Но не только в этом. Вокализация редуцированных в односложных предложениях перед корнями группы А, АБ отражается достаточно последовательно, а перед корнями группы Б, перед приставками *сѣ*-, *ѣ*-, *ѣ*з- — редко. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. корни группы А, АБ тоже обычно пишутся без букв редуцированных. Кроме того, в корнях группы А, АБ наблюдается смешение букв *ѣ* и *ь*: *кѣ/нижнѣ* 28в, *пѣщѣ* 82б, *дѣлѣ* 33б, *посѣлю* 160в-г, *нѣсомѣ* 65а и др. В корнях группы Б смешение букв *ѣ* и *ь* практически отсутствует.

Изложенные факты позволяют считать, что в употреблении и пропусках букв гласных в соответствии с редуцированными в изученных рукописях отражено языковое состояние, реальный ход процесса падения редуцированных.

Итак, соображения теоретического характера, определенные факты из истории славянских языков и свидетельства южнославянских и восточнославянских памятников письменности позволяют предположить, что в древних славянских языках не существовало четкого деления редуцированных гласных на сильные и слабые, что различие между ними носило градуальный характер. В эпоху общего падения редуцированных славян-

<sup>30</sup> В. М. Солнцева, указ. соч., стр. 270—274.

ские языки утратили только определенно сильные редуцированные (развились в гласные полного образования) и определенно слабые редуцированные (выпали). Редуцированные переходного типа падением охвачены не были. Позднее они постепенно устранялись преимущественно через замещение гласными полного образования, поэтому не всегда это были те гласные, в которые развились сильные редуцированные.

Слависты относят дифференциацию редуцированных на сильные и слабые к доисторической эпохе. И. В. Ягич по этому поводу писал: «Если бы основателям древнеславянской письменности пришлось прислушиваться к древнейшему произношению слова „сънъ“ у предков нынешних русских славян, в течение IX—X века, я убежден, они не остановились бы на правописании „сънъ“, а придумали бы разницу между первым и вторым ъ». И. В. Ягич считал, что «...полное равенство обеих гласных в слове „сънъ“ заходит далеко за пределы исторического существования отдельных славянских наречий»<sup>31</sup>. Реальным свидетельством существенного различия между слабыми и сильными редуцированными еще в праславянском языке является потеря слабыми редуцированными ударения, перенос его на соседние гласные полного образования или сильные редуцированные, о чем мы уже говорили. Далее, совпадение сильных редуцированных с гласными полного образования и утрата слабых редуцированных были подготовлены задолго до падения редуцированных, всей их предшествующей историей. Об этом свидетельствует единство и одновременность полученных рефлексов, что отражено памятниками письменности. Для восточнославянских языков имеем в виду показания Добрилова евангелия 1164 г. Добрилово евангелие — наиболее древний памятник, отразивший общее падение редуцированных. В Добриловом евангелии 1164 г. употребление *o*, *e* в соответствии с сильными редуцированными составляет соответственно в сочетаниях на плавный (*торжища*, *верха*) — 100% (общее количество 654 написания), в сочетаниях на редуцированный (*кровь*, *трость*) — 98% (всего 60 написаний), в корнях слов не в сочетании с плавными (*вонъ*, *воплъ*) — 95% (всего 843 написания), в суффиксах и окончаниях (*боленъ*, *домомъ*) — 99% (всего 643 написания). Такое единство рефлексов может быть только результатом длительного развития. Далее, старославянские и древнерусские рукописи засвидетельствовали регулярное и нерегулярное развитие слабых редуцированных («задержку») в сходных фонетических условиях. Поэтому есть основания думать, что «третье», переходное состояние редуцированных было не менее древним, чем их сильное и слабое состояние. Во всяком случае в формах *дѣскоу*, *сѣхноути* и т. п. переходного типа редуцированные существовали еще в праславянском языке, когда имела место передвижка ударения со слабых редуцированных. В связи со сказанным встает вопрос: не представлено ли в переходных редуцированных сохранение древнейшего типа произношения редуцированных, существовавшего до их распределения на сильные и слабые и сохраненного в особых фонетико-морфологических условиях вплоть до XII—XIII вв., до эпохи общего падения редуцированных?

<sup>31</sup> И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889, стр. 31.

МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

## К ВОПРОСУ О НОМИНАЦИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ

Языковая номинация как проблема множественности обозначения в настоящее время активно исследуется в отечественной лингвистике в русле вопросов, относящихся к общему языкознанию, и в аспекте интерпретации явлений, характеризующих современный русский язык<sup>1</sup>. Различные типы номинаций рассматриваются также в соотношении с теми ситуациями, которые создаются лингвистическими и экстралингвистическими факторами и реализуются в речи. Здесь множественность обозначений выступает как проявление вариативных языковых средств, использование которых регулируется как объективным фактором действительности, так и индивидуальным фактором оценки обозначаемого<sup>2</sup>. Уровень речи выдвигает на первый план категории объекта и предиката, обозначения которых воплощаются в тексте. Н. Д. Арутюнова пишет: «Возможность по-разному именовывать один и тот же объект проистекает из возможности по-разному его обозначить, являющейся следствием множественности суждений, которые могут быть вынесены об одном объекте (лице или предмете), ибо имена и именные выражения, называющие объект, создаются на основе предикатов, истинных (или принимаемых за истинные) относительно данного объекта. Потенциальная вариативность речевых номинаций одного объекта согласуется с множественностью обслуживающих его в тексте предикатов. Она особенно велика по отношению к объекту-лицу в силу его природной и социальной многогранности, а также в силу его способности к действию и деятельности»<sup>3</sup>.

В составе определенного конкретного текста могут быть выделены номинации, — различающиеся по своему синтаксическому «статусу в пределах предложения»<sup>4</sup> и неадекватные по своему составу<sup>5</sup>, — объеди-

<sup>1</sup> Наиболее значительными работами последних лет в этой области являются коллективные монографии: «Языковая номинация. Общие вопросы», М., 1977; «Языковая номинация (Виды наименований)», М., 1977.

<sup>2</sup> Ср. мнение Д. Н. Шмелева: «... об одном и том же человеке можно сказать, назвав его по имени или же обозначив по должности, по профессии, по каким-то внешним признакам или внутренним качествам, по его взаимоотношению с кем-то или чем-то и т. д. Появляю, что в ряде случаев выбор признака, по которому обозначается данное лицо, отражает уже сам по себе отношение к нему говорящего» (Д. Н. Ш м е л е в, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 141).

<sup>3</sup> Н. Д. А р у т ю н о в а, Номинация и текст, в кн.: «Языковая номинация (Виды наименований)», стр. 307—308.

<sup>4</sup> В. Г. Г а к пишет: «... смысловой субъект (лицо или предмет, о котором идет речь) может получать выражение прямое (в форме подлежащего), косвенное (в форме дополнения или обстоятельства, так называемый деми-субъект) или же нулевое (быть опущенным)» (В. Г. Г а к, Повторная номинация на уровне предложения, сб.: «Синтаксис текста», М., 1979, стр. 92).

<sup>5</sup> Так, М. Ф. Федорова выделяет «... три основных типа номинации: 1) однословные, или монолексемные, 2) комплексные с разграничением в их составе биарных (из двух знаменательных слов) и собственно комплексных (из большего числа слов), 3) описательные» (М. Ф. Ф е д о р о в а, О типах номинации в русском языке, ВЯ, 1979, 3, стр. 132).

ненные лишь признаком отнесенности к одному и тому же объекту. Очевидно, что в текстах разных типов, отражающих различные функциональные разновидности русского литературного языка, сам характер номинации, пределы ее возможного варьирования, ее лексическое выражение имеют существенные отличия. В то же время признак множественности обозначения в границах текста допустимо рассматривать в связи со всей организацией данного текста и анализировать с точки зрения отражения и отображения ситуаций содержания.

По-видимому, данный подход возможен в исследованиях на материале текстов современного русского языка и на материале памятников древнерусского языка. Это позволяет не только проследить ряд явлений в области древнерусской номинации, но и сопоставить их с процессами, актуальными для современного состояния русского языка.

В предлагаемой статье анализ проводится на материале Жития Феодосия Печерского (далее ЖФП). Выбор текста объясняется следующими причинами: 1) названный памятник — одно из древнейших древнерусских оригинальных произведений, воплощающее в себе наиболее характерные черты определенного жанра — житий, т. е. того жанра, который бесспорно отражает древнерусский литературный язык в его книжно-письменной манифестации<sup>6</sup>; 2) точность хронологической отнесенности и авторской принадлежности произведения, создателем которого является Нестор, позволяет избежать ошибочности в толковании тех или иных языковых фактов как позднейших наслоений или редакторских правок.

В отечественной филологии ЖФП неоднократно привлекало к себе внимание виднейших ученых. Так, А. А. Шахматовым было установлено несомненное сходство данного памятника с житием Саввы Освященного (Преосвященного) и сделано предположение о причинах, по которым Нестор обратился к творению Кирилла Скифопольского: «По-видимому, есть возможность предположить, что автор Жития Феодосия, занимавшийся также вопросами о начале Печерского монастыря, заинтересовался перед началом своего труда Житием Савы по причине, делавшей это Житие особенно ценным в глазах инок Печерского. Сава Преосвященный в числе прочих обитателей основал пещерный (также пещерьскыи по сп. его Жития XIII в.) монастырь, своим названием напоминавший Нестору о собственной, дорогой для его сердца, обители»<sup>7</sup>.

Наблюдения А. А. Шахматова основаны на сопоставлении многочисленных и близких по смыслу контекстов из обоих житий. Интересно, что в целом ряде случаев сходство контекстов устанавливается в пределах номинаций объекта (в одном памятнике — Феодосия Печерского, в другом — Саввы Освященного). В качестве иллюстрации приведем некоторые параллели:

Житие Феодосия

1. Бод̄хновеныи же феодосии отвѣща  
ему с умнленемь
2. блженааго оца нашего феодосии  
игумньмь себе нарекоша
3. о единомь блаженѣмь оци феодосии  
словеси поиду

Житие Саввы

1. блженыи же отвѣща сава
2. а ст̄и сава старѣишина бяше и за-  
конодавьць всему
3. о единомь оци напемь савѣ словеси  
поиду

<sup>6</sup> В. П. Адрианова-Перетц характеризует избранный памятник как «классический образец житийного жанра начала XII в.». См.: В. П. Адрианова-Перетц, Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси, сб. «Актуальные задачи изучения русской литературы XI—XVII веков», ТОДРЛ, XX, М.—Л., 1964, стр. 46.

<sup>7</sup> А. А. Шахматов, Несколько слов о Несторовом Житии Феодосия, ИОРЯС, I, 4, СПб., 1896, стр. 65.

4. бѣше бо по истинѣ чловѣкъ бпн.  
свѣтило въ вѣсьмь мирѣ видимое]

4. бѣста же по истинѣ оба сна свѣту  
и сна дщи чѣвка бня<sup>8</sup>

Вариантность в составе параллельных контекстов свидетельствует о том, что Нестор не механически повторял словоупотребление из Жития Саввы: данный памятник служит Нестору некоей точкой опоры, идейно-эстетической проекцией при создании своего произведения.

На протяжении всего повествования Нестор показывает Феодосия Печерского в различных ситуациях. Как отмечали исследователи, с этими ситуациями связана трансформация, развитие образа Феодосия: он характеризуется не только как подвижник христианства, но и как деятельный, неутомимый организатор большого монастырского хозяйства, непосредственный участник политической борьбы своего времени<sup>9</sup>.

Очевидно, что наибольшее количество номинант для обозначения одного объекта приходится на главное действующее лицо. Феодосий Печерский назван около 300 раз (включая описательные номинанты).

Первая номинация, согласно правилам агнографического жанра, содержится в «заглавии» жития: мсца маяя-вѣ.г. днь житие *прѣбнаго оца нашего Феодосия* (26а)<sup>10</sup>. Здесь номинанта представляет собой словосочетание из четырех компонентов: имени нарицательного, имени собственного, прилагательного и притяжательного местоимения. Наиболее подвижным компонентом в данном сочетании является прилагательное *прѣподобный*. В ряде контекстов в аналогичной функции ему соответствуют прилагательные (располагаем их в алфавитном порядке): *блаженный, богодѣловенный, богоносный, великий, просвѣщенный, святой, славный*. Наибольшую же устойчивость обнаруживает сочетание *отць (наш) Феодоси*, что позволяет его рассматривать как единое смысловое целое, по отношению к которому синтаксическая функция перечисленных прилагательных квалифицируется как функция определений<sup>11</sup>.

Исследователи ЖФП указывали, что «серафичность» образа Феодосия Печерского выражается посредством набора этих прилагательных. Так, И. П. Еремин писал: «С первого же появления своего у Нестора Феодосий Печерский предстает перед читателем в „серафическом“ образе идеально-положительного христианского героя — святого. И таким в основном он пройдет сквозь все Житие, сопровождаемый молитвенно-благоговейными эпитетами — „блаженный“, „прѣподобный“, „великий“, „богодушно-

<sup>8</sup> См.: А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 51—57. Тезис о преемственной связи между Житием Феодосия и Житием Саввы в дальнейшем развивался и другими исследователями. Так, И. П. Еремин отмечал, что Житие Саввы Освященного, «во времена Нестора уже известное на Руси в славянском переводе, подсказало ему и композиционную структуру Жития Феодосия, и отдельные сюжетные ситуации, и даже некоторые стилистические формулы» (И. П. Еремин, К характеристике Нестора как писателя, ТОДРЛ, XVII, М.—Л., 1961, стр. 55).

<sup>9</sup> См. об этом: И. П. Еремин, указ. соч., стр. 61; В. П. Адрианова-Перетц, указ. соч., стр. 49. Данная концепция современных исследователей полемически противопоставит взглядам исследователей прошлых лет, в частности, С. Бугославского, который усматривал в Житии Феодосия Печерского прежде всего общую трафаретность, свойственную агнографическому жанру. См.: С. Бугославский, К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора, ИОРЯС, XIX, 1, СПб., 1914, стр. 177.

<sup>10</sup> Цитаты приводятся по изданию: «Успенский Сборник XII — XIII вв.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971.

<sup>11</sup> Ср. замечание В. В. Виноградова относительно рассматриваемых словосочетаний в функции номинации: «... словосочетания (как и слова) могут и должны быть изучаемы не только в составе предложения как его структурные элементы, но и как разные виды сложных названий, как присущие языку лексико-семантические единства, построенные и вновь образуемые по законам данного языка» (В. В. Виноградов, Избранные труды. Исследования по русской грамматике, М., 1975, стр. 409).

венный»<sup>12</sup>. В. П. Адрианова-Перетц подчеркивает с и т у а т и в н у ю обусловленность данных эпитетов в тексте ЖФП: «Для характеристики Феодосия после пострижения (разрядка наша.— М. Н.) Нестором привлечен традиционный набор эпитетов, подчеркивающих христианские добродетели инока; частью эти эпитеты подходят под определение „празднично-торжественные“, выполняющие задачу прославления»<sup>13</sup>.

Однако установление общей семантико-стилистической характеристики данных слов не снимает вопроса о возможной реализации их дифференциальных оттенков, которые соотносятся с детализацией образа.

Из перечисленных прилагательных в качестве определения к указанному сочетанию самыми частотными являются *преподобньи* и *блаженни*. При сочетании с существительными со значением лица и именами собственными И. И. Срезневский толкует *преподобньи* в двух взаимосвязанных значениях: «преподобный в приложении к лицам духовного чина» и «преподобный (агиологический термин)» (II 1681)<sup>14</sup>. Как указывает М. Ф. Мурьянов, в основе семантики данного слова лежит признак схожести, уподобления человека богу<sup>15</sup>. Значение прилагательного *блаженни* как «непорочный, праведный» также связано с оценкой «истинности» поведения человека. В пределах отражения данного понятия находится семантика прилагательного *святни*, которое в древнерусском языке постоянно использовалось в сочетании со словами *мученикъ*, *страстотърпць*. Более дифференциальные оттенки проявляются в определениях *богоносньи* и *богодъхновенни*. Здесь детализация значения выражается второй частью *composita*: *богоносньи* — «несущий в себе бога» (I 133), *богодъхновенни* — «вдохновенный богом» (I 129)<sup>16</sup>. Первая же часть сложных прилагательных дает тот главный «ориентир» значения, на который нацелена вторая часть слова<sup>17</sup>.

Другие три определения — *великии*, *просвѣщенни*, *славньи* — не столь очевидно связаны с этико-христианской оценкой. При выражении значения «прославленный, знаменитый» они не обязательно относились к подвижникам христианства (I 235—236, II 1567, III 408)<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> В. П. Еремин, указ. соч., стр. 55.

<sup>13</sup> В. П. Адрианова-Перетц, указ. соч., стр. 47.

<sup>14</sup> Здесь и далее ссылки на И. И. Срезневского приводятся по изданию: И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I — III, СПб., 1893—1903; в скобках указаны том и столбец.

<sup>15</sup> См.: М. Ф. Мурьянов, К семантике старославянской лексики, ВЯ, 1977, 2.

<sup>16</sup> Использование данных прилагательных в указанных значениях заимствуется в оригинальных древнерусских произведениях из старославянских источников. Тождественная семантика реализуется у прилагательных *богоносньи* и *богодъхновенни* в евангельских текстах по древнеболгарским рукописям X — XI вв. См: Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X — XI вв., М., 1977, стр. 221—222.

<sup>17</sup> Семантико-грамматическая мотивация подобных слов связана с переводом с греческого языка. Л. В. Вяткина пишет: «Следует отметить, что греческая сравнительная и превосходная степени в русском языке передавались положительной. Это особенно относится к *composita* с первой частью *благо-*, *бogo-*. Дело в том, что в греческом языке сложное слово выполняло определенную стилистическую функцию, являясь образным языковым средством... Что же касается перевода, то здесь первая часть *compositum bogo-*, *благо-* уже является принадлежностью высокого стиля, что и делает изысканным употребление в русском тексте сравнительной или превосходной степеней» (Л. В. Вяткина, Греческие параллели сложных слов в древнерусском языке XI — XIV вв., сб.: «Лексикология и словообразование древнерусского языка», М., 1966, стр. 163).

<sup>18</sup> Ср. также данные, приведенные В. Л. Виноградовой на слово *великии* в кн.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», сост. В. Л. Виноградова, 1, М. — Л., 1965, стр. 100.

Таким образом, определения в составе сложных номинант при общей положительной характеристике объекта различаются по степени своей принадлежности к традиционному книжно-письменному языку, по степени своей широты и ограниченности в потенциальном использовании применительно к разным лицам. В группе определений, относимых к наиболее традиционным для религиозно-книжных текстов, устанавливается большая градация, так сказать, дробность общего положительного признака. Вместе с тем рассматриваемые прилагательные употребляются совместно в функции определения к сочетанию *отць (нашь) Феодосии: блаженны и богоносныи, блаженны и духовныи, блаженны и преподобныи, святыи и великыи, преподобныи и богоносныи*. Парные определения употребляются в основном в заключительной части повествования о жизни Феодосия и в рассказах о его посмертных чудесах. Думается, что это не случайно: все вышеизложенные факты и события являются своеобразной основой, базой для «итоговой» оценки героя, в которой собирается и концентрируется вся его деятельность как подвижника христианской церкви.

Вариантность номинации не исчерпывается меной прилагательных-определений в составе рассмотренного сочетания. Очень интересные, хотя и немногочисленные, контексты отражают вариативность притяжательного прилагательного *нашь*. Они знаменательны потому, что отражают ситуативные переключения в повествовании. Два примера относятся к эпизоду с черноризцем Дамианом. В первом случае в авторской речи вводится местоимение *свои*, и тем самым автор как бы совершает переход к называнию объекта с позиции персонажа, ср.: *дамианъ иже рьвныи подражааше житию и съмбреню прѣдбнаго своего оца феодосия (45г)*. Во втором случае номинация содержится в прямой речи Дамиана, где вводится дополнительный компонент *наставникъ* и где местоимение *мои* (вариант *нашь*) прямо соотносит номинанту с точкой зрения персонажа, ср.: и не отлучи мене молю ти ся влдо оца и наставника моего прѣдбнаго феодосия (46а). Можно предположить, что в данном случае мена местоимения *нашь* в некоторой степени была обусловлена использованием существительного *наставникъ*, так как в других двух контекстах вариантность притяжательного местоимения отмечена при наличии указанного слова.

В этих контекстах *нашь* заменяется местоимением 3-го л. мн. ч. (в одном примере в форме род. пад. принадлежности, в другом — в форме дат. пад.): и се видѣша множество чьрноризць исходящ... прѣд ними же идяше прѣдбныи оць *иъ* и наставникъ феодосии (56в—г); подавая вся имъ еже на потрѣбу млтвами прѣдбнаго *имъ* оца и наставника феодосия (52в). В последнем случае на употребление формы дат. падежа, необычной для модели рассматриваемой номинации, могла оказать влияние препозиция местоимения по отношению к существительному *отць*, а также (возможно, это основная причина) предшествующая форма *имъ*, использованная в этом же контексте.

Сходные конструкции отмечаются с использованием местоимения *ему*: онъ же и ту ему бу помагающю млтвами блжнаго наставника *ему* и оца феодосия (66г). По-видимому, вариативность грамматических форм местоимений (род. падеж/дат. падеж) объясняется контаминацией сочетаний: сочетание с существительным *отць* требует формы род. падежа, сочетание с существительным *наставникъ* — формы дат. падежа. При совместном же употреблении в одном контексте обоих существительных стирается четкая отнесенность местоимения к одному из них.

Однако самый интересный факт мены местоимения *нашь* отмечен в одном из контекстов, заключающих ЖФП. В силу своего положения в ком-

позиции произведения он получает особую смысловую нагрузку, особую значимость: та же *въписахъ азъ грѣшныи несторъ мѣнии всѣхъ въ манастыри блаженаго и оца всѣхъ феодосия* (676). Сравнительно с местоимениями *нашь, мои, ихъ* определительное местоимение *всѣхъ* объективно предельно расширяет семантико-понятийную значимость номинации в целом; субъективно же его использование могло достаточно и не осознаваться автором, так как здесь наличествует тот же фактор, который отмечался при употреблении формы дат. падежа *имъ*: предшествующая форма *всѣхъ* (в сочетании со сравнительной степенью *мѣнии*). В целом же вариантность притяжательного местоимения *нашь* связана с конкретизацией образа Феодосия в соотношении с различными внеязыковыми ситуациями.

Сочетание *отць нашъ феодосии* употребляется также без определения. Впервые оно используется в эпизоде пострижения Феодосия: и по обычаю стыхъ оць остригы и облече и въ мѣнишскую одежду *оць же нашъ феодосии* предавъ ся бу (31в). Постриг Феодосия передается как следование *обычаю стыхъ оць* и тем самым в тексте устанавливается преемственная общность между *святыми отцами* и героем повествования. Номинация, осуществляемая данным словосочетанием, используется главным образом в функции подлежащего. Она менее частотна сравнительно со словосочетанием, распространенным тем или другим определением. Значительно более употребительна номинация, выраженная именем собственным в сочетании с определением. В роли определений выступают прилагательные (располагаем их в алфавитном порядке): *блаженни, богодѣловенни, божьственни, великки, преподобни, святыи*. Все эти прилагательные, кроме *божьственни*, отмечались в качестве определительного компонента к сочетанию *отць (нашь) Феодосии*.

Сопоставление номинант типа *блаженни отць (нашь) Феодосии* и *блаженни Феодосии* показывает, что первая используется, начиная с рассказа о пострижении Феодосия, вторая же проходит как «сквозная» через все произведение. При этом сочетание *блаженни Феодосии* может употребляться совместно с другой номинантой того же объекта в одном контексте, ср.: *таче се слышавъ блженни феодосии радъ бьвъ иде въ домъ свои и егда хотяху страннии отьти възвѣстиша уноши свои отходъ* (28в).

В данном примере «переключение» номинации (*блженни Феодосии* — *уноша*) отчасти связано с синтаксической функцией номинант в составе двух предложений: одна из них выступает в роли подлежащего, а другая — в роли дополнения. Номинанта *блженни Феодосии* оказывается синтаксически независимой, тогда как *уноша* обнаруживает синтаксическую и смысловую обусловленность с подлежащим *страннии*. Знаменательно, что во всех других случаях существительное *уноша* имеет определение *божьственни*, и номинанта, выраженная этим сочетанием, используется как подлежащее: *къ симъ же пакы блжственни уноша* мысляше како и кымъ образъ спсется (28б); *бжственни же уноша* вся си съ радостю примаше (29а) (см. также 28в, 29г—30а).

Особенно наглядно соотношение разных номинант с одним объектом проявляется при чередовании прямой речи с авторской. Например: и нѣсть бо ти лѣпо *отроку* сущо таковааго дѣла дѣлати таце съ смѣреннемъ *бжственни уноша* отвѣщавааше мтри своеи глаголя (29в). Если в прямой речи слово *отрокъ* лишено какой бы то ни было экспрессивной маркированности, то в речи автора оно нередко сочетается с такими определениями, которые придают номинанте ярко выраженный оценочный характер: *божи, богословесни, добши, непорочни, несквърни,*

святых. Эта экспрессивность, выражаемая прилагательными; зависит отчасти и от содержания контекста: использование определений регулярно там, где усиливается, подчеркивается церковно-религиозный стиль повествования. Например: князю тако повелѣвшю паче же реку богу спше изволившю да и тамо *доблагаго строка* житие просияеть (27в); се же тако богу изволившю да проскуры чисты приносять ся въ цркъвъ сблю-отъ непорочнаго и нескьернаго строка (29б).

Широкое использование прилагательных при номинации объекта наблюдается не только в функции определений, но и при субстантивации. К таким прилагательным относятся: *блаженныи, пресдобныи, правдѣныи, святыхи*. Подавляющее большинство случаев субстантивации приходится на *блаженныи*. Нередки примеры, когда в составе одного контекста используются два субстантивированных прилагательных, причем одним из них, как правило, оказывается *блаженныи*. Например: се слышавъ онъ ужасе ся о проповѣданни *прѣбнаго* не съ бо никому не о томъ възвѣстилъ и тако изнесъ стое то евангеліе въдасть *блаженному* на руцѣ (48б); сия привесъ *прѣдъ блаженнымъ* полжю и то же *стыи* гла ему (50а); и яко львъ рикнувъ на *правдѣнаго* и удари тою о землю. и яко же отъ-толѣ промче ся вѣсть еже на поточение осужену быти *блаженному* (58в).

Такое употребление не дает оснований для установления дифференциальных оттенков между номинантами; видимо, оно объясняется стремлением автора избежать лексической тавтологии, сохранив при этом общее идейно-смысловое содержание обозначений объекта.

Распределение номинант по признаку авторской речи и прямой речи персонажа прослеживается в диалоге между Феодосием и «клучарем» монастыря, где в конструкциях, вводящих реплики Феодосия, постоянно используется *блаженныи*, а в репликах его собеседника — *стыцъ* (в функции обращения вне сочетания с определением), ср.: гла тому *блаженныи* (...) отвѣща онъ еи *оче* (...) гла тому паки *блаженныи* (...) онъ же отвѣщаваше реки. ими ми вѣру *оче* (54а). В то же время в аналогичной ситуации отмечается лексический повтор номинанта объекта: истину ти вѣщаю *оче* яко азъ самъ пометоухъ сусѣкъ ть и вѣсть въ немъ ничьсо же. развѣ мало отрубъ въ углѣ единсмъ гла тому *оць* (54г). Это единственный случай, когда *стыцъ* как номинант объекта используется в авторской речи без имени собственного и вне сочетания с определением. Данное употребление, очевидно, вызвано предыдущей прямой речью, где это существительное содержится в функции обращения.

В тексте ЖФП лишь две лексемы, обозначающие объект, регулярно используются без определений: *чадо* и *сынъ*. Они употребляются в той части повествования, где рассказывается о детстве и юности Феодосия. Существительное *сынъ* зафиксировано в прямой речи матери Феодосия и при описании действий этого персонажа, например: молю ти ся отче повѣжь ми аще сде есть *сынъ* мой (32б); въ преже реченыи градъ иде на възискание *сна* своего (32а). Характер контекста — прямая или авторская речь — определяет здесь использование притяжательных местоимений *мои, свои* (ср. с употреблением притяжательных местоимений в сочетаниях с *отцъ*).

По своей функции в тексте ЖФП существительное *чадо* отличается от слова *сынъ*: оно отмечено только в составе прямой речи (реплики матери Феодосия и игумена Антония) в функции обращения: тыгда гла ему *блаженныи антонии* блсъ бѣ *чадо* укрѣпиви ты на се тыщание (31в); въ единъ бо днь пришьдши мти ему гла се *чадо* велимая вься тобою сътворю (33а).

Круг нарицательных существительных значительно расширяется в обозначении объекта при изложении событий, относящихся к периоду жизни Феодосия после пострижения, при описании его посмертных чудес и в некоторых авторских «ремарках», подчеркивающих духовное величие героя. В основном эти лексемы (иногда в сочетании с прилагательными) не выходят за пределы обычных обозначений лиц, знаменитых своими деяниями во славу церкви. Эти номинации характеризуют объект в двух проекциях: в отношении к богу и в отношении к монастырской братии.

Смысловая корреляция с именем бога выражается не только семантической отдельного существительного (*угодникъ*), но и сочетанием его с прилагательным *божи* или притяжательным местоимением, равнозначным в контексте с указанным прилагательным. Ср.: *наипаче же яко и въ странѣ сеи такъ сии мужъ яви ся · и угодникъ бѣи* (26в); и *отвързи устыя̄ мои на исповѣдание чудесъ твоих и на похваление стааго въгодника твоего* (27а). В данном употреблении у слова *угодникъ* реализуется значение «исполнитель воли» (III 1137), которое конкретизируется определением (*божи, твои*).

Номинанты, характеризующие объект по отношению к братии, выражаются существительными: *игуменъ, учитель, наставникъ* (часто при их совместном употреблении в одном контексте и в сочетании с притяжательными местоимениями). Например: *нѣсть лѣпо намъ ни въ чемъ же ослушати ся наставника игумена своего* (52г); *такоя бѣгодати съподоби ся учитель и наставникъ ихъ* (64г—65а).

В одном понятийно-смысловом ряду с рассматриваемыми номинантами стоят обозначения объекта, передаваемые сочетанием существительного *мужъ* с прилагательными *прѣдобныи, правдыныи, блаженныи*, т. е. с такими определениями, которые характерны для номинации объекта со словом *отць*. Однако в данном случае номинация, как правило, не включает имени собственного (что нередко наблюдалось в сочетаниях со словом *отць*). Ср.: *бл҃гныи бѣ оградилъ невидимо вся та съдѣржания мѣтвами · правдычааго и прѣдбнааго сего мужа* (57в); *кто бо довьльнъ вся по ряду съписати добрая управления сего блажнааго мужа* (61а).

В использовании слова *мужъ* здесь проявляются те семантико-стилистические особенности этого существительного, которые лежат в основе его сочетаний с прилагательными, выражающими не только признак высокой нравственности, но и признак высокого социального положения<sup>19</sup>. Данная номинация получает усиленный экспрессивный оттенок в составе традиционного сравнительного оборота, смысловую основу которого составляет уподобление объекта источнику света: *о колико бѣгостыня твое ги яко показалъ еси такъ свѣтильникъ въ мѣстѣ семь · прѣдбнааго сего мужа иже тако свѣта ся просвѣти манастирь свои* (37г—40а). Ср. с контекстом из Лаврентьевской летописи: *тачи же быша черноризи Феодосьева манастиря иже сияють и по смрти яко свѣтила* (660б).

Сходство с номинантой, выраженной сочетанием *мужъ* + прилагательное, обнаруживает номинанта, в состав которой входит существительное *человѣкъ*. Например: *видѣста бо правдына суда человекѣ бѣжи* (58б). Вместе с тем эти обозначения не вполне идентичны. Если определение *правдыныи* в обоих случаях образует с нарицательными именами (*мужъ, человекъ*) свободное сочетание, то определение *божи*, как правило, в постпозиции к слову *человѣкъ*, должно рассматриваться как компонент

<sup>19</sup> См. об этом: Н. Г. М и х а й л о в с к а я, Синонимичные прилагательные в значении «знатный» в древнерусском литературном языке, сб. «Лексикология и словообразование древнерусского языка», М., 1966.

устойчивого сочетания. В древнерусских переводных текстах оно использовалось обычно применительно к апостолам, например: и въздвигъ очн на гробъ *члека бия* и ре(ч) (Хроника Георгия Амартола, 110в). В оригинальных же памятниках это сочетание употреблялось по отношению к св. Александру: в пято(к) на канун ста(г) Олексыя *члека Бжся* (Лаврентьевская летопись, 1380б).

В тексте ЖФП наряду с рассмотренными определениями, правда, в единичных случаях, используется прилагательное *грѣшныи*, противоположное по значению тем «молитвенно-благоговейным» эпитетам, которыми обычно сопровождается номинация героя повествования.

Так, прямая речь Феодосия соотносит определение *грѣшныи* непосредственно с первым лицом ситуации, при которой номинация служит выражением самоуничижительной оценки, обусловленной речевым этикетом: азъ *грѣшныи* и како могу обьщникъ быти славы оная (46б).

Подводя итог сказанному, можно отметить некоторые особенности номинации, которые представляются характерными для агиографического жанра и отчасти для литературного изложения того времени.

Основная тенденция в номинациях объекта определяется идейной и заранее обусловленной «заданностью» текста в целом. Информативность номинант однолинейна: имея разное лексическое выражение, она в сущности замыкается в кругу понятийно близких единиц. Поэтому в подавляющем большинстве случаев двусоставные номинанты, выраженные сочетаниями существительного и прилагательного, при возможных вариантах определяемого и определения обычно объединены семантической близостью или даже тождеством. Смысловое постоянство подобных номинант в значительной степени обеспечивает монолитность концепции автора-рассказчика в создании образа главного героя повествования<sup>20</sup>.

Как говорилось выше, Феодосий предстает перед читателем в различных ситуациях, но эти сюжетные ситуации при описании его многообразной деятельности, выходящей за рамки времяпрепровождения «божьего угодника», никак не влияют на выбор лексических средств, которыми поддерживается «серафичность» образа. Это и понятно: переключения от одной сюжетной ситуации к другой остаются в границах суждения об объекте с единственно возможной позицией религиозно-христианской этики. Ориентация же на иные обозначения неминуемо влекла бы за собой разрушение этой позиции, перенося образ в другие измерения.

Выражение номинант словами, не имеющими семантической общности (типа *сынъ, чадо — игуменъ, наставникъ*), также не влияет на характер суждения: эти номинанты лишь соотносят объект с другими персонажами повествования, с сюжетным развитием повествования в целом.

Различия в номинантах объекта устанавливаются в аспекте их соотношения с обязательностью, обусловленной сюжетной линией. Именно первый тип номинант служит выражением религиозно-этической оценки (особенно при посредстве номинант-словосочетаний); второй тип номинант нейтрален — его стилистическая и смысловая значимость, если она не поддержана соответствующими определениями, может быть установлена по содержанию контекста.

<sup>20</sup> В древнерусской литературе автор и рассказчик едины. Для автора невозможна иная позиция, чем позиция рассказчика в той форме повествования, которая им принимается. Ср. суждение Д. С. Лихачева: «Было бы неправильно думать, что в древнерусской литературе с ее пониженным ощущением авторской индивидуальности отсутствует или приглушен этот авторский образ. Как это ни покажется парадоксальным, образ автора, непосредственный голос автора в произведении выражен в XI—XVII вв. не только слабее, но иногда и сильнее, чем в литературе нового времени» (Д. С. Лихачев, К изучению художественных методов русской литературы XI—XVII вв., сб. «Актуальные задачи изучения русской литературы XI—XVII веков», стр. 41).

МУРЬЯНОВ М. Ф.

## О МИНЕЕ ДУБРОВСКОГО

Правила издания древнейших памятников славяно-русской письменности все еще не стали предметом согласия между заинтересованными дисциплинами. Не выработан тип издания, полностью удовлетворяющий лингвистов, литературоведов, историков; каждая из сторон предъявляет к подаче текста свои, специфические требования, и похоже на то, что они практически несовместимы. Но неужели издавать один и тот же памятник одновременно трижды, чтобы один вариант служил только лингвистам, другой ориентировался на нужды поэтики, а третий был оформлен во вкусе палеографов! На VIII Международном съезде славистов представитель Института славянской филологии Венского университета Г. Биркфельнер констатировал, что «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности» (1961); разработанные в Институте русского языка АН СССР под руководством С. И. Коткова, «необычно сильно склоняющиеся в историзм, придерживающиеся линии палеографической эдичионной техники» (*ungewöhnlich stark historisierende, auf der Linie der paläographischen Editionstechnik liegende*), не стали основой для международной стандартизации, которая остается острой потребностью, и предложил проект правил, распространяющий на палеославику опыт подготовки античных и византийских текстов, изданных по правилам Международного академического союза<sup>1</sup>. В кругу русистов это предложение не вызвало никакого отклика<sup>2</sup>. Возможно, венский проект недостаточно реалистичен, — например, тем, что сформулирован он на неславянском языке, а критический аппарат к древнему тексту в нем предлагается писать по-латыни — ведь и для академика И. В. Ягича, осуществившего капитальные издания славяно-русских текстов, многое «основывалось на опыте классической филологии, устоявшиеся принципы которой переносились на славянский материал»<sup>3</sup>.

Проблема единых правил должна открыто обсуждаться, а будучи принятыми, правила, в силу живого, творческого характера науки, должны играть роль не догмы, а руководства к действию. Нужно искать современные решения; прежде чем выдвигать те или иные требования к смежным дисциплинам, самокритично посмотрим, нет ли недостатков в осуществленных лингвистических изданиях, желательны ли им оплодотворяющие идеи извне, или же они всегда достаточно хороши сами по себе, своими внутренними достоинствами, которые доведены до того, что, например, сверх обычного алфавита стали считаться самостоятельными бук-

<sup>1</sup> G. Birkfellner, Slavistische Editionstechnik, «Wiener Slavistisches Jahrbuch», 24, Wien — Köln — Graz, 1978, стр. 22.

<sup>2</sup> В. С. Голышенко, VIII Международный съезд славистов, «Русская речь», 1979, 2; С. И. Котков, Лингвистическое источниковедение и история русского языка, М., 1980, стр. 9.

<sup>3</sup> М. Кудеяка, Славистика как познавательная система, «Общественные науки», 1979, 5, стр. 91.

вами кириллицы те графические разновидности буквы *o*, когда внутри она орнаментирована точкой или крестиком<sup>4</sup>. Такие — и многие другие — варианты написания буквы *o* отмечены в литературе давно, и, возможно, прав был академик Е. Ф. Карский, усматривавший здесь разновидности одной и той же буквы<sup>5</sup>, как правы все публикаторы византийских текстов, не нашедшие в аналогичном украшении омикрона (откуда оно и пришло, по замечанию Е. Ф. Карского, в славянское письмо) повода обогащать греческий алфавит и историю языка. Впрочем, это — не более чем частное сомнение, а наша цель — по возможности разносторонне рассмотреть качество издания текста, на конкретном примере Минеи Дубровского, фрагментарного памятника XI в. (ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, Ф. п. I.36).

Начало изучению этого памятника положил В. М. Марков, пришедший по критериям исторической фонетики к выводу — рукопись русская, но не новгородская, и вряд ли моложе древнейшей датированной русской рукописи — Остромирова Евангелия 1056—57 гг.<sup>6</sup> Если принять во внимание, что все три издания до настоящего времени Минеи — новгородские<sup>7</sup>, а в отношении Остромирова Евангелия все еще не решено, где оно написано — в Новгороде или Киеве, то результат работы В. М. Маркова, возражений не вызвавшей, выдвинул Минею Дубровского на положение памятника, заслуживающего быть изданным. Минея Дубровского, насчитывающая 15 листов пергамена, слишком мала, чтобы стать содержанием книги обычного объема, но и слишком велика, чтобы втиснуться в статью. Было принято промежуточное решение — издать в виде статьи часть Минеи, причем ту, которая представляет наибольший интерес по характеру первоисточников, отличаясь от трафаретного последования печатной греческой Минеи, что ставит эвристические задачи отыскания недостающих частей греческого текста. Таким образом и была опубликована служба апостолам Варфоломею и Варнаве (11 июня) — в академическом сборнике «Русский язык. Источники для его изучения» (М., 1971). Готовила текст Е. Э. Гранстрем, ответственный редактор — С. И. Котков. Само название публикации — «Греческие параллели к гимнографическим текстам Минеи Дубровского» — говорит о том, что укомплектованию греческого текста уделялось особое внимание, имелся замысел дать древний источник в подобающем виде, рассчитанном на потребности самых взыскательных специалистов.

Было определено, что при сопоставлении службы апостолам Варфоломею и Варнаве по Минее Дубровского и по лучшему из греческих церковных изданий июньской служебной Минеи<sup>8</sup> в древнерусском тексте насчитывается 14 строф, греческим текстом не покрываемых. Из этого числа три пробела заполнены текстами, найденными в греческой рукописи № 552 ГПБ, XIV в., один пробел — по греческой рукописи № 227 этого же собрания, XII в. К десяти остальным пробелам дана помета «греческий текст не найден». Такое количественное соотношение между искомым и найденным обычно является следствием объективных трудностей идентификации текстов византийской литургии, на сегодня изученных несравненно

<sup>4</sup> «Вытолексианский сборник», под ред. С. И. Коткова, М., 1977, стр. 40.

<sup>5</sup> Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Л., 1928, стр. 196 — 197.

<sup>6</sup> В. М. Марков, Язык Минеи из собрания Дубровского, «Вопросы теории и методики изучения русского языка», 2, Чебоксары, 1962; е г о ж е, К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань, 1964.

<sup>7</sup> И. В. Ягич, Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 г., СПб., 1886.

<sup>8</sup> Μηναία τοῦ Ἰουνίου ἐναγίου, Ἐν Ῥώμῃ, 1899. Желательно было бы использовать и Ἀνθολόγιον τοῦ Ἰουνίου ἐναγίου, Ἐν Ῥώμῃ, 1968, стр. 650—656.

слабее, чем материалы литургики латинской, для славистических сравнений мало когда нужны. Всего известны две греческие ионьские Минеи, о которых можно сказать, что они достоверно старше Минеи Дубровского — первая находится в Синайском монастыре (Cod. gr. 620, X в.), вторая в Иерусалимской патриаршей библиотеке (Sab. 70, X—XI в.)<sup>9</sup>.

Однако проблема заключается вовсе не в невозможности посещения этих рукописных собраний. Четыре опознанных текста не было нужды искать в рукописях, два из них находятся на стр. 265 сопоставлявшейся печатной Минеи (Δεδεγμένος, μάχαρ, το σεπτόν и Ως άνήρ ύπάρχων άγαθός), третий опубликован в «Антологии» Ф. Витали (Βαρνάβα κανούφης, το έξαστραύπτον)<sup>10</sup>, а затем — в Стихираре, которым началась реномированная серия «Monumenta Musicae Byzantinae»<sup>11</sup>, четвертый недавно появился в образцовом издании «Analecta Hymnica Graeca» со стихометрической разбивкой:

Ἡ άγνή εἶπε· «Πώς γαλουχεῖς,  
πώς δὲ μήτηρ πέφηνας  
παρθενική σφραγίδι παστράπτουσα;»  
Μὴ έρεύνα άβυσσον  
μη̄ τὰ ἀληπτα κατὰ φύσιν εξέταζεν·  
εἰς Θεός πάντων Κύριος,  
ὄν ἐν σαρκί ἐγέννησας(ς)<sup>12</sup>.

Это — лучше, чем сплошной текст, не только для целей византологических, но, как показал еще Р. Абиخت, поддержанный И. В. Ягичем, и для исследования ритмико-мелодических закономерностей славянского перевода<sup>13</sup>. В «Русском языке» не только не сделано стихометрическое членение там, где его нет, но оно удалено оттуда, где было — из текстов, взятых по изданию греческой Минеи, и из собственно Минеи Дубровского: в наборном тексте мы не досчитываемся свыше сорока колонов, имеющих в рукописи.

Что же касается десяти пробелов, получивших в «Русском языке» помету «греческий текст не найден», то здесь действительная картина такова. Четыре искомым ирмоса второго гласа многократно встречаются в издании И. В. Ягича, подобравшего к ним греческие соответствия. Выберем те случаи из текста И. В. Ягича, где зачало имеет максимальную длину. Ирмос первой песни — **въ глѹбѣнѣ потѹ** (стр. 0204,19), чему соответствует ἐν βυθῶ κατέστρωσε (стр. 544), ирмос четвертой песни — **прѣшьст(во)ва ѿ двѣ** (стр. 473, 11) и соответственно ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου (стр. 604), ирмос пятой песни — **ходатаи бѹу и члѣво** (стр. 287, 20), то есть μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων (стр. 583), ирмос седьмой песни — **бѹпрѣотивнѹ велѣнн** (стр. 152, 19) или ἀντίθεον πρόσταγμα (стр. 569—570). О славянском переводе этих ирмосов по рукописям XII в. Э. Кошмидер докладывал перед Баварской Академией наук 9 декабря 1942 г.<sup>14</sup>, не подозревая о существ-

<sup>9</sup> «Analecta Hymnica Graeca», X, Roma, 1972, стр. V — VII.

<sup>10</sup> Ἀπολόγιος, 3, 2Е, Ρώμη, 1738, стр. κη'. ἡ

<sup>11</sup> «Sticherarium», edendum curaverunt C. Höeg, H. J. W. Tillyard, E. Wellesz (Codex Vindobonensis Theol. Graec. 481 phototypice depictus), Copenhagen, 1935, f. 144.

<sup>12</sup> «Analecta Hymnica Graeca», I, Roma, 1966, стр. 296. Здесь же, на стр. 303, находится критический текст феокиона Ἰθύνουστ. Πάναγνε, цитируемый «Русским языком» (стр. 40) по печатной Минеи прошлого века.

<sup>13</sup> R. A b i c h t, Die Interpunktion in den slavischen Übersetzungen griechischer Kirchenlieder, AfslPh, 35, Berlin, 1914, стр. 413—434. Ср. завершение исследования, с заключительным словом И. В. Ягича: R. A b i c h t, Haben die alten Übersetzer der griechischen Kirchenlieder die Silbenzahl der griechischen Liederverse festgehalten?, там же, 35, Berlin, 1916, стр. 414—429.

<sup>14</sup> E. K o s c h m i e d e r, Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente, 1, München, 1952.

вовании более древней редакции текста в Минее Дубровского. Затем Р. Якобсон опубликовал их факсимильно по Хиландарскому Ирмологию<sup>15</sup>. Одновременно с «Русским языком» вышла в свет публикация этих ирмосов в древнегрузинском переводе, выгодно отличающаяся компетентным подбором греческих параллелей<sup>16</sup>. А в «Русском языке» греческие зачала искомых ирмосов механически переписаны из печатной Миней (где они проставлены как достоящее указание на целое), в нарушение строфического членения присоединены к тропарям, к тому же невопад — и потерялись, «греческий текст не найден!» Чтобы покончить с возникшей путаницей, приведем полный текст искомых ирмосов<sup>17</sup>:

## Песнь 1

Ἐν βυθῶν κατέστρωσε ποτὴ  
τὴν φαραωνίτιδα  
πανστρατιᾶν ἢ ὑπέροπλος δύναμις  
σαρκωθείς ὁ Λόγος δὲ  
τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν  
ὁ δεδοξασμένος Κύριος  
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

## Песнь 5

Μεσίτης Θεοῦ  
καὶ ἀνθρώπων γέγονας,  
Χριστὲ ὁ Θεός,  
διὰ σοῦ γάρ, Δέσποτα,  
τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον πατέρα σου  
ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας  
προσαγωγὴν ἐσχίκαμεν.

## Песнь 4

Ἐγγλυθας ἐκ Παρθένου  
οὐ πρέσβυς οὐκ ἄγγελος  
ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος  
σεσαρκωμένος καὶ ἔσωσας  
ὄλον με τὸν ἀνθρώπων·  
διὸ κραυγάζω σοι·  
δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

## Песнь 7

Ἀντίθεον πρόσταγμα παρανομοῦντος  
τυράννου μετάρσιον  
τὴν φλόγα ἀνερίπισε,  
Χριστὸς δὲ ἐφήπλωσε  
θεοσεβέσι παισὶ  
δρόσον τὴν τοῦ Πνεύματος  
ὁ ὢν εὐλογημένος καὶ ὑπερένδοξος.

Три феотокиона, для которых не найден греческий первоисточник, в точности совпадают с теми, какие есть у И. В. Ягича в каноне апостола Иоанну Богослову на 26 сентября, что следовало бы отметить как единственную в своем роде возможность сравнения между новгородской и новогородской редакциями одного и того же текста. У И. В. Ягича же нетрудно было найти указание, где искать для этих феотокионов греческое соответствие (стр. 0205—0206, 544):

Τὴν μόνην παρθενοῦσαν,  
καὶ Μητέρα σέβομεν,  
ὡς σωτηρίας πρόξενον,  
γενομένην ἡμῖν Πανάμωμε,  
καὶ κόσμον ῥοομένην ταῖς πρεσβείαις σου.

Ἰώμενος, τὴν τῆς Εὐας  
ἀρχαίαν παράβασιν,  
σὲ τὴν παναμώμητον,  
καὶ Παναγίαν κατόκησεν,  
ὄλον με τὸν ἀνθρώπων,  
ἀναμορφώσας  
πεσόντα ὁ Ὑπέρθεος.

<sup>15</sup> R. Jakobson, *Fragmenta Chilandarica palaeoslavica*, В—Hirmologium, Copenhagen, 1957 (=«Monumenta Musicae Byzantinae», V), f. 31r, 38v, 41r—41v, 47v—48r.

<sup>16</sup> Е. П. Метрели, *Две древние редакции грузинского Ирмология (по рукописям X—XI веков)*, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.), стр. 61 (№ 62), 68 (№ 77), 70 (№ 82), 76 (№ 95). Ср.: Н. Метрели, В. Оуттиер, *Contribution à l'histoire de l'Hirmologion: Anciens Hirmologia géorgiens*, «Le Muséon», 88, Louvain, 1975.

<sup>17</sup> S. Eustratiades, *Εἰρμολόγιον*, Chennevières-sur-Marne, 1932, стр. 34, 39.

Ῥημάτων τῶν σῶν,  
 μανημένοι σὲ νῦν  
 μαχαρίζομεν,  
 διὰ σοῦ Πανάμωμε,  
 τὴν μακαριότητα τὴν ἄφραστον,  
 καὶ ζωὴν τὴν ἀγήρω,  
 παναληθῶς πλουτήσαντες<sup>18</sup>.

Один из разыскиваемых текстов, именуемый в «Русском языке» фео-  
 кионом, является, точнее говоря, ставрофеотокионом — и это важно,  
 поскольку И. В. Ягич считал, что к концу XI в. славянские Минеи еще  
 не знали такой жанровой разновидности гимна (стр. LXVII)<sup>19</sup>. Текст этот  
 фигурирует в печатном Октоихе, церковнославянском и греческом (глас  
 второй, в среду утра, канон кресту, творение Иосифа Гимнографа, песнь  
 седьмая); для «Патрологии» Миня он был переведен на латынь<sup>20</sup>, извест-  
 тен он и в корректном немецком переводе<sup>21</sup>. Погрешность словоделения  
 в «Русском языке» — **мъстьми** вместо **мъсть ми**<sup>22</sup> — свидетельствует, что  
 текст здесь не понят в своем самом существенном моменте, который при-  
 дется пояснить. Но сначала — текст полностью:

Τὸν βότρυν τὸν πέπειρον ἀγεωργήτως,  
 ἀγνὴ ὄν ἐβλάστησας,  
 ἐν ἐύλω ὡς ἐώρακας,  
 κρεμάμενον ἔκραζες·  
 Τέκνον μου γλυκύτατον,  
 γλεῦκος ἐναπόσταξον,  
 δι' οὗ παθῶν ἡ μέθη ἀνασταλήσεται<sup>23</sup>.

Лексика христианских молитвословий — это прежде всего лексика  
 Псалтыри и Нового завета. Но **мъсть**, *γλεῦκος* в Псалтыри отсутствует,  
 а в Новом завете встречается единственный раз, причем в контексте, очень  
 замечательном для истории древних лингвистических представлений —  
 в повествовании о том, что в день Пятидесятницы языки, как бы огненные  
 (*γλωσσαι ὡσεὶ πυρός*), сопровождаемые шумом, будто от сильного ветра,  
 сели по одному на каждого из собравшихся апостолов, отчего они, ниче-  
 му не учившиеся галилеяне, вдруг одухотворенно заговорили на мно-  
 жестве языков «всякого народа под небом», присутствовавшего при этом  
 чуде<sup>24</sup>, и все изумлялись, а иные, насмехаясь, говорили: они напились  
 (Деян 2,13). Чем напились? В греческом оригинале здесь назван *γλεῦκος*,  
 в Вульгате — *mustum*, в новгородской Геннадиевской Библии (1499),  
 отредактированной по Вульгате, говорится об опьянении **мъстомъ**  
 (л. 785об), в русской первопечатной Острожской Библии (1581) — вином,

<sup>18</sup> H. Follieri, *Initia hymnorum Ecclesiae graecae*, IV, Città del Vaticano, 1963, стр. 78; II (1961), стр. 243; III (1962), стр. 416.

<sup>19</sup> Ср.: «La prière des Eglises de rite byzantin», 1, Chevetogne, 1975, стр. 516.

<sup>20</sup> «Patrologia Graeca», 105, Paris, 1862, стлб. 1294.

<sup>21</sup> «Die Ostkirche betet. Hymnen aus den Tagzeiten der byzantinischen Kirche», I, hrsg. von K. Kirchhoff, Münster, 1933, стр. 124; A. Thoma, Maria die Weinrebe, «Kurtisches Jahrbuch», 10, Trier, 1970, стр. 32.

<sup>22</sup> См. фотографию этой страницы рукописи в кн.: В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке, стр. 207.

<sup>23</sup> H. Follieri, указ. соч., 4, стр. 192.

<sup>24</sup> Ср.: H. J. Tschiedel, Ein Pfingstwunder im Apollonhymnos (Hymn. Hom. Ap. 156—164 und Apg 2,1—13), «Zeitschr. für Religions- und Geistesgeschichte», 27, Köln, 1975, стр. 22—39. Это интерпретируют как глоссолалию, см: R. A. Harrisville, Speaking in tongues: a lexicographical study, «Catholic Biblical Quarterly», 38, Washington, 1976.

в новейшем синодальном переводе (1976) — сладким вином. Оба последних варианта говорят о северном неразличении южных реалий, в старославяно-византийском тексте стояло правильное **мъсть**<sup>25</sup>, что естественно для кирилло-мефодиевской миссии, вышедшей из земель, где занимались виноделием и знали качественное отличие опьянения мустом — молодым вином. Мог пьянеть даже только что отжатый виноградный сок; если снятые гроздья выдерживались до полумесяца в корзинах, внутри ягод начиналось брожение<sup>26</sup> — это превращало сбор винограда и его топтание в точилах в праздник с песнями<sup>27</sup>, плясками, похищением девушек (Суд 21, 20—21) и придавало совершенно определенный смысл насмешке над апостолами, вызвавшей риторическое негодование Иоанна Златоуста: «О, закоренелое иудейское жестокосердие! Подумай, иудей, о времени и удержки клеветнический язык. Когда бывает муст? Когда проходит лето. А во время весны бывает разве муст? Вспомни время года и обуздай язык!»<sup>28</sup>. А его современник Григорий Нисский в великопечной фигуре красноречия сначала согласился — да, это был муст! — и тут же обернул насмешку против самих насмехающихся: «О, если бы и у них был когда-нибудь муст, это нововязкое вино, излившееся из точила, которое истоптал Господь чрез Евангелие, дабы напоить тебя кровью собственного грозда (Ис 63, 2—3)! О, если бы и они исполнились оною нового вина, названного ими мустом, которого не испортили еще торгаши примесью еретической воды! Тогда они, конечно, исполнились бы и Духа, при помощи которого все кипящие Духом как пену сбрасывают с себя грубость и нечистоту неверия. Но не могут таковые принять в себя сего муста, потому что носят еще ветхие мехи, которые, будучи не в состоянии сдержать такового вина, еретически расторгаются»<sup>29</sup>. Это — опора на евангельскую притчу о невозможности вливать новое вино в старые мехи, о неприемлемости этических компромиссов между новым и старым<sup>30</sup>. Так определилась толковательная традиция Деян 2,13; в поэзию ее ввел, если не ошибаемся, Иаков Серургский (451—521), *цесница св. Духа и арфа верующей церкви*: «Какое вино могло стать причиной такого знания? Это Распятый воудушевил их к речам своим вином, от него они восприяли без обучения новую мудрость. Посмотрите: муст, который народ отжал на Голгофе, накатывается внутри них и

<sup>25</sup> Ср. **мъстомъ** в Христинопольском Апостоле: «Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice, ad fidem codicis Christinopolitani saec. XII scripti», ed. Aem. Kaluzniacki, Wien, 1896, стр. 3—4 и **мъстомъ** в цитате этого стиха в XVII Огласительном слове к просвещаемым Кирилла Иерусалимского по рукописи XI—XII в. (ГИМ, Спб. 478, л. 224об), где **ъ** написано другими чернилами и другим пером по счищенному **ѣ**. Контекст см. в кн.: S. C y r i l l e d e J e r u s a l e m, *Catéchèses baptismales et mystagogiques*, p. p. J. Bouvet, Namur, 1962.

<sup>26</sup> W. R i c h t e r, *Die Landwirtschaft im homerischen Zeitalter*, в кн.: «Archaeologia Homerica», 2, Göttingen, 1968, стр. Н133.

<sup>27</sup> Ср. др.-евр. надпись *Al-haggittit* в псалмах 8, 84, 84, которые церковь толковала как производное от *gat* «точило» и тем самым создавала параллель к анакреонтическим *ὄμιλος ἐπιθήροις* (В. Н и к о л ь с к и й, *О надписаниях псалмов*, М., 1882, стр. 164—168, 217). Так и в славянской Чудовской псалтыри XI в.: *отъецъхъ*, см.: В. П о г о р е л о в, *Чудовская псалтырь*, СПб., 1910, стр. 187, 199. Об ином толковании см.: E. V i a n a, *Indicaciones musicales en los titulos de los Salmos*, в кн.: «Miscellanea Biblica B. Ubach», Montserrat, 1953, стр. 185—200. Жизненная приуроченность («Sitz im Leben») величайшего произведения любовной лирики, библейской Песни песней — празднество сбора винограда, см.: A. L e m a i r e, *Zamir dans la tablette de Gezer et le Cantique des Cantiques*, «Vetus Testamentum», 25, Leiden, 1975.

<sup>28</sup> «Patrologia Graeca», 64, Paris, 1862, стлб. 421—422.

<sup>29</sup> «Patrologia Graeca», 46, Paris, 1863, стлб. 701. Ср.: W. J a e g e r, *Gregor von Nyssa's Lehre vom Hl. Geist*, Leiden, 1966; D. J. M c C a r t h y, *Further notes on the symbolism of blood and sacrifice*, «Journal of Biblical Literature», 88, Middletown, 1969; 92 (1973).

<sup>30</sup> D. F l u s s e r, *Do You Prefer New Wine?*, «Immanuel», 9, Jerusalem, 1979.

дает им знание всех языков. Новое вино, излившееся из ран Сына, стало им наставником, поучает их и преподает им»<sup>31</sup>.

В иврите муст — *tiroš*, слово высокого поэтического стиля, происхождению его от семитского *yṣš* «сдавливать; выжимать сок»<sup>32</sup> противостоят этимологии египетская, минойская, хетто-лувийская<sup>33</sup>. Муст несли в храм в числе сельскохозяйственных начатков — лучшего, что предназначено на алтарь<sup>34</sup>. С *tiroš* синонимично *ʿāsīs*, от корня *ʿss* «сдавливать, изгнетать», специально о виноградном соке, причем этот синоним тоже уместен в поэтическом контексте<sup>35</sup>. Вину придавалось большое значение в быту и культуре с доисторических времен<sup>36</sup>. Нектар гомеровских богов — это еще не вино, а невещественный аромат, лишь позднейшие авторы стали здесь подразумевать вино, ароматизированное благовониями, сжигавшимися в жертвоприношениях на алтаре<sup>37</sup>. Ветхозаветное эсхатологическое будущее мыслилось как трапеза «для всех народов», где каждый праведник будет обсыпаться мозговые косточки тучных яств и пить очищенное молодое вино (Ис 25,6). Незадолго до рождения Минеи Дубровского таким вином в византийском стеклянном кубке восхищался мистик Симеон, смотревший сквозь него на солнце: «Вино сверкает, чистота его цвета веселыми искорками осыпает лицо того, кто пьет навстречу солнцу. Есть вещь, которую я не в силах понять: да, я не знаю, что радует меня больше — видеть красоту этих чистых солнечных лучей, или же пить и наслаждаться вином, вливающимся мне в горло. Хотелось бы сказать, что второе, но тут первое привлекает внимание и кажется более нежным, но как только я обращаюсь к первому — нежность вкуса кажется мне еще более сладостной, и я не устаю ни созерцать, ни снова приниматься пить»<sup>38</sup>.

При всей общности материальной культуры средиземноморского виноделия стилистическая функция греческого слова *γλεύκος* «муст» совсем не такая, какую имели в иврите *tiroš* и *ʿāsīs*. «Деяния апостолов», получившие окончательную редакцию вскоре после 75 г., предположительно в Александрии, имеют примечательно богатый словарь: из 2000 лексем, насчитывающихся в этом памятнике, 450 не встречаются в других книгах Нового завета; более богат здесь и синтаксис, отмечено и некоторое стилистическое превосходство<sup>39</sup>. Одной из лексических достопримечательностей «Деяний» и является *γλεύκος*, слово, имевшее ограниченное применение в литературном языке. В описании того же самого события ям-

<sup>31</sup> Jakob von Sarag, Gedicht über das Sprachenwunder am Pingstfest, в кн.: «Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter», übersetzt von P. S. Landersdorfer, Kempten — München, 1913, стр. 279. В одном из сиро-якобитских гимнов Великого четверга гроздь-Христос, окруженный гроздьями-апостолами, гибнет от града, неправедные люди отжимают из него сладостное вино: J. P. V e s s e, L'image poétique en Syrie et en Arménie chrétiennes, «Contacts», 31, 108, Paris, 1979, стр. 409.

<sup>32</sup> M. D e l c o r, De l'origine de quelques termes relatifs au vin en hébreu biblique et dans les langues voisines, в кн.: «Actes du I Congrès International de linguistique sémitique et chamito-sémitique», The Hague, 1974, стр. 229, 233.

<sup>33</sup> M. G ö r g, Ein semitisch-ostmediterranes Kulturwort im Alten Testament, «Biblische Notizen», 8, Bamberg, 1979, стр. 7—10.

<sup>34</sup> «Lexikon zur Bibel», hrsg. von F. Rienecker, Wuppertal, 1969, стлб. 1518.

<sup>35</sup> «Enciclopedia della Bibbia», 6, Torino, 1971, стлб. 1174—1183.

<sup>36</sup> F. S t o l z, Rausch. Religion und Realität in Israel und seiner Umwelt, «Vetus Testamentum», 26, Leiden, 1976; H. S c h m i t z, Heiliger Wein. Religionsgeschichtliche Anmerkungen zu einigen Trinksitten, «Zeitschr. für Papyrologie und Epigraphik», 28, Bonn, 1978.

<sup>37</sup> S. L e v i n, The etymology of *νεκταρ*, «Studi micenei ed egeo-anatolici», 13, Roma, 1971.

<sup>38</sup> «Syméon le Nouveau Théologien. Catechèses», 3, p.p. B. Kri-vochéine et J. Paramelle, Paris, 1965, стр. 28—29.

<sup>39</sup> L. C e r f a u x, Les Actes des Apôtres, в кн.: «Introduction à la Bible», p.p. A. Robert et A. Feuillet, 2, Tournai, 1959, стр. 370—374. Ср.: «A critical concordance to the Acts of the Apostles», ed. A. Morton, S. Michaelson, Wooster, Ohio, 1976.

бический канон Пятидесятницы, творение Кир Иоанна Арклийского, обходится без него:

Φωνὴν προφητόφθερχτον ἡγνοηκότας] <sup>40</sup>  
 Ἐφασκον οἰνόπεικτον ἀφρονες μέθην <sup>40</sup>

Гласа пророковъщательнаго не разумѣвше.  
 глаголаху безумнѣи вносотворенное пѣанство <sup>41</sup>.

Для γλεῦκος нет ни одного случая употребления в поэзии предшественников, хотя тема праздника сбора винограда присутствует уже у Гомера, среди сюжетов украшений на щите Ахилла («Илиада» XVIII, 561—572); только в эпиграмме (Леонида Тарентского?) находится γλευκοπότης «мустопийца», как эпитет сатиров <sup>42</sup>. Но для стиля Леонида Тарентского как раз характерны редкие слова, даже termini technici. Им и было слово γλεῦκος, в этом смысле оно употреблено единственным раз в Септуагинте — в Книге Иова (32, 19) <sup>43</sup>, да и то это не понравилось Симмаху, заменившему здесь γλεῦκος на οἶνος νέος <sup>44</sup>. Александрийское происхождение «Дейний ап остолов» делает уместным обращение к местному культурному субстрату <sup>45</sup>. Коптское ΜΡΙC или ΕΜΒΡΙC «муст» употреблялось в языке Библии шире, чем γλεῦκος, — в частности, коптский текст стиха Ис 63,2, упоминавшегося выше Григорием Нисским, содержит ΜΡΙC, хотя в других языках здесь муст прямо не называется. ΜΡΙC происходит, вероятно, от древнеегипетского *mršw* <sup>46</sup>, но является это слово местным или заимствованным — неясно <sup>47</sup>. Если речь идет о заимствовании, то исходную точку естественно искать на наиболее вероятной родине виноделия, в семитских языках, где от корня *mrt* произошли ивритское *yrš* > *tiroš*, аккадское *marāsu* «размешать с жидкостью», как и *meršu* «фруктовый сок», арабское *mrs/t* «раздавливать» <sup>48</sup>.

Общероманское *mustum* считается этимологически невыясненным <sup>49</sup>, уже на стадии латыни оно получило широкое распространение и было принято на поэтическом Парнасе <sup>50</sup>. С миссионерской латынью слово продвинулось далеко на север — в «Плавании св. Брендана», возникшем, как

<sup>40</sup> Πεντηχοστῆριον χαριστόνον, Ἐν Ρώμῃ, 1883, стр. 401, 425.

<sup>41</sup> В цветной Триоди XI — XII в. (ЦГАДА, фонд 381, № 138, л. 160—160об):  
 Гласы прркъ вѣцанааго не разумѣвше глаху винное безоумнѣи пѣанство.

<sup>42</sup> «Anthologia Graeca», ed. H. Beckby, 1, München, 1957, стр. 452.

<sup>43</sup> Ср.: A. Guillaumе, An archaeological and philological note on Job 32, 19, в кн.: A. Guillaumе, Studies in the Book of Job, Leiden, 1968, стр. 141—144. Сейчас древнерусская традиция текста Книги Иова начинается с Успенского сборника XII—XIII в. и ограничена паримийной редакцией, куда глава 32 не входит (Е. В. Афанасьев, Е. М. Шварц, Древнейший славянский перевод Книги Иова, в кн.: «Источниковедение литературы древней Руси», Л., 1980, стр. 7—10). Старше всех славянских рукописей и единственное точно локализованное свидетельство знания темы — фреска 1120-х гг., «изображение жены Иова, подающей на палке пищу пораженному проказой мужу», в новгородском Николо-Дворщенском соборе (М. К. Каргер, Новгород Великий, Л.—М., 1966, стр. 176).

<sup>44</sup> «Origenis Hexaplorum quae supersunt», ed. F. Field, 2, Oxford, 1875, стр. 59.

<sup>45</sup> Ср.: A. Jousen, Die koptischen Versionen der Apostelgeschichte (Kritik und Wertung), Bonn, 1969; «Die Berliner Handschrift der sahidischen Apostelgeschichte (P 15926)», hrsg. von F. Hintze und H.-M. Schenke, Berlin, 1970.

<sup>46</sup> «Wörterbuch der aegyptischen Sprache», hrsg. von A. Erman und H. Grapow, 2, Berlin, 1955, стр. 112.

<sup>47</sup> W. Westendorf, Koptisches Handwörterbuch, 2. Lfg, Heidelberg, 1967, стр. 100.

<sup>48</sup> Ср.: B. Meissner — W. von Soden, Akkadisches Wörterbuch, 7. Lfg, Wiesbaden, 1966, стр. 609.

<sup>49</sup> A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 2, Paris, 1951, стр. 755.

<sup>50</sup> Ср.: «Thesaurus linguae latinae», 8, 11, Leipzig, 1966, стлб. 1712—1714.

полагают, около 800 г. в Ирландии, прекрасное состояние здоровья монахов-мореплавателей после того, как они две недели не ели и не пили, объяснено тем, что они, казалось, были доотвала полны мустом, *repleti musto*<sup>51</sup>. Слово ассимилировалось не только германскими языками, но даже более богатым винодельческой лексикой греческим языком, с V в. н. э. в папирусах появилось *μῆστος* или *μῆσθος*<sup>52</sup>. Через испанское посредство возникло и арабское *mustār*, встречающийся в языке Ибн Кузмана, имама заджалистов вне всяких сравнений<sup>53</sup>. Незадолго до этого появляется *мъсть* в Минее Дубровского — древнейший русский факт того же порядка, который, несомненно, следует принять в расчет при будущей локализации рукописи<sup>54</sup>. Ведь на значительные расстояния можно было перевозить только созревшее виноградное вино, ежедневно расходувавшееся на литургии в тысячах древнерусских храмов, от юга до севера; церковные правила всегда строжайше запрещали употреблять для этой цели какие бы то ни было заменители. Новгородцу неоткуда было понять, что такое гроздь винограда, нам невозможно представить себе, что рисовалось его воображению, когда он слышал о ней в церкви, — например, по изданной И. В. Ягичем Минее (стр. 116—117), где неизвестный стихирарный поит в тех же образах, какие есть в ставрофетокионе Минеи Дубровского, размышлял о Лонгине сотнике, обратившемся в веру непосредственно у голгофского Распятия: *Плодовитаго винограда на дрѣвѣ повѣшена видѣвъ, славыне, истачающе вино живота и ѡпоущениа, оустыгѣ приложилъ кси срѣдѣи и пивъ веселии испълнилъ са кси, горькоко невѣрствикъ изблвль кси* (здесь Христос представлен в виде грозди винограда, а голгофский крест является точилом — это наблюдалось и в средневековой иконографии<sup>55</sup>).

Общерусским слово *муст* не является сейчас<sup>56</sup> и не было им в XI в., его наличие в копируемых на Руси древнеболгарских рукописях нередко вело к недоразумениям. После Минеи Дубровского следующий по старшинству русский текст службы апостолам Варфоломею и Варнаве находится в июньской нотированной (то есть писавшейся особо тщательно) Минее XII в. Государственного исторического музея, здесь наш ставрофетокион говорит не о мусте: *мъсть ми исканалл* (Слп. 167, л. 67). Богоматери приписано желание мести — ошибка в догматическом отношении чудовищная, ведь именно неотмщенной казнью Христа была разрушена

<sup>51</sup> A. Tobler — E. Lommatzsch, *Altfranzösisches Wörterbuch*, 52. Lfg, Wiesbaden, 1963, стлб. 323—324. Ср.: W. Haug, *Vom Imram zur Aventure-Fahrt*, в кн.: «Wolfram-Studien», hrsg. von W. Schröder, Berlin, 1970, стр. 265.

<sup>52</sup> P. Aulay-Wissowa-Kroll, *Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, XVI, 1, Stuttgart, 1933, стлб. 912.

<sup>53</sup> «Todo Ben Quzman», ed. E. García Gómez, 3, Madrid, 1972, стр. 412.

<sup>54</sup> Имеются археологические данные только о греческих и скифских винодельнях Крыма и Северного Причерноморья, где мигрировали и готы, но общепринятое мнение о заимствовании славянского *вино* через готский язык «не кажется бесспорным» (А. В. Десницкая, *О ранних балкано-восточнославянских лексических связях*, ВЯ, 1978, 2, стр. 45).

<sup>55</sup> A. Weckwerth, *Der in der weinumrankten Kelter Gekreuzigte*, в кн.: «Festschrift Alois Thomas», Trier, 1967. О символизме антитезы *сладкое — горькое* см.: K. Lange, *Geistliche Siesse*, «Zeitschr. für deutsches Altertum», 95, Wiesbaden, 1966. Ср. у Симеона: «Господь распространит на него свою милость и превратит муку его в радость, горечь его сердца обретет сладость муста, он изблюет яд змия, разъедавший его утробу» (S. Умѣоѡ, указ. соч., стр. 20).

<sup>56</sup> Характерна отчужденность, с которой оно отмечается в профессиональной лексике наших виноделов: *мост* — немецкое обозначение свежесвыдавленного сока... В русской практике употребляется выражение *муст* (В. И. Таров, *Словарь-справочник по виноградарству и переработке винограда*, М., 1940, стлб. 266). Ср.: W. L. Riese, *Der Most. Geschichte und Geräte*, «Jahrbuch des Musealvereines Wels», 19, Wels, 1975.

исконная логика зла, регулируемое правом (*lex talionis*) нескончаемое чередование зла и ответного зла. Распятый Христос отказался быть звеном в этой цепи, в чем и понималось — в том числе минейными псалмами — его торжество над разорванным злом<sup>57</sup>. Выше упоминалось (примеч. 25) об исправленном написании мѣстомъ взамен первоначального мѣствомъ в древнейшем русском тексте Деян 2,13. В старославянской Супрасльской Четве Минее XI в. упоминается евангельский эпизод избития вифлеемских младенцев<sup>58</sup>: **кгда младенищъ крѣвижъ ви-олеомъ багъримъ бѣше и младъ грознѣвъ мѣсть младъ съ родитель топлами слъзами мѣсимъ бѣше**. Эта же гомилия вошла в русский Успенский сборник XII—XIII в., где писец так расставил пунктуацию, что становится ясным — данное место он понимал не вполне: **кгда младенищъ крѣвию ви-олеомъ багъримъ бѣше и младъ гръзнѣвъ мѣсть младъ съ родитель теплами слъзами мѣсимъ бѣше**<sup>59</sup>. Сюда добавилось недостаточное понимание текста учеными издателями Успенского сборника, удостоверяемое данной ими грамматической характеристикой первого младъ: оно определено как им. п. ед. ч.<sup>60</sup>, тогда как в действительности это род. п. мн. ч.<sup>61</sup>, что видно и по оригиналу: *ἀφ' ὧν βοτρώων γλεῦκος ἄφ' ὧρων*<sup>62</sup>, не интересовавшему ответственного редактора издания<sup>63</sup>. Даже в южнославянском памятнике — глаголическом Синайском требнике XI в. для молодого вина употреблено название не муст, а вино кысѣло<sup>64</sup>. Я знаю только один случай правильного употребления имени мѣсть в новгородской рукописи XI—XII в. — в неопубликованной апрельской служебной Минее ЦГАДА (фонд 381, № 110, л. 85об), где третий тропарь четвертой песни канона св. Елизавете, творения Иосифа Гимнографа, выглядит так: **Винограда лоза оуыс истиннаго Елисаветы гръзновение нослаци дховно добродѣтели мѣсть цѣлени и оумилениа каплаци имъ же ны веселиши вѣрно чѣтоуща равны англы житье**. Этому соответствует в оригинале:

Ἀληθινῆς  
κλήμα ἀμπέλου γεγένησαι,  
Ἐλισάβετ,  
βότρουα προσφέρουσα  
τοὺς ἐναρέτους πνευματικῶς,  
γλεῦκος ἰαμάτων  
καὶ κατανώξεως στάζοντας,  
δι' ὧν ἡμᾶς εὐφραίνεις  
τοὺς ἐν πίστει τιμώντας  
τὸν ἰσάγγελον βίον σου πάντοτε<sup>65</sup>.

<sup>57</sup> K. Koch, Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments, Darmstadt, 1972; J. L. Marion, Le mal en personne, «Communio», 4, Paris, 1979, стр. 28—42.

<sup>58</sup> С. Северьянов, Супрасльская рукопись, СПб., 1904, стр. 397, 17.

<sup>59</sup> «Успенский сборник XII—XIII в.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971, стр. 331.

<sup>60</sup> Там же, стр. 604.

<sup>61</sup> Рецензент «Успенского сборника» Н. А. Мещерский, задаваясь вопросом, «в чем причина относительно частых ошибок, допущенных при подготовке текста» под редакцией С. И. Коткова, пришел к выводу, что «таких причин в основном две: недостаточная начитанность в текстах традиционной древнеславянской письменности и недостаточное внимание к широкому контексту издаваемого памятника» (ИАН СЛЯ, 1972, 4, стр. 380).

<sup>62</sup> «Patrologia Graeca», 61, Paris, 1862, стлб. 707.

<sup>63</sup> Ср.: Э. Благова, Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборнику, ИАН СЛЯ, 1973, 3, стр. 273, № 28.

<sup>64</sup> «Slovník jazyka staroslověnského», 16, Praha, 1967, стр. 98.

<sup>65</sup> «Analecta Hymnica Graeca», VIII, Roma, 1970, стр. 294.

Однако в этой же рукописи имеется доказательство, что ее писец лишь приблизительно понимал, о чем в данном случае идет речь: на л. 93 такое же написание *μῆστος* он употребил там, где нужно было бы написать *μαστ*, *χρῆσμα* — в стихире св. Василию, 26 апреля, причем эта ошибка повторена в списке XII в. (ГИМ, Син. 165, л. 209), с той разницей, что здесь фигурирует *μῆστος*. В остальных текстах древнейших служебных Миней русского происхождения греческому *γλυκός* соответствует слово, обозначающее в старославянском языке, если судить по данным Р. М. Цейтлин<sup>66</sup>, вовсе не напиток, не вещество, а ощущение — *сладость*, что значит «сладость, наслаждение, удовольствие». У рассматриваемого нами ставрофестокциона Миней Дубровского есть на редкость близкая параллель, причем, что еще удивительнее, находится она в той же службе печатного Октоиха. Но если первая вещь имеет структурные признаки тропаря, то вторая оформлена как стихира на стиховне. При всем сходстве в выборе слов и фразеологических оборотов в первой фигурирует *μστο*, а во второй — *сладость*. *Γλυκός* переведено как *сладость* в Минеях И. В. Ягича (стр. 0193, 20; 289, 17; 296, 19; 446, 6) и в неопубликованных Минеях ЦГАДА, где, сверх того, встречается еще один вариант, по мнению Р. М. Цейтлин — более архаический<sup>67</sup>: *сласть* (февральская Минея XI—XII в. № 103, л. 250б19 и июльская Минея XI—XII в. № 121, л. 460б21). Это правильно передает этимологию греческого термина и соответствует действительному характеру ощущения при дегустации муста — он слаще вина, особенно первый сок, вытекающий еще до сдавливания, самотеком; кипятя муст до испарения половины или даже двух третей первоначального объема, древние виноделы получали вещество, употреблявшееся, как и мед, вместо позднейшего сахара, на нем замешивали *μουστάκιον*, ритуальное свадебное печенье. Его компоненты, мука и муст, заставляют вспомнить трудный стих: «Хлеб одушевит язык у юношей и вино — у отроковиц» (Зах 9, 17), в Елизаветинской Библии: «Шеница юношамъ и вино блгоуханно дѣвамъ», в Септуагинте: *οἶτος νεανίσκοις καὶ οἶνος ἐρωδιᾶζων εἰς παρθένους*. Это маловразумительно, масоретский текст оригинала сейчас интерпретируется иначе: «хлеб рождает мальчиков и муст девочек», с оговоркой, что в неповрежденности стиха нет уверенности<sup>68</sup>. Но у Гомера мука есть костный мозг мужей, а ширазская макома аль-Басри сравнивает девственниц с запечатанным молодым вином<sup>69</sup>.

Так или иначе, славянские переводчики сумели справиться с трудностью — с одной из множества трудностей, неизбежно возникавших при распространении литургии из одной культурной зоны в другую<sup>70</sup>. В русских условиях виноград стал обозначать любой фруктовый сад, а *вино* — напиток, изготовленный не только из винограда, лишь бы он был алкогольным, в том числе и так называемое хлебное вино, под которым разумеется водка<sup>71</sup>. Возможно, этот вербальный сдвиг заменил передвижение границы виноградарства на север, которое имело место в средневековой Западной Европе под давлением церковной потребности в нефальсифицированном литургическом вине, когда нельзя было полагаться на

<sup>66</sup> Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка, М., 1977, стр. 167.

<sup>67</sup> Там же, стр. 183.

<sup>68</sup> «Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament», 2, Stuttgart, 1977, стлб. 151.

<sup>69</sup> Абу Мухаммед аль-Касим ибн Али аль-Харри, Макамы, М., 1978, стр. 132—134 (перевод А. А. Долиной).

<sup>70</sup> Ср.: G. Venturi, Fenomeni e problemi linguistici della traduzione liturgica nel passaggio da una cultura ad un'altra, «Ephemerides Liturgicae», 92, Città del Vaticano, 1978, стр. 5—75.

<sup>71</sup> «Словарь русского языка XI—XVII веков», 2, М., 1975, стр. 181—185.

бесперебойную дальнюю доставку<sup>72</sup>. Примечательна датировка хлебного вина XI веком в кругу специалистов по «Слову о полку Игореве» — на основании того, что в Изборнике 1076 г. есть выражение **въ мьножествѣ хлѣбнѣмь и въ обилии виннѣмь**<sup>73</sup>. В самом тексте Изборника указано, что это выражение является цитатой из Иезекииля<sup>74</sup>, а в аппарате дан греческий текст — по парафразе у Миня, без более правильного привлечения Септуагинты, которая точнее соответствует славянскому тексту: *ἐν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίαις οἴνου*, вместо предлагаемого редактором издания Изборника *ἐν πλησμονῇ ἄρτων, καὶ ἐν εὐθηνίαις*, без упоминания вина<sup>75</sup>. Ученая традиция толкования Иезекииля существует тысячелетия, но по смелости гипотез ничего равного обнаружению водки в стихе 16,49 она не знает. На таком же филологическом уровне находятся и сопровождающие рассуждения о синем вине, в котором усматривается предзнаменование, что князь может быть убит и заспиртован — для этого в хлебное вино добавлены бактерицидные вещества, придавшие ему синеватый оттенок... Древность виноделия, пивоварения, умения изготавливать хмельной мед не означает, что при этом был известен собственно пьянящий компонент алкогольных напитков, спирт. До эпохи, когда был написан Изборник 1076 г., производились только виноградные вина тех видов, которые сейчас классифицируются как сухие; достичь в них крепости свыше 15° теоретически невозможно<sup>76</sup>. Пить такое вино, не разводя его водой, греки считали дикостью. Не все ясно с «пьяной горечью Фалерна» (Пушкин), лучшим вином древнего Рима, культивировавшимся до VI в., когда Григорий Турский назвал продукцию дижонских виноделов *tam nobile falernum*<sup>77</sup>; даже евангельское чудо превращения воды в вино на брачном пире в Кане Галилейской (Ин 2,1—10)<sup>78</sup> на языке литургической латыни меровингской эпохи выражено так, что получившееся вино было именно фалернским: *qui nuptiale convivio vertisti laticis in falernum*<sup>79</sup>. Плиний отметил: *pec ulli nunc vino maior auctoritas; solo vinogum flamma ascenditur*<sup>80</sup>, «никакое из нынешних вин не имеет лучшей репутации; оно одно из всех вин воспламеняется». Следовательно, крепость фалернского была большей, насколько — определить невозможно, так как источники не говорят ни о технологических особенностях выработки этого вина, ни об условиях воспламенения, которое зависит не только от концентрации спиртового раствора, но и от его температуры<sup>81</sup>. Важен сам факт воспламенения<sup>82</sup> — из него древние могли сделать далеко ведущий

<sup>72</sup> О варяжской практике см. статьи «Vin» и «Vinhandel» в кн.: «Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder», 20, København, 1976.

<sup>73</sup> А. Г. Степанов, Сон Святослава и синее вино в «Слове о полку Игореве», об. «Слово о полку Игореве. Памятники литературы и искусства XI—XVII вв.», отв. ред. О. А. Державина, М., 1978.

<sup>74</sup> Ср. теперь *злеб + вино* в кумранских текстах как все, из чего состоит трапеза: P. Lebeau, *Le vin nouveau du royaume, Paris — Bruges, 1966*, стр. 53—62.

<sup>75</sup> «Изборник 1076 года», под ред. С. И. Коткова, М., 1965, стр. 803.

<sup>76</sup> G. Debuigne, Larousse des vins, Paris, 1970, стр. 10.

<sup>77</sup> «Gregorii Turonensis Historiarum lib. III, 19», ed. R. Buchner, Darmstadt, 1955, стр. 174—176.

<sup>78</sup> K. T. Cooper, The best wine: John 2, 1—11, «Westminster theological Journal», 41, Philadelphia, 1979.

<sup>79</sup> Th. Michels, Falernum, «Philologische Wochenschrift», 47, Leipzig, 1927, стр. 927—928.

<sup>80</sup> Plin l' Ancien, Histoire naturelle, livre XIV, p. p. J. André, Paris, 1958, стр. 44.

<sup>81</sup> В. Н. Стабников, И. М. Ройтер, Т. Б. Процюк, Этиловый спирт, М., 1976, стр. 79—80.

<sup>82</sup> Факт не бесспорный — эпитет *ardens* «горящий», применяемый латинскими авторами к фалерну, итальянские виноделы сейчас считают поэтической фикцией, см.: «Enciclopedia agraria Italiana», 4, Roma, 1960, стр. 318. Гораздо менее осторожен их армянский коллега Л. М. Джанполадян, уверенный в том, что крепость фалери-

вывод, что в вине присутствует какая-то особенная субстанция и надо заняться ее извлечением.

Впервые спирт был получен возгонкой виноградного вина, это открытие сделали около 1100 г. фармацевты главного очага европейской медицинской науки — *Civitas hippocratica* в Салерно<sup>83</sup>. Ими изготовлялся спирт невысокой концентрации — *aqua vitae* «вода жизни», *aqua ardens* «горящая вода»<sup>84</sup>. В середине XIII в. итальянские врачи считали его лекарством от всех болезней, но способ изготовления не разглашался, рецепты XII в. дошли до нас в тайнописи, а когда в Крестовых походах случалась необходимость доставить на родину останки знатного рыцаря или даже короля, их не заспиртовывали, не бальзамировали: труп варили до отделения тканей от костей и во гроб полагали скелет — это называлось тевтонским обычаем, *mos teutonicus*<sup>85</sup>.

Изготовление водки из зернового сырья — технологическое достижение позднего средневековья, вскоре дискредитировавшее алхимическую тайну. До этого пьянящая субстанция сакрального винограда была понятием настолько высоким, что к нему было применено пифагорейское название *πέμπτη οὐσία*, *quinta essentia*, «пятая сущность»; еще у Гете

Mein Gesang der dringt in's Blut  
Wie Weines Geist und Sonnen Glut,

где *Weines Geist* и есть *спирт*, стилистически невозможный в поэтике позднейшей. Эта возвышенность шла на убыль в пушкинских шуточных оборотах *винные пары* («Дубровский»), даже *пары Вакха* («Послание Дельвигу»). Так могли говорить и Шиллер (*im Dampfe des Weines*), и Мюссе (*les vapeurs du vin*), это было в духе представлений гуморальной физиологии Ренессанса: внутри человека происходят испарения его соков, ударяющие в мозг. Античный автор, современник культовых празднеств Вакха, так выразиться не мог бы, но современник салернского открытия арабо-испанский поэт Ибн Кузман — сумел:

El vapor del mosto es mi vida<sup>86</sup>  
Пары муста для меня — жизнь.

Русский язык нового времени не налагал в качестве обязательного условия связь между эйфорией и виноградом. Нет оснований предполагать, что подоплекой «виноградий» в песнях Печоры<sup>87</sup> было хотя бы отдаленное знакомство творцов этого фольклора с виноградарством, даже в наше время 80-летняя исполнительница на вопрос диалектолога, о каком винограде она поет, ответила: «*Ишь чего захотила, писня-то виговвишная!*», другие опрашиваемые крестьяне средней полосы России думали, что виноград — это черемуха или рябина<sup>88</sup>. Решимся дополнить В. Я. Пропп-

ского была не менее 30—40 градусов! (Л. М. Джанполадян, Очерки развития отечественного коньячного производства, Ереван, 1966, стр. 14).

<sup>83</sup> R. J. Forbes, Short history of the art of distillation, Leiden, 1948, стр. 87.

<sup>84</sup> «Mittellateinisches Wörterbuch», 6, Berlin, 1963, стлб. 833; G. Keil, Der deutsche Branntweintraktat des Mittelalters. Texte und Quelleuntersuchungen, «Centaurus», 7, Copenhagen, 1960—1961.

<sup>85</sup> A. Негманн, Einbalsamierung, в кн.: «Reallexikon für Antike und Christentum», hrsg. von Th. Klauser, 4, Stuttgart, 1959, стлб. 798—821.

<sup>86</sup> «Todo Ben Quzmán», ed. E. García Gómez, 1, Madrid, 1972, стр. 24—25 (Zéjel n° 5, estrofa 9).

<sup>87</sup> «Песни Печоры», изд. подготовили Н. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Б. М. Дობровольский, М.—Л., 1963.

<sup>88</sup> А. Ф. Марецкая, Из истории слова *виноград*, сб. «Диалектная лексика. 1977», Л., 1979, стр. 95.

па<sup>89</sup>: в основе этого словоупотребления — смутные впечатления от услуживания в церкви. В параллель к этому заметим, что Г. А. Гуковский верно угадал «только слегка» намеченный, «несколько библейский» стиль пушкинского стихотворения «Виноград»<sup>90</sup>, при филологическом прочтении которого Б. В. Томашевскому казалось, что «поэт воображает себя в Крыму»<sup>91</sup>, а М. Л. Нольман искал основу образов в поэзии Саади<sup>92</sup>.

Славорофетокионы — многочисленные, изобразительные в движениях и поворотах художественной мысли — еще не сподобились быть принятыми в написанную историю древнерусской литературы<sup>93</sup>. Но именно они являются тем, что нужно знать для понимания философской горечи пушкинского продолжения этого жанра — стихотворения «Мирская власть», интерпретация которого сводилась к попыткам выяснения биографических обстоятельств<sup>94</sup>, либо к произвольному толкованию евангельского текста<sup>95</sup>; «Мирская власть» остается для пушкинистов «загадкой»<sup>96</sup>.

В «Русском языке» остался без идентификации тропарь, начинающийся словами *Силою блгодѣтною* (стр. 29). Он тоже есть в печатной службе данного праздника, только начинается не *силою*, а *солью*, τῷ ἄλατι; *силью* является нередкой для минейных текстов погрешностью письма под диктовку. Полный греческий текст тропаря:

Τῷ ἄλατι τῆς χάριτος τῶν εἰδώλων  
ἐπαυσας  
τὴν σηπεδῶνα, πάνσοφε,  
τῷ νοστήμῳ λόγῳ τῆς πίστεως  
τὰς καρδίας ἡδύων τῶν τιμώντων σε.

Эта же ошибка зафиксирована И. В. Ягичем (стр. 223, 1 и прим. 1), она есть в Путятиной Минее XI в. (ГПБ, Соф. 202, л. 76) — *Жируюшта въ зльобѣ гноениа члца Андрониче срца силож бжжкж оустави оучениа си (ἄλατι θεῖῳ ἔσχησας δογμάτων σου)* и в четырех Минеях XI—XII в. древнейшего комплекта ЦГАДА: февральской (№ 103, л. 17) — *Жирующа безбожныа сьгноенныхъ вѣрныхъ тлюпоу гстави сластьное силоу словесь ти (ἄλατι τῶν λόγων σου)*, январской (№ 99, л. 106) — *Слово твою силою потьрено ави сѧ блжене (Ὁ λόγος σου ἄλατι διηρημένος)*, апрельской (№ 110, л. 510б) — *Житье ти свѣтло-слово же силою бжжствьною блдгтью потьрено (ὁ λόγος ἄλατι τῷ θεῖῳ καὶ χάριτι ἡρτωμένος)*. Богаче всех такими примерами августовская Минейя (№ 125), где трижды встречаемся со сладкою силою (лл. 68, 83об, 86об), первому случаю соответствует θεῖῳ ἄλατι, двум другим — νοστήμῳ ἄλατι, а один раз находим обратную ошибку: *солью прѣство дха* вместо τῷ Πνεύματος τῆ δυναστεῖα. (л. 68об). Итого десять случаев в рукописях, отделенных друг от друга меньше чем столетием! Ничего общего в звуковом облике греческих слов, обозначающих понятия *соль* и *сила*, нет, но сходство славянских

<sup>89</sup> В. Я. Пропп, Русские аграрные праздники, Л., 1963, стр. 37—38.

<sup>90</sup> Г. А. Гуковский, Пушкин и поэтика русского романтизма, ИАН ОЛЯ, 1940, 2, стр. 89.

<sup>91</sup> В комментариях к кн.: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., 1, М.—Л., 1956, стр. 498; 2 (1961), стр. 45.

<sup>92</sup> М. Л. Нольман, Западно-восточный синтез в произведениях Пушкина и его реалистическая основа, «Народы Азии и Африки», 1967, 4, стр. 119.

<sup>93</sup> Больше повезло латинской гимнографии, текст Stabat Mater dolorosa вдохновил даже славянина А. Дворжака.

<sup>94</sup> В. В. Виноградов, Язык Пушкина, М.—Л., 1935, стр. 115.

<sup>95</sup> Ю. М. Лотман вспомнил «удивление Марии, сначала принявшей воскресшего Христа за садовника» («Уч. зап. Тартуского ун-та», 119, Тарту, 1962, стр. 27).

<sup>96</sup> Н. В. Измайлов, Очерки творчества Пушкина, Л., 1975, стр. 253.

слов очевидно. Путаница древнерусских написаний под диктант имела место не во всех грамматических формах, а только в творительном падеже единственного числа, где близость достигает сегодня максимума в укр. *силою* — *силю*. Процесс преобразования исконого *o* в *i* в новых закрытых слогах, имевший результатом одну из характернейших черт украинского вокализма, «начался, вероятно, довольно рано, когда еще не закончилось завершение формирования первого полногласия»<sup>97</sup>, к тому же разница между гласными *ы* и *i* иногда сходилась на нет, что засвидетельствовано памятниками XI в.<sup>98</sup>

В Минее Дубровского второй и третий стихи этого тропаря, разделенные колоном, но в остальном написанные без словodelения, имеют такой вид: **идольскоу̇юстави · съгноение чьстье**. Надо было **идольское оустави**, но вследствие ошибки получилось согласование прилагательного с предшествующей **силою**, вместо того чтобы поставить его в тот же падеж, который имеет последующее **съгноение**. Надстрочным *o* писец начал исправление, но не довел его до конца. В «Русском языке» без каких-либо пояснений надстрочное *o* введено в строку, перед **-ую**, хотя оно является началом недописанного префикса последующего слова, которое осталось в невозможном по смыслу виде: **стави**. Ведь речь идет о том, что соль (или сила) благодати останавливает гниение. В основе смысла этого гимна — апостольское изречение **слово ваше да бываетъ всегда во благодати, солию растворено** (Кол 4,6) и обращение Христа к своим ученикам: **имѣйте соль въ себѣ** (Мк 9,50)<sup>99</sup>. В оценке семантического потенциала соли нельзя исходить из представлений нового времени, когда соль — это сама дешевизна. Оклад римских сенаторов, гонорар врачей назывались *salarium* «деньги на соль». Сегодня в образном словоупотреблении соль — это не больше чем остроумие, и разве лишь в *хлебосоливстве* еще виден высокий символизм былого значения слова и вещи, кульминирующий в японском космогоническом мифе, где соль — один из первоэлементов вселенной. Греки, гунны клялись солью и считали такую клятву особо священной<sup>100</sup>.

Для идентификации последнего из оставленных в «Русском языке» неопознанными гимнов, стихирь **Основавъ земляна**, я обратился к коллеге Йоргену Ростеду («Monumenta Musicae Byzantinae», Копенгаген); 5 сентября 1980 г. он сообщил:

«Тео — в ответ на Ваше письмо от 11 июня (в самый праздник Варфоломея и Варнавы!).

Ваш вопрос доставил мне уйму развлечений. Главная причина в том, что я не понимаю по-церковнославянски, а Арне Бугте, с которым я обычно связываюсь в таких случаях, не имел возможности прибыть в Институт. Поэтому мы должны были вести дискуссии по телефону — и можно представить себе характер нашей беседы, если иметь в виду, что я не умею произносить слова, о которых спрашиваю. Несмотря на эти препятствия, мы пришли к успешному раскрытию Вашей маленькой тайны.

Ваш текст переведен с греческой стихирь *Καταλιπὼν τὰ ἐπὶ γῆς ἰχθυολόθησας Χριστῷ* (глас 2). Это — известный славник на апостольские праздники, в моем материале он обычно помещается на 14 ноября, Филиппов день. Вероятно поэтому Вы не встретили его сами.

<sup>97</sup> Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 221.

<sup>98</sup> Там же, стр. 178—181.

<sup>99</sup> А. Огбе, Ecclesia, sal terrae, segun San Ireneo, «Recherches de Science Religieuse», 60/2, Paris, 1972, стр. 219—240.

<sup>100</sup> Подробнее см.: P h. R e c h, Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung, 2, Salzburg, 1966, стр. 209—235.

Дальнейшая трудность — это, конечно, зачало церковнославянского перевода. В одном старом издании, которое Бугге имеет под рукой, оно не такое как в Вашем письме, а **оставивъ же на земли**. Тем не менее это, несомненно, тот же текст. Он следует за греческим оригиналом близко, хотя, конечно, не имеет имени **Филипé** перед словом **апостоле**.

В надежде, что мною (или вернее: нами) Вам дана таким образом необходимая информация, я остаюсь

Вашим И. Ростедом».

Добавим, что стихира дважды встречается в издании И. В. Ягича — не в основной ноябрьской Минее 1097 г., а как интерполяция из позднейших списков (стр. 372, 45-20; 504, 3-8), причем оба раза с правильным зачало **Оставивъ земляна** и с указанием И. В. Ягича на греческий первоисточник (стр. 594, 605). Ошибка в Минее Дубровского является типичной ошибкой диктанта.

Итак, для всех десяти вопросов, оставленных без ответа в «Русском языке», ответ есть. К этому нужно добавить случай, когда «Русский язык» дал ложный ответ, при отыскании греческого соответствия к седальну апостола Варфоломею **Оудицею словесъ твоихъ** (стр. 27). Без колебаний ему поставлен в параллель имеющийся в печатной службе текст  $\Gamma\eta\ \sigma\alpha\gamma\acute{\eta}\nu\eta\ \tau\eta\varsigma\ \gamma\lambda\acute{o}\tau\tau\eta\varsigma\ \sigma\omicron\upsilon\omicron\ \dots$ . Но когда это бывало, чтобы греческая стихира превратилась в славянский седален, да еще меняла глас с четвертого на восьмой! Конечно, гласы византийского средневековья — материя трудная, свое обозрение «Печатные и рукописные сочинения греков о музыке» основоположник отечественной минейной филологии епископ Порфирий Успенский закончил безнадежно: «Пиша все эти строки, я сознаю, что похожу на певца, поющего глухим. Лучше же мне оставить их без мелодий и начать говорить кому-нибудь другому о других предметах»<sup>101</sup>. Внимание к соответствию номеров гласов, указываемых в славянском и греческом источниках, к соответствию подобнов — обязанность филолога, публикующего древнюю певческую рукопись. В данном случае это условие не соблюдено. Сопоставленные тексты не выжуются друг с другом; видимо, причиной сопоставления было только то, что в их зачалах имеются **оудица**<sup>102</sup> и **σαγήνη** — но последнее, по точному значению термина, есть большая прямоугольная, очень длинная сеть, с деревянными поплатками сверху и каменными или свинцовыми оттяжками снизу, рыбаки тянули ее с лодок<sup>103</sup>. Старославянскими соответствиями этого термина являлись **неводъ**, **мръжа**, **сѣть**, **ометь**<sup>104</sup>.

На самом деле седальну Минее Дубровского первоисточником служил греческий седален того же восьмого (по греческому счету — четвертого косвенного) гласа, начинающийся словами  $\Gamma\eta\ \acute{\alpha}\gamma\lambda\iota\sigma\tau\epsilon\tau\omicron\upsilon\ \tau\omicron\upsilon\ \lambda\acute{o}\gamma\omicron\upsilon\ \acute{\alpha}\nu\alpha\gamma\chi\acute{\alpha}\nu\omicron\nu/\acute{\epsilon}\kappa\ \beta\omicron\delta\omicron\upsilon\ \acute{\alpha}\gamma\omega\sigma\iota\acute{\alpha}\varsigma\ \theta\epsilon\omicron\pi\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ . Полный текст этого гимна не публиковался, но он есть на л. 60 Cod. gr. 620 Синайского монастыря<sup>105</sup> и на л. 460

<sup>101</sup> Епископ П о р ф и р и й, Первое путешествие в афонские монастыри и скиты, ч. 2. Приложение к II отделению сей части, М., 1881, стр. 91.

<sup>102</sup> В раннехристианской живописи есть изображения рыбака с рыбой на крючке уды, что означало Христа или апостолов, улавливающих души. Этот же образ есть в языке патристики, откуда он заимствован гимнографами. См.: J. E n g e l a n n, Fisch, Fischer, Fischfang, в кн.: «Reallexikon für Antike und Christentum», hrsg. von Th. Klauser, 55, Stuttgart, 1968, стлб. 1021—1097.

<sup>103</sup> «Der kleine Pauly», 4, München, 1972, стлб. 1498.

<sup>104</sup> V. J a g i ć, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913, стр. 363—364.

<sup>105</sup> H. F o l l i e r i, указ. соч., 4, стр. 322. Проф. Э. Фоллпери любезно предоставила мне фотокопию текста из синайской рукописи.



начинается он стихирами Варнаве, четвертого гласа, на подобен **Дасть зна**. Этим подразумевается крестная стихира, которую певцы знали по Октоиху (глас четвертый, в среду утра): **Даль еси знамение болцимъ са тебе, господи, кръсть твои чьстьныи...** В оригинале:

ᾠθωκας σημειωσιν  
τοῖς φοβουμένοις σε, Κύριε,  
τὸν σταυρὸν σου τὸν τίμιον... 112.

Кончается лист началом первого канона, творения Феофана Клейменово; по недоразумению «Русский язык» поместил этот лист не на своем месте, а в самом конце службы, после восьмой песни второго канона, анонимного. Лист с заключительной девятой песнью второго канона утрачен, но можно полагать, что ее тропари имели греческий оригинал, не отличающийся от печатного, ведь состав второго канона стабилен благодаря акростиху, связывающему инициалы тропарей: *Ἐδῆν πλέκω σοι, Βαρνάβα θεηγόρος* «*Песнь сплетая тебе, Варнава, говорящий о божь*». Как можно однако убедиться по печатному греческому тексту, древность структуры которого подтверждается совпадениями с Минеей Дубровского — и это важно, так как рукописные источники печатного издания в нем не названы, для богослужебных нужд это было бы лишним<sup>113</sup> — не позже XI в. акростих канона был нарушен заменой феотокионов. Такие случаи редкостью не являются, причины замены остаются всегда неизвестными. Для нашего случая приходится довольствоваться двумя констатациями. Во-первых, почему-то древнему редактору больше понравились феотокионы, имеющиеся в каноне Иоанну Богослову, славянский перевод которого есть в Минее, изданной И. В. Ягичем; об этом уже была речь по поводу идентификации трех феотокионов, не опознанных в «Русском языке», но сходство простирается и на другие феотокионы — первый, шестой и восьмой. Во-вторых, по оплошности древнего редактора два канона службы апостолам Варфоломею и Варнаве имеют в Минее Дубровского одинаковые шестые и одинаковые восьмые феотокионы. Это — факт выдающийся, в «Русском языке» он даже не упомянут. Палеографического описания, развивающего или оспаривающего фонетические соображения В. М. Маркова о вероятном приоритете Миней Дубровского над Остромировым Евангелием, в «Русском языке» почему-то нет, хотя именно палеографической стороной сильны наши публикации по лингвистическому источниковедению, это общепризнано. Но если предположение В. М. Маркова подтвердится, то феотокионы-дубликаты Миней Дубровского, к которым подведены третьи параллели из новгородской Миней 1096 г., займут самое почетное место в древнерусском материале по вариативности. Будет полезным добавление к этому еще одной параллели, к пятому феотокиону второго канона (стр. 38), которой имеется и в каноне св. Феодосию январской Миней XI—XII в., новгородского происхождения (ЦГАДА, № 99, л. 31) и начинается здесь с контаминации слов **оутробе** и **бце**: **Се въ оутробце прчстал Ха ба паче слова имоуци лко же Исаид прѣже извѣстова паче кстьства того бце родила еси**<sup>114</sup>. В годовом круге греческих печатных Миней этот феотокион

<sup>112</sup> W. Christ — M. Paraniikas, указ. соч., стр. 68.

<sup>113</sup> Поскольку римское издание Миней, использованное в «Русском языке», готовилось под руководством ученого кардинала Ж. Питра по рукописям, находящимся в Ватикане и Гроттаферратском монастыре близ Рима, бесполезно подчеркивать, что в этих рукописных собраниях нет сопоставимых материалов, которые были бы старше Миней Дубровского, и есть всего одна июньская Миней того же времени, см.: «Analecta Hymnica Graeca», X, Roma, 1972, стр. V—VII.

<sup>114</sup> При канонархии зачало можно прочесть или воспринять на слух и как **Се въ оутро бце**.

встречается четырежды<sup>115</sup>; варьирование имело место не только в процессе славянского перевода и переписывания, оно — вопреки идентичности греческих текстов в «Русском языке» — засвидетельствовано и в самом греческом материале<sup>116</sup>.

В заключение — об учебном аппарате публикации в «Русском языке». Древний текст предваряется обоснованием выбора темы, о его глубине можно судить по тому, что не упомянуты Иосиф Гимнограф, Феофан Клейменный, мнихи Иоанн и Косма, чьи творения составляют содержание службы, но нашлось место для перечисления «Иосифа Флавия, Иоанна Малалы, Георгия Амартола и т. п.», никакого отношения к теме не имеющих. Затем следуют призывы к деятельности, где не упущен повод дать библиографию своих собственных работ, и, наконец, сам источник. К нему дано в общей сложности 9 подстрочных примечаний — в двух случаях пояснено, что наборный текст дает исправленное чтение рукописной ошибки, в трех случаях наборный текст ошибку сохраняет, а сноска дает пояснение: «так в ркп.». Эта стереотипная формула встречается в лингвистических изданиях памятников, осуществленных Институтом русского языка АН СССР, сотни раз. Тем самым нам дается гарантия, что в каждом таком случае имеет место ошибка древнерусского писца, а не набора издательства «Наука», но вместе с тем и сеется некоторое, совершенно неизбежное, сомнение в отношении того, какова природа других, весьма многочисленных, аномалий наборного текста — ведь к ним не дано гарантийного «так в ркп.»! Например, в «Русском языке» одно вполне правильное написание сопровождается сноской «так в ркп.»<sup>117</sup>, факт вычеркивания писцом лишнего слога на стр. 39 раскрыт в подстрочном примечании, но в другом таком же случае, когда на стр. 27 в седальце писец заметил неисправность в блголт-подобно и вычеркнул лишнее лѣ, наборный текст не отмечает ни ошибки, ни вычеркивания, а настаивает на бессмысленном блголт-подобно (греч. θεολογικός; при переводе на слух возникло колебание между блголт-но и правильным бго-подобно, после вычеркивания лѣ осталось компромиссное бго-подобно). Не следует ломать голову над тем, что могла бы значить на стр. 42 седьмая строка снизу: [В]арн, так как в природе ее не существует; после заголовка, ошибочно подверстанного в концовку предыдущей строфы, в рукописи непосредственно следует текст стихир Варнаво превхвальне. Сверх всего перечисленного выше и списка опечаток в самом сборнике, есть и случаи, относительно коих неясно, кто несет за них ответственность — типография или лингвист-источниковед (см. табл.).

В идеальном случае нужно или проставить «так в ркп.» при каждой мелочи, или не делать этих однообразных оговорок вообще, считая достаточной гарантией имя публикатора и марку издательства. Публикаторы, работающие по правилам Международного академического союза, идут по второму пути, более экономному<sup>118</sup>. Думается, что по нему поведут и оте-

<sup>115</sup> H. Follieri, указ. соч., 2, стр. 169.

<sup>116</sup> Ср. там же, 2, стр. 215, 3, стр. 230.

<sup>117</sup> Написание и сиона «из Сиона» (стр. 33, примеч. 11). Конечно, позиционно закономерное выпадение оглушенного *з* перед *с*- мешало и мешает пониманию синтаксической связи, визуально и на слух, связи очень важной — ведь Сион есть пулъземли (Иез 38, 12). В д.-слав. языке поэтому развилось предпочтительное формы ѿ Сиона. Сочетание *с* предлогом из все же встречается, И. В. Ягич применял более изящный способ подачи таких случаев — написанием через дефис (указ. соч., стр. 127, 1; 172, 10; 434, 7).

<sup>118</sup> Последнее достижение на этом пути — изданная Институтом византийских и новогреческих исследований Римского университета серия «Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris», Ioseph Schiró consilio et ductu edita, I—XII, Roma, 1966—1980.

№	Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
1	27	17 сверху	глас · н ·	глас · н ·
2	31	13 сверху	Глы	Глы
3	31	3 снизу	κατέφληξε	κατέφληξε
4	32	18 сверху	са и	сан*
5	34	9 сверху	саште	саштее
6	34	11 сверху	ἀραν	ἀραν
7	37	13 снизу	добродѣтели и	добродѣтели
8	38	16 сверху	обложивъси	обложивъ си
9	39	2 сверху	ижеже	иже
10	39	3 сверху	ἐξήστραφας	ἐξήστραφας
11	39	17 сверху	ἐπανα —	ἐπανα —
12	39	15 снизу	въсьвъ	въсьвъ
13	40	6 сверху	ἦν περ	ἦν пер
14	41	8 снизу	θεικῆ	θεикῆ
15	43	7 сверху	въ иноу	въиноу

\* Ср.: Е. Koschmieder, указ. соч., стр. 108: сѣи.

чественные правила о промышленном Знаке качества, если их применить к продукции типографий АН СССР, придающих окончательный, осозаемый вид научной работе над древнерусским текстом, отнюдь не самой сложной разновидностью текстов, с которыми отлично справлялось издательство «Наука».

«Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности» от византологической традиции независимы, но сопоставление произошло в «Русском языке», и вот результат: на одной и той же странице правая колонка, цитируя греческие рукописи, дает имена собственные с прописной буквы, а левая колонка, где текст Минеи Дубровского — со строчной буквы (позже, в «Выголексинском сборнике», это противоречие редактором преодолено, греческая параллель по рукописи XI в. оформлена по «Правилам» для древнерусского языка). При цитации греческой печатной Минеи последовательно устранено написание с прописной буквы для ποῖνα σασα, что требуется только в современной русской орфографии.

Средневековые рукописи не применяют прописной буквы в именах собственных, она введена в новое время и стала одним из общепринятых элементов нормы греческого языка и всех языков, пользующихся латиницей. Не привнося лингвистических искажений, этот условный прием во многих случаях увеличивает понятность текста, его удобочитаемость. Не всегда следовала этому новшеству церковнославянская кириллица, но русский гражданский шрифт, разработанный в петровскую эпоху с использованием графических преимуществ латиницы, его вполне усвоил. Отказ от выделения имен собственных во имя палеографической точности вызывает опасение, что на конечном этапе этой точности грядущие издания древнерусских текстов будут иметь сплошное письмо, scriptio continua<sup>119</sup> — ведь пробел между словами, по академику Л. В. Щербе, есть дополнительный письменный знак<sup>120</sup>, которого в рукописях нет! К тому же, границы слова — это само по себе тема для дискуссии, конца которой не видно<sup>121</sup>. Полшага к этому кажущемуся совершенству сделано: знак переноса слова, по своему смыслу неотъемлемый от знака пробела, во всех

<sup>119</sup> С этого мы начинали: так, без словоделения, А. Х. Востоков издал Остромирово Евангелие (1843).

<sup>120</sup> Л. В. Щерба, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 245.

<sup>121</sup> Ср.: В. М. Жирмунский, Общее и германское языкознание, Л., 1976, стр. 125—148.

изданиях текстов под редакцией С. И. Коткова отсутствует, за исключением Минеи Дубровского. Дело в том, что в этих изданиях выдержано равенство строки рукописи и строки наборного текста, формат которого для монографической публикации этим и определяется, а серийный сборник «Русский язык» имел формат уже заданный, принцип «строка в строку» реализовать в нем оказалось невозможным, перенос получался там, где в рукописи его не было, что и подтолкнуло к разумному решению ставить знаки переноса как во вновь разделяемых словах, так и в тех местах, где конец наборной строки случайно совпал с концом строки рукописной. Так техническая причина породила важное научное достоинство публикации фрагмента Минеи Дубровского, которое заслуживает войти в полное издание памятника, *editio definitiva*.

ФЕДОРОВ А. И.

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ГОВОРОВ КАК ИСТОЧНИК  
ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

В лингвистике, как и в любой другой науке, факты представляют интерес, если они дают возможность получить новые сведения о языке, установить закономерности его развития, расширить или уточнить существующее понимание языковых явлений. Для изучения исторической лексики основным источником сведений могли бы быть исторические словари, но они создаются на ограниченном материале письменных памятников. Многие из них, прежде всего различные произведения деловой письменности XVII—XVIII вв. — акты, договоры, распросные речи, изветы, дозорные книги и т. п. — до сих пор не расписаны лингвистами, оставаясь мертвым грузом областных архивов. Если бы даже и эти документы удалось расписать для исторической картотеки, она все-таки далеко не последовательно отразила бы реальное состояние лексики русского народного языка XVI, XVII, XVIII вв., потому что содержание этих памятников, ограниченное возможностями жанровой литературы, определяло ограниченный выбор языковых средств, прежде всего лексических.

Диалекты и говоры в лингвистической науке давно уже признаны ценнейшим источником для лингвистических исследований. Неравномерность развития явлений в говорах и в литературном языке, проявляющаяся на всех уровнях: фонетическом, морфологическом, словообразовательном, лексико-семантическом, фразеологическом и синтаксическом, обуславливает койсервацию в говорах многих языковых явлений, которые в литературном языке или уже стали достоянием истории или же выходят в пассивный запас.

Русские говоры отличаются богатством и разнообразием языковых черт, что дает возможность лингвисту найти в них множество фактов и сведений, позволяющих полнее восстановить процесс исторического развития языка, точнее определить закономерности этого развития. Из лингвистических лексикологических работ, написанных на историческом и диалектном материале, необходимо прежде всего выделить этимологические исследования Г. А. Ильинского, А. И. Соболевского, М. Фасмера, О. Н. Трубачева, Ю. В. Откупщикова и монографии по истории языка Ф. П. Филина. Следует заметить, однако, что возможности авторов этих работ были ограничены лингвистическими источниками. Русская филологическая наука до недавнего времени располагала немногими доступными для пользования диалектными словарями, к тому же далеко не полными (исторические диалектные словари пока еще не созданы). Но даже ограниченное использование диалектного материала позволило существенно дополнить и углубить этимологический анализ слов, а сопоставительное ис-

следование лексики русских памятников письменности и современных диалектов восточных славян дало возможность Ф. П. Филину конкретно отразить сложный исторический процесс дифференциации лексики древнерусских диалектов и образования лексических систем современных восточнославянских языков. Все это свидетельствует об одном — в лексике диалектов и говоров содержатся огромные, еще не использованные в науке фактические данные, последовательное изучение которых позволит существенно углубить этимологические исследования и, главное, создать достоверную науку, историческую лексикологию.

Что же конкретно может найти в диалектном лексическом материале лексиколог — историк языка? В составе лексики современных русских говоров до сих пор еще употребляются такие лексемы, которые сохранились как реликты с древнейших времен. Впервые подробное описание значительной части таких слов сделал Ф. П. Филин в книге «Лексика русского литературного языка древнерусской эпохи» (Л., 1949 г.). См., например, сведения о словах *възводень* — «подъем воды в Волхове»; *обилие* — «урожай на корню»; *курья* — «речной залив» и мн. др., изложенные в этой книге. Направлению исследования диалектной лексики, определенному Ф. П. Филиным, стали следовать многие лингвисты (см. работы В. В. Ильенко, В. А. Козырева, В. И. Максимова, В. В. Палагиной, Ф. П. Сороколетова и др.).

Результаты, полученные Ф. П. Филиным и его последователями при сопоставительном изучении современной диалектной лексики и лексики древнерусских исторических памятников, очевидны: они позволяют предсказать движение слов в русском языке и его говорах в продолжение веков и вместе с тем дают возможность устранить многие так называемые «темные места» в памятниках. Любопытны в этом отношении найденные В. А. Козыревым в современных брянских говорах лексические параллели к словам, употребленным в «Слове о полку Игореве»<sup>1</sup>, т. е. слова, известные в современных говорах, совпадающие по форме и значению с соответствующими лексемами, употребленными в письменном памятнике, или имеющие при одинаковой производящей основе диалектные форманты. Одни из них сохранились в неизменном виде (*смага* — «лишения, беды», *карна* — «мука, скорбь, печаль», *троскотати* — «стрекотать»), в других за длительный исторический период употребления в брянских говорах произошли семантические изменения. Таких лексических параллелей в лексике «Слова о полку Игореве» и в современных русских говорах по имеющимся далеко не полным данным более восьмидесяти, не считая тех, которые отмечены в других письменных памятниках, а также производных слов и морфологических вариантов. Эти лексические соответствия могут дать важные сведения для доказательства подлинности «Слова о полку Игореве»<sup>2</sup>. В говорах до сих пор употребляются слова, послужившие производящей основой для многих лексем литературного языка, в котором эти производящие основы утрачены, ср.: *скора* — «шкура» и *скорняк*; *смород* — «запах» и «смородина» и др. Знание этих словообразовательных связей важно для понимания истории словообразования и в неменьшей мере

<sup>1</sup> В. А. Козырев, «Словарные параллели к лексике «Слова о полку Игореве» в современных брянских и других народных говорах», сб. «Брянские говоры» («Труды кафедры русского языка Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», III), Л., 1975.

<sup>2</sup> См. также: С. И. Котков, «Слово о полку Игореве (Заметки к тексту)», IV Международный съезд славистов. Советский комитет славистов. Доклады, М., 1958; В. В. Ничук, «Слово о полку Игореве» и народная мова, Мовознавство, 1967, 4.

для анализа развития семантики в словообразовательных гнездах однокоренных слов, употребляемых в литературном языке и в говорах. Оно помогает в установлении иерархии значений, слов при их лексикографическом описании.

Значительно больше в составе современной диалектной лексики слов, образованных от древнерусских и общеславянских морфем. Чтобы выявить эти древнейшие корневые производящие основы, необходимо произвести сложный и трудоемкий анализ диалектной лексики в зависимости от ее происхождения. В этом направлении диалектная лексика остается почти не изученной<sup>3</sup>. И сделать это непросто. Разумеется, зная исторически действовавшие фонетические законы и установив в диалектных словах архаические сочетания звуков, можно выявить словообразовательные связи значительного количества слов, установить их этимологию (ср.: *зитной* — «хитный»; *цвет* — «цвет»; *цеп* — «цеп»; *плетавый* — «плешивый», *леский* — «лес»; *поскеланный* — «щеп»; *скора* — «шкура», *троскотати* — «трещать»). Но в говорах существовали и сугубо региональные фонетические закономерности, многие из них продолжают действовать и в наше время. Как последовательно доказывает О. Д. Кузнецова, это часто вызывает нерегулярные фонетические изменения, что в свою очередь обуславливает их лексикализацию<sup>4</sup>. Утрата регулярности фонетических изменений в одних случаях связана со все возрастающим влиянием русского литературного языка, в других, как доказывает Ф. П. Филин, она представляет собой результат действия диалектных фонетических закономерностей в прошлом<sup>5</sup>. Все это приводит к существенным отклонениям в фонемном составе некоторых слов, употребляемых в говорах (ср. литерат. *ушат* — диалект. *авшат*; литерат. *уже* — диалект. *авжо* и др.)<sup>6</sup>, что, естественно, чрезмерно осложняет этимологический анализ подобных слов: лингвист-этимолог в этом случае должен подробно изучить и фонетические законы диалектов и говоров, живые и архаичные.

Особое значение имеет диалектная лексика при диахроническом изучении фразеологии, а также для установления этимологии фразеологических единиц (ФЕ)<sup>7</sup>.

Изменения в компонентном составе ФЕ, их варьирование, зависимость от этого внутренней формы и семантики фразеологического оборота, появление в литературном языке новых фразеологизмов — все эти явления нельзя правильно понять, если изучать их изолированно, не привлекая для сопоставления диалектный лексико-фразеологический материал. Обратимся к отдельным примерам: *ни богу свечка, ни черту кочерга* (*ожига* — «головешка»); *бить баклуши* (*бабки, байдиди*); *попал как кур в оуцип* (*оуцап* — «ловушка для птиц»). Диалектные варианты такого рода фразеологизмов дают возможность точнее установить их этимологию и полнее охарактеризовать семантику и коннотацию таких оборотов. Так, во втором примере, как доказывает В. М. Мокиенко в названной работе, в основе содержания лежит представление об игре в бабки (а не о раскалывании осиновых поленьев на баклуши).

<sup>3</sup> См.: А. И. Федоров, Общеславянская и древнерусская лексика в беломорских говорах, «Уч. зап. [ЛГУ]», 267. Серия филол. наук, 52, 1960; е го же, О происхождении словарного состава беломорских говоров, АГД, Л., 1952.

<sup>4</sup> О. Д. Кузнецова, Актуальные процессы в говорах русского языка. АГД, М., 1979.

<sup>5</sup> Ф. П. Филин, Проект «Словаря русских народных говоров», М.—Л., 1961.

<sup>6</sup> Примеры взяты из названной работы О. Д. Кузнецовой.

<sup>7</sup> См. об этом: В. М. Мокиенко, Противоречия фразеологии и ее динамика. АГД, Л., 1976.

Очень важной является проблема установления общеславянского лексического фонда. В ее разрешении самым главным источником в наше время может быть диалектная лексика, если удастся собрать ее в максимально полном объеме, включая в диалектный словник топонимику и ономастику. Ф. П. Филин считает, что «проблема образования восточнославянских (как и многих других) языков главным образом является историко-диалектологической проблемой»<sup>8</sup>.

Чем располагает лингвист, изучающий историю русской лексики (кроме исторических словарей)?

До недавнего времени из всех источников для получения сведений о диалектной лексике главным остается «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля. Но за сто с лишним лет после выхода в свет этого грандиозного лексикографического труда лингвисты, этнографы, краеведы собрали новые лексико-фразеологические материалы, словник которых в несколько раз превышает словник названного словаря. За это время были опубликованы в различных изданиях многие собрания диалектных слов, изданы региональные словари. Особенно интенсивно собирательская и лексикографическая работа развернулась в стране в конце 50-х — начале 60-х гг. Назрела необходимость весь диалектный опубликованный и рукописный материал, включая и словари, собрать воедино, в одну базовую картотеку, чтобы на ее основе создать максимально полный диалектный словарь-тезаурус. Такой диалектный тезаурус — «Словарь русских народных говоров» был задуман Ф. П. Филиным. Под его руководством и при его непосредственном участии уже опубликованы шестнадцать выпусков этого словаря.

Параллельно с этим лексикографическим начинанием вели подготовку диалектных словарей лингвистические кафедры многих вузов страны, Ленинградского, Московского, Уральского, Томского, Калининского, Ярославского университетов, Ленинградского им. А. И. Герцена, Иркутского, Красноярского и др. пединститутов. Студенты и преподаватели этих вузов собрали огромный фактический материал. Но его издание протекло во многих вузах или очень медленно или вообще приостановлено. А это значит, что многие современные лексико-фразеологические материалы не войдут в «Словарь русских народных говоров». Конечно, было бы целесообразно в интересах дела объединить все эти картотеки в одну, в картотеку Словарного сектора Института русского языка АН СССР. Но тогда лингвистические кафедры лишились бы важного источника, необходимого для учебной работы со студентами, для исследовательской работы ассистентов и преподавателей кафедр, для их научного роста. В этом случае можно было бы найти такой способ учебно-исследовательской работы со студентами (составление словарных статей с максимальным иллюстрированием семантики диалектных слов и фразеологизмов; выборка материалов для курсовых и дипломных работ и т. п.), в результате которого основную часть кафедральных картотек можно было бы продублировать, а эти материалы передать в диалектную картотеку Словарного сектора Института русского языка АН СССР. Некоторые из преподавателей вузов уже проводят такую работу, но объем материалов, посланных ими в картотеку ИРЯз'а, пока что незначителен.

Конечно, куда важнее было бы начать систематическое последовательное копирование вузовских картотек и создать таким образом единую кар-

<sup>8</sup> Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 4.

тотеку русской народной речи. Такое собрание диалектных слов отразило бы огромный мир понятий и представлений русского народа о его традиционной материальной и духовной культуре, представляющей собой наследие веков. Учитывая современное состояние диалектной речи, которое исследователи квалифицируют как полудиалект, т. е. сплав элементов диалекта и литературного языка<sup>9</sup>, необходимо активизировать работу словарных экспедиций, ставя целью фиксировать только собственно диалектную лексику и фразеологию, главным образом, периферийных говоров, где освоенные литературного языка находится пока еще на самой начальной стадии.

---

<sup>9</sup> Т. С. Коготкова, Русская диалектная лексикология, М., 1979, стр. 6.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

«Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti». — Praha, «Academia», 1979. 288 стр.

14—17 июня 1976 г. в СССР проходила Международная конференция по актуальным проблемам культуры речи в социалистическом обществе. Кроме чешских и словацких лингвистов, в конференции принимали участие ученые из БНР, ВНР, ГДР, ПНР, СССР и СФРЮ. Рецензируемый сборник содержит 42 доклада и сообщения, прочитанные на этой конференции. В книге имеется обзор дискуссий и резюме на русском и немецком языках.

Обсуждение вопросов культуры речи на международном форуме в Чехословакии не случайно. В чешской лингвистике эта проблематика имеет давние традиции. Более 40 лет назад вопросы культуры речи стали предметом изучения членов Пражского лингвистического кружка, в 1932 г. вышел сборник «Литературный чешский язык и культура речи» («Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932), давший теоретическое обоснование дальнейших исследований в этой области. В основу новой теории культуры речи лег функциональный принцип, вытекающий из понимания языка как специфического общественного явления. Характерно, что уже тогда, как отмечает Б. Гавранек (стр. 9), многие мысли чешских лингвистов рождались под влиянием исследований советских ученых, в частности, Г. О. Винокура.

Материал сборника разделен на две части: в первой помещены статьи общего характера, анализирующие теоретические проблемы культуры речи, а также состояние и развитие теории и практики культуры речи в отдельных социалистических странах, во второй — статьи по частным вопросам культуры речи.

Во многих статьях рассмотрены основные понятия теории культуры речи. Б. Гавранек во вступительной статье отмечает, что, несмотря на большие дости-

жения в теории и практике культуры речи, само это понятие до сих пор еще недостаточно четко определено и обосновано (стр. 10). А. Едличка («Теория культуры речи сегодня») и А. Стих («О понятии культуры речи и его содержании») выделяют в общем понятии культуры речи четыре аспекта, выкристаллизовавшиеся в работах чешских и словацких лингвистов: а) культуру языка (jazyková kultura, Sprachkultur), охватывающую явления языка как системы, б) культуру речи (kultura řeči, Sprechkultur), охватывающую явления речи, текста; в) в обеих областях (языка и речи) выделяются еще по два аспекта понятия культуры: 1) культура как состояние, уровень и 2) культура как деятельность, т. е. усовершенствование, регулирование языка и речи (kultivování jazyka a řeči, Sprachpflege). (Последний аспект рассматривается в статье Я. Кухаржа «Аспект регуляции в культуре речи».) А. Едличка подчеркивает, однако, что признание многоаспектности культуры речи не противоречит комплексному подходу, который остается главным.

Несколько статей в сборнике посвящено вопросам нормы и ее кодификации. Фр. Данеш («Позиции говорящих и критерии кодификации») пишет о трех этапах кодификационного процесса: первый (дескриптивный) этап — объективное описание существующей нормы во всей ее сложности, вариативности и динамичности; второй (нормативный) этап состоит из а) оценки языковых средств с учетом их употребления в разных сферах речевой деятельности, коммуникативных потребностей общества и тенденций развития языка (т. е. подготовки плана кодификации) и б) собственно кодификации, которую Фр. Данеш определяет как «теоретически обоснованное использование результатов научного по-

знания языка и его общественного функционирования для решения практических задач «социальной коммуникации» (стр. 80); третий этап — внедрение кодификации в практику. На последнем этапе необходимо выяснить, какое воздействие оказывает внедрение кодификации на носителей языка. В соответствии с их реакцией следует корректировать методы внедрения или саму кодификацию. Только учет такой обратной связи, отражающей всю сложность кодификационной ситуации, делает кодификацию эффективным средством повышения культуры речи. Далее Фр. Данеш выделяет три критерия оценки литературного языка — нормативность, функциональную адекватность и системность. Интересны мысли Фр. Данеша об отношении говорящих к языку, которое выражается в шести противоположных тенденциях: рациональная — иррациональная ориентация говорящего; фактическое речевое поведение — мнения и убеждения; настоящие мотивы речевого поведения — публично выражаемые мотивы; сопротивление языковым инновациям — их принятие; изоляционизм — универсализм; унификация — вариативность.

И. Филипп («Юдификация и словарь») считает, что основными моментами при кодификации лексики в толковом словаре должны быть: 1) всестороннее рассмотрение текстов современного языка при отборе словника; 2) решение проблемы вариантов и дублетов с помощью критерия системности, а не частотности варианта; 3) обработка словаря как единого целого, т. е. установление правильных пропорций между отдельными частями словаря, что возможно только при наличии специальных и системных словарей; 4) учет всех языковых уровней, что вытекает из многоаспектности слова (орфоэпические, орфографические и морфологические признаки); 5) учет динамики частных норм; 6) подробная стилистическая характеристика слов.

Стилистические аспекты культуры речи рассматриваются М. Елинеком в статье «Изменение стилистических признаков языковых средств и их кодификация». Согласно автору, основной стилистический признак устанавливается по положению языкового элемента на оси «книжность — нейтральность — разговорность», хотя сам языковой элемент может иметь и более конкретное стилистическое содержание (например, признак принадлежности к специальной, публицистической, поэтической речи). Стилистическая ось «книжность — нейтральность — разговорность» может быть продлена в обе стороны: до признака архаичности, с одной стороны, и до признака диалектности, с другой; в обоих случаях стилистическая характеристика выходит за пределы синхронно определенной нормы литературного языка. М. Елинек считает,

что изменение нормы литературного языка всегда начинается с изменения стилистических характеристик. Так как для обычной языковой коммуникации всегда важно наличие стилистически нейтральных языковых средств, то место нейтрального элемента, получившего некоторую стилистическую характеристику, сразу же должен занять другой элемент, пришедший из разговорной или даже нелитературной сферы. Поэтому кодификацию стилистических характеристик приходится постоянно пересматривать и корректировать с учетом зууса трех одновременно живущих поколений.

В статьях К. Гаузенбласа и Й. Мистрика анализируется процесс языковой коммуникации. Среди факторов, оказывающих влияние на культуру языковой коммуникации, Й. Мистрик в первую очередь называет явление дейтнота, которое требует экономии процесса речевого общения и его рационализации (этим, например, обусловлено порождение симультанных текстов в виде таблиц, графов, схем, обилие неязыковых средств коммуникации). К. Гаузенблас указывает на сравнительно невысокий общественный престиж языка и языкознания, что осложняет практическую работу в области культуры речи.

Много внимания в статьях и в обзоре дискуссий уделяется понятиям «языковой ситуации» и «носителя языка». Термин «языковая ситуация» предлагается употреблять только в значении общественной ситуации функционирования языка в определенной стране (т. е. в значении социолингвистической ситуации, например: языковая ситуация в Чехословакии, Индии и т. п.). Для обозначения классов обобщенных коммуникативных актов (например, приветствие, прощание, конференция) предлагается термин «коммуникативная (или речевая) ситуация». Намечается тенденция к дифференциации понятия «носитель языка». В. Барнет (стр. 248) устанавливает разницу между членом языкового коллектива (идентифицирующий и дифференцирующий аспект), носителем языка (репрезентирующий аспект) и «потребителем» (uživatel) языка (коммуникативный аспект). Используются термины «типовой» и «образцовый» (Д. Буттлер), «директивный» (směrodatný, К. Гаузенблас) носитель языка. К. Гаузенблас подчеркивает, что в практической деятельности необходима ориентация на тех носителей языка, которые связаны с литературным языком профессионально, т. е. используют язык как орудие повседневной деятельности и поэтому наиболее сильно (положительно или отрицательно) влияют на речевую культуру всего общества. Это учителя, журналисты и другие сотрудники массовых средств информации, редакторы, мастера слова (писатели и артисты), лекторы, общественные деятели, ученые и т. п.

Проблемы, возникающие на оси «орма — языковая ситуация — носитель языка», не могут быть решены вне связи теории культуры речи с другими науками об обществе. К сожалению, о связи теории культуры речи с теорией коммуникации, теорией управления, с общей теорией культуры, социальной психологией в статьях только упоминается, более глубокого анализа нигде не дается. Правда, в сборнике есть статьи, в которых использованы методы социологического исследования (М. Крчмовой, З. Грушковой и В. Кржистека, А. Тейнора, В. Михалковой, Л. Климеша и др.); в основном в них описывается отношение носителей языка к отдельным языковым явлениям.

Во многих статьях анализируется общее состояние теории и практики культуры речи в социалистических странах: в СССР (Л. И. Скворцов), Польше (Д. Бутлер), ГДР (Э. Изинг и др.), Венгрии (Л. Леринце), Болгарии (Е. Георгиева и Я. Бачваров). Из этих статей видно, что в развитии теории и практики культуры речи в социалистических странах имеется много общего, обусловленного как генетической близостью языков (в сфере славянских языков), так и сходными условиями общественного развития этих стран. Можно отметить следующие общие закономерности в области культуры речи:

1. Тенденция к демократизации литературных языков, при этом вырисовывается существование как бы двух норм — строгой, регламентирующей статус письменной и официальной устной форм речи, и менее строгой, обуславливающей статус повседневной разговорной речи. Вторую разновидность нормы литературного языка Я. Горецкий в статье, посвященной анализу общих и специфических особенностей культуры речи в социалистических странах, предлагает называть стандартным языком. Различение строгой нормы и стандарта устранило бы большое противоречие между нормой и ususом.

2. Переход от пуристических тенденций к критерию функциональной целесообразности использования тех или иных языковых средств (М. Елинек, стр. 140—141). Правда, у некоторых славянских народов, испытывающих сильное влия-

ние другого языка, определенные тенденции разграничения (*delimitační*) сохраняются; то же самое характерно и для венгерского языка.

3. Усиленное влияние на норму публицистических стилей (через средства массовой информации), в то время как в довоенный период решающее влияние оказывала художественная литература.

Из-за общих закономерностей развития литературных языков актуальным становится сопоставительное исследование вопросов теории и практики культуры речи в социалистических странах.

Хотя и не все моменты в материалах конференции нашли достаточное освещение (мало, например, говорится о связях культуры речи со стилистикой, с психолингвистикой), а в решении отдельных частных вопросов имеются расхождения, в целом видно единство авторов в понимании основных проблем культуры речи в социалистических странах, прежде всего в признании автономности культуры речи как частной языковедческой дисциплины и как области практической деятельности. Во многих статьях (прежде всего Я. Кухаржа и К. Горалека) аргументированно показаны необходимость и задачи деятельности в области культуры речи. Хотя как и в каждой частной языковой системе, так и в литературном языке действует механизм саморегуляции, особая роль литературного языка в обществе требует от лингвистов активной позиции. Я. Кухарж пишет: «В наше время научно-технической революции, а тем более в условиях рационально организованного и управляемого социалистического общества возникает объективная социальная необходимость в определенном образом планируемой и институционально оформленной деятельности по охране и развитию литературного языка» (стр. 242). Это основное условие для эффективного выполнения языком его общественной функции.

Актуальность анализируемых проблем, богатство новых идей делает книгу интересной не только для специалистов в области культуры речи, но и для более широкого круга лингвистов.

*Жуперка К. Й., Гудавичюс А. Й.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 25 по 27 мая 1979 г. в Кишиневе проходил Всесоюзный симпозиум «Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях», организованный Научными советами по теории советского языкознания и по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка АН СССР и Институтом языка и литературы АН МССР. В симпозиуме принимали участие ученые из ведущих научных учреждений, представители многих союзных республик.

Работа симпозиума совпала по времени с проведением в Ташкенте Всесоюзной научно-теоретической конференции «Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР». В своем приветственном письме этой конференции Л. И. Брежнев особо выделил среди других направлений в работе языковедов необходимость непрерывного повышения качества словарей. Это непосредственно относится к проблематике состоявшегося в Кишиневе Всесоюзного симпозиума.

В докладах и сообщениях, представленных на симпозиуме, обсуждались общетеоретические проблемы семантики как основного раздела языкознания, как дисциплины, имеющей особый предмет исследования и требующей его точного определения. Большое внимание было уделено проблеме значения слова, семантической корреляции языковых единиц, соотношению значения и содержания слова, языковых и экстралингвистических компонентов слова, широкому кругу проблем лексической семантики и ее фиксации в одноязычных словарях, проблемам фразеологической и словообразовательной семантики, а также терминологии.

На четырех пленарных заседаниях по теме «Теоретическая семантика» и на четырех секционных заседаниях по теме «Теория и практика подачи семантики языковых единиц в одноязычных словарях» было прочитано 19 докладов и 40 сообщений.

Открывая симпозиум, акад. АН МССР Д. Т. У р с у л подчеркнул актуальность

выдвинутой на симпозиуме проблематики.

Цель ее — улучшение словарной работы в республике, создание толковых и межотраслевых словарей, основанных на новейших достижениях лексикографической науки.

На первом пленарном заседании «Вопросы общей семантики и семантика языковых единиц» были представлены четыре доклада и восемь сообщений.

Чл.-корр. АН УССР А. С. М е л ь и н ч у к (Киев) в своем докладе «Значение и содержание языковых единиц различных уровней» указал на важность определения понятий «значение знака» и «содержание знака» для описания семантики любой языковой единицы. По мнению докладчика, отношение знака к обозначаемому и его субъективное отражение в сознании составляет ведущую функцию и основное свойство всякого знака. Это отношение удобнее всего называть значением знака. Семантическую функцию знака как вторичную по отношению к значению целесообразно называть содержанием знака. Автор подчеркнул, что семантика каждого языкового знака образуется пересечением отношений, лежащих в этих двух плоскостях: значения и содержания знака. Конкретный характер и соотношение значения и содержания зависят от степени сложности знака и от его принадлежности к тому или иному структурному уровню.

С. Г. Б е р е ж а н (Кишинев) в своем докладе «Онтологический статус семантики языка и ее единиц» определил сущность языковой семантики как предмета исследования, ее объективную природу и свойства, ее основные отличия от уровня языка. Докладчик показал, что языковая семантика как идеальная сторона языковых единиц (морфем, лексем, синтаксем) в изолированном виде не существует; она неотделима от тех языковых единиц, частью которых она является; единицы плана содержания, хотя они и выделяются (сема, семема, семантема, стилема), самостоятельно не объединя-

ются в систему и как языковые единицы не функционируют. Семантика, следовательно, не является уровнем языка, а семантические единицы не являются сущностями, обладающими способностью автономного функционирования.

О необходимости оценки семантического компонента при рассмотрении соотносительных единиц любого структурного ряда, продиктованной свойствами языка как системы и диалектикой отношения формы и содержания в языке, говорила чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева в своем докладе «Семантические корреляции единиц структуры языка», представленном на симпозиуме ее ученицей О. Н. Селиверстовой. Автор подчеркнула, что семантическая эквивалентность единиц внутри одного ряда, как и единиц, принадлежащих различным рядам, градуирована, поэтому необходимо различать эквивалентные значения и варианты в пределах одного значения. В многочисленном ряду проявляется семантическая корреляция его отдельных единиц, в то время как при сжатом ряде полисемантизм его членов способствует возникновению вариативности значений. Семантические черты единицы данного ряда раскрываются в ее функциональном использовании, поэтому сопоставление микроконтекстов является неперенным условием семантического анализа. Синонимические связи внутри словообразовательных рядов могут основываться как на значении целостных лексем, так и на семантической эквивалентности отдельных морфем.

В. Я. Плоткин и Л. Я. Гросул (Кишинев) в докладе «Широкозначность как лексико-семантическая категория» остановились на явлении широкозначности, или эврисемии, характерной для языков с развитым аналитизмом в грамматике и в лексике, на ее отличиях от полисемии и на необходимости разработки особой методики словарного описания широкозначных слов. По мнению докладчиков, эврисемия отличается от полисемии способом формирования семантической структуры слова. Полисемия складывается в результате отдельных метафорических и метонимических переносов. Эврисемия же — в результате повышения уровня абстрактности значения, ослабления его денотативной ограниченности. Словарная статья широкозначного слова должна содержать не перечень отдельных значений, а всеобъемлющую дефиницию общего широкого значения и перечень его конкретизаций в определенных контекстных условиях.

Говоря о значении и о семантической структуре слова в их зависимости от коммуникативной функции слова, Я. В. Алдман и С. (Рига) отметил в своем сообщении, что коммуникативный подход к значению предполагает понимание семантической структуры слова как структуры

его значения (денотативного и сигнификативного). Выявление сем в значении конститuentов предложения помогает объяснить закономерности сочетаемости слов и определить семантические свойства слов, функционирующих в роли предикатов.

Считая фразеологическое значение самостоятельной семантической единицей языка, Н. Ф. Алейченко (Измаил) остановился на отличиях фразеологического значения от значения единиц других уровней языка (свободных словосочетаний и морфем).

Э. Н. Покровская (Черновцы) говорила о специфике фразеологической номинации, в основе которой чаще всего лежит образное представление. Фразеологические единицы не столько называют явление, сколько «живописуют» его, и эти эмоциональные оттенки накладываются на основное значение.

Конкретные примеры ареальной номинации и ареальные различия в семантике слова были проанализированы в сообщении В. К. Павела (Кишинев) на материале молдавского языка. Докладчик продемонстрировал важность сведений о лексическом значении живого слова для теоретического и прикладного языкознания.

На определении существительных широкой семантики в одноязычных словарях остановилась в своем сообщении Л. Б. Лебедева (Рязань). Автор пришла к выводу, что у слов широкой семантики, не проявляющих четких различий системного характера, значения дифференцированы прежде всего в функциональном плане и этот аспект должен найти отражение в их словарных определениях.

Говоря о семантике различных категорий сложных слов, И. М. Думбрезьяну (Кишинев) подчеркнул, что ингредients сложного слова стремятся к семантическому единству как к пределу. Данный процесс можно считать законченным лишь тогда, когда сложное слово теряет свою «прозрачность» и мотивированность, становясь простой лексической единицей словаря.

На целесообразность разграничения денотативного и референциального значений для обозначения различных реалий (денотативное — для апеллативов, референциальное — для собственных имен указала в своем сообщении М. А. Косичьяну (Кишинев).

На втором пленарном заседании «Языковая семантика и неязыковые знания» были представлены четыре доклада и три сообщения.

М. Ф. Палевская и В. А. Лукин (Кишинев) в докладе «Семантика языка и внеязыковые знания» указали на важность привлечения данных лингвосоциологии и логической семантики при исследовании взаимоотношения означаемого, означающего и значимости.

О философских проблемах семантики и их учете при подаче словарных дефиниций говорила в своем докладе Н. З. Котелова (Ленинград).

Проблеме соотношения лексической семантики слова и внеязыковых знаний посвятил свой доклад А. М. Кузнецов (Москва). Докладчик подчеркнул, что углубленное знание отдельных явлений действительности, имеющих жизненно важное значение, непосредственно отражается в языке. Поэтому наличие в нем обширных рядов синонимов (как в эскимосском языке для обозначения снега) свидетельствует о степени освоения действительности, а не об отсталости мышления, неспособности к абстрагированию и т. п.

Р. Г. Пиотровский (Ленинград) в своем докладе «Научно-техническая революция, семантика, одноязычные словари» остановился на ряде важных и актуальных проблем, связанных с взаимодействием фундаментальных и прикладных наук и с построением искусственного интеллекта (семантические аспекты искусственного интеллекта, построение семантических сетей для описания определенных участков объективной действительности, номинация и классификация в семантических сетях, одноязычные словари и тезауры в автоматизированных системах переработки информации), а также с использованием кибернетической техники в интересах одноязычной лексикографии и семантики.

Анализируя в своем сообщении семантические отношения «названий совокупностей лиц» в современном английском языке, М. П. Румлянский (Бельцы) пришел к выводу, что семантические процессы, которые сопутствуют созданию окказионального словосочетания, находятся в соответствии со словарными определениями сочетающихся слов, и таким образом, можно утверждать, что процесс развития языка идет как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане.

Г. П. Клепикова (Москва) обратила внимание на важность введения ареального критерия для изучения ряда лексико-семантических групп, следствием чего является не только выявление новых названий (междialeктных синонимов), но и возможность варьирования самих реалий, что значительно усложняет картину соотношения слова и понятия.

На третьем пленарном заседании «Принципы и методы описания языковой семантики» были прочитаны три доклада и семь сообщений.

В. И. Кодоухов (Ленинград) в своем докладе «Логический и культурно-исторические компоненты значений слова» охарактеризовал соответствующие компоненты — логический, приближающийся к дефиниции понятия, обозначающего слово, и культурно-исторический, не всегда признаваемый значением. Докладчик подчеркнул, что понятие логического и культурно-исторического значения не совпадает с понятием универсального и идиоэтнического в смысловой структуре слова. В словарях отражается и логическая, и культурно-историческая семантика.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «Принципы описания грамматической семантики» остановился на основных принципах одного из направлений функциональной грамматики (оптологизма языковых значений, поля при анализе грамматических значений, многообразие типов структуры грамматического значения, двухуровневого анализа семантического содержания, разграничения разных уровней анализа самих грамматических значений).

В. В. Левицкий, Л. В. Быстрова и Н. Д. Канатрук (Черновцы) в докладе «О принципах и методах выделения лексико-семантических групп слов» описали «компонентную методику инвентаризации ЛСГ», в основе которой лежит идея неравноправия семантических компонентов в смысловой структуре слова.

В своем выступлении на заключительном пленарном заседании Т. П. Ильшина отметила, что советские исследователи проводят колоссальную работу в области семантики. В прослушанных докладах чувствовалось искание, мысль и главное — единая методологическая основа. Докладчик отметила большую заслугу С. Г. Бережана и руководимого им отдела в организации симпозиума.

Подводя итоги работы симпозиума, А. М. Бабкин подчеркнул очень удачную организацию симпозиума, актуальность и углубленность тематики, важные аспекты ее разработки, новый и очень успешный опыт симпозиума с объединенной тематикой и большую заслугу молдавских лингвистов в его проведении.

Слова благодарности в адрес молдавских организаторов симпозиума произнес в заключение В. И. Кодоухов.

*Косичану М. А. (Кишинев)*

С 4 по 6 апреля 1979 г. в Новосибирске (Академгородке) состоялась Первая всесоюзная конференция, посвященная исследованиям звуковых систем языков Сибири и сопредельных

регионов, которая была организована Лабораторией экспериментально-фонетических исследований (ЛЭФИ) Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В работе конференции приняли участие 75 языковедов-фонетиков

из различных городов страны, а также лингвисты Института языка и литературы АН МНР. Конференция подвела итоги десятилетней работы ЛЭФИ ИИФФ СО АН СССР и фонетических лабораторий научных институтов и вузов Сибири по изучению звуковых систем сибирских языков и наметила задачи на ближайшее пятилетие, скоординировав их исполнение по всем лабораториям Сибири. На шести заседаниях конференции было заслушано и обсуждено 52 доклада по следующим проблемам: 1. Звуковой состав языков и диалектов Сибири в синхронии и диахронии; 2. Акцентуация (словесная, синтагматическая, логическая); 3. Интонация; 4. Тональность; 5. Силлабика. Были также заслушаны сообщения ведущих фонетическими лабораториями — ЛЭФИ ИИФФ СО АН СССР (Новосибирск), ЛЭФ БИОН БФ СО АН СССР (Улан-Удэ), ЛЭЛИ НИИЯЛИ ЯФ СО АН СССР (Якутск), ФЛ Горно-Алтайского НИИЯЛ, ЛЭФ Хакасского пединститута (Абакан). Об экспериментально-фонетических исследованиях, проводимых в МНР, сообщил ученый секретарь ИЯЛ АН МНР.

С докладом «Якутский вокализм в историческом аспекте» выступила зав. Отделом филологии ИИФФ СО АН СССР проф. Е. И. Убрятова (Новосибирск), открывшая конференцию. Сопоставив данные О. Бетлингга, В. Радлова, Л. Н. Харитонова, Н. Д. Дьячковского с новыми материалами, Е. И. Убрятова показала непрерывность долгих гласных в якутском языке. Н. Н. Широбоква (Новосибирск), проанализировав соответствия твердоярдынских и мягкорядных гласных в сибирских тюркских языках по данным ДАТЯ, выделила для сибирской зоны три ареала соответствий. Д. Г. Тумашева (Казань) в докладе «Формирование вокализма татарских диалектов Сибири на большом фактическом материале показала, что вокализм татарских диалектов Сибири складывался в процессе взаимодействия исконной и поволжско-татарской систем гласных, в котором решающая роль принадлежала передвижению гласных. Результаты исследования формантной структуры гласных изложил Х. Х. Салимов (Казань) в докладе «Вокализм барабинского диалекта татарского языка». Н. Н. Дьячковский (Якутск) в докладе «О расширении дистрибуции согласных в якутском языке под иноязычным влиянием» показал, что якутский язык в своем историческом развитии испытал сильное влияние языков иной типологии (монгольских, тунгусо-маньчжурских, русского). Результатам рентгенографического анализа долганских гласных посвящено сообщение Т. М. Кошверовой (Томск) «Долганские долгие твердоярдынские гласные по данным рентгенографирования».

В. М. Наделяев (Новосибирск) в докладе «Уточнения в артикуляционной классификации звуков», опираясь на большой экспериментальный материал, внес существенные уточнения в артикуляционную классификацию гласных и согласных звуков, обработанную акад. Л. В. Щербой. Автор доклада ввел дополнительные группировки согласных (межточноязычные, надгортанные), уточнил группировки сложных согласных; уточнил характеристику по пассивным речевым органам. В основу построения классификационной таблицы гласных В. М. Наделяевым положен векторный принцип — направленность движения активной части языка и мера продвижения в этом направлении. Выявлен еще один основной ряд в настройках гласных — центрально-задний; внесены уточнения в градицию ступеней подъема гласных смешанного ряда; подтверждено практически существование предусмотренного Л. В. Щербой теоретически центрального ряда гласных. В соответствии с уточнениями дополнены надлежащей символической и диакритической таблицы артикуляционной классификации гласных и согласных.

Различным аспектам звукового состава тюркских языков Южной Сибири были посвящены доклады Ш. Ч. Сата (Кызыл) «Фонетические особенности терехольского говора тувинского языка», К. А. Бичелдея (Кызыл) «Назализованные гласные современного тувинского языка», С. Ф. Сегенмей (Новосибирск) «Тувинские среднеязычные согласные», М. Б. Мартанов (Москва) «Явление аспирации в диалектах тувинского языка в ареальном освещении», Д. Ф. Патачковой (Абакан) «Чередование и звуковые соответствия в консонантизме хакасского языка», К. Ф. Радионовой (Абакан) «Консонантизм шорского диалекта хакасского языка», М. М. Исабекова (Абакан) «Из опыта исследования длительности гласных в хакасском языке», И. А. Оглоблина (Барнаул) «Модификация гласных фонем хакасского языка под влиянием согласных разного места образования», М. Ч. Чумакаевой (Горно-Алтайск) «Алтайские центральные переднеязычные s и ʒ», И. Я. Селютиной (Новосибирск) «Кумандийский консонантизм в фонологическом аспекте», В. Н. Кокорина (Новосибирск) «Артикуляторные настройки гласных мягкого ряда в языке чалканцев», Н. А. Мандровой (Новосибирск) «Чалканские согласные четвертой артикуляции», Г. Г. Фисаковой (Кемерово) «Состав гласных фонем в языке бачатских телеутов», В. А. Исакова (Москва) «Сопоставительный анализ консонантизма английского и алтайского языков».

А. Джунисбеков (Алма-Ата)

в докладе «Состав гласных фонем в казахском языке» предложил уточнить количество и акустико-артикуляторные характеристики традиционно выделяемых для казахского вокализма девяти фонем-монофтонов. Экспериментально-фонетические исследования позволили автору выделить 6 гласных монофтонов: /a/, /ä/, /y/, /i/, /u/, /ü/. Так называемые широкие гласные монофтоны /e/, /o/, /ö/ являются фонетически сложными звуками, первый компонент которых — сонант /j/ или /w/, а второй — монофтонг верхнего подъема /i/, /u/, /i:/, /ü:/, т. е. в транскрипции /ji/, /wi/, /wi:/, /wi:/). В докладе Т. Талипова (Алма-Ата) «К вопросу о возможной интерпретации качественной модификации узких гласных ауслота в тюркских языках» высказана мысль, что нейтрализация фонологических корреляций узких гласных по признакам ряда и подъема связана с репласацией древнетюркского ударения. «Делимитативное и кульминативное средства слова в узбекском языке» и «Фонетическая система узбекского языка» рассмотрены соответственно в докладах С. А. Атамйраевой и А. М. Махмудова (Ташкент); С. Куренов (Ашхабад) говорил о долгих и кратких гласных туркменского языка и их различительных признаках. Доклад Т. К. Ахматова (Фрунзе) «Спектральные характеристики гласных киргизского языка» является первой попыткой определения формантной структуры киргизских ударных и безударных гласных в двусложных и трехсложных словах.

Несколько докладов представили лингвисты ИЯЛ АН МНР. Х. Лувсанбагдан (Улан-Батор) сообщил о монгольских скороговорах и их фонетических особенностях, проанализировав целый ряд различных типов фонетических чередований, на которых базируются монгольские скороговорки. Ц. Шагдарсурэн (Улан-Батор) в докладе «О монгольских лингвистических терминах, отражающих артикуляцию звуков-букв», рассмотрев фонетические термины, встречающиеся в букварях монгольского и ясного писем, выделил 11 терминов, характеризующих монгольский консонантизм, и 14 терминов для обозначения согласных в букварях ясного письма.

В докладе И. Д. Бураева (Улан-Удэ) «Тунгусский (или эвенкийский) субстрат в звуковой системе бурятского языка» прослежена история длительного контакта монгольского и эвенкийского языков, в результате которого образовался новый язык — бурятский, сохранивший в фонетике целый ряд элементов эвенкийского субстрата: фарингальный *h*, отсутствие аффрикат и т. д. Б. В. Матхеев (Улан-Удэ) дал анализ формантной структуры гласных-монофтонов добайкальского бурятского диалекта с точки зрения соотношения первой и второй

формант. В докладе В. И. Золхоева (Улан-Удэ) «Особенности в функционировании системы фонем в агглютинативных языках» рассматривается состав гласных морфем пяти агглютинативных языков (бурятского, монгольского, калмыцкого, тувинского, якутского).

Ряд докладов был посвящен актуальным вопросам обско-угорской и самодийской фонетики. Автор доклада «Проблемы праобского вокализма» Т. Р. Вийтсо (Таллин), проанализировав два общих типа чередований гласных в обско-угорских языках, на основе внутренней реконструкции объясняет современные чередования вяховского диалекта хантыйского языка прогрессивной ассимиляцией и редукцией гласных в безударном положении; мансийские парадигматические чередования трактуются исследователем как результат сокращения длинных гласных в безударном слоге. В докладе «Выпадение и вокализация согласных в селькупском языке» Ю. А. Морев (Томск) в качестве общей основы для выпадения и вокализации согласных устанавливает тенденцию к ослаблению артикуляционной напряженности, проявляющуюся в целом ряде характерных для селькупского языка фонетических изменений. Н. В. Денинг (Томск), рассмотрев развитие лабиализованных согласных в селькупском языке, сделала вывод, что оно идет по линии их расщепления. Результаты экспериментально-фонетических исследований вокализма и консонантизма хантыйского и мансийского языков изложены в докладах Л. А. Верте (Новосибирск) «Шумные смычные /р/, /т/, /к/ в казымском диалекте хантыйского языка», Г. Г. Куркиной (Новосибирск) «Акустическая характеристика вокализма непервого слога в языке казымских ханты», Ю. А. Тамбовцеве (Новосибирск) «Спектральные характеристики гласных мансийского языка». Вылив на основе экспериментальных данных четыре типа распределения интенсивности в гласных говора, Б. Б. Феер (Новосибирск) в докладе «Начальнотолчковые гласные в кетском языке (пакулихинский говор)» объясняет особенности распределения интенсивности в начальнотолчковых гласных их фарингальной. Т. Е. Андреева (Якутск) установила следующие конститутивно-дифференциальные признаки согласных фонем томского говора эвенкийского языка: губность, переднеязычность, среднеязычность, заднеязычность, глухость — звонкость, шумность — малощумность, ровность — назальность, латеральность — медиальность. «Фонетические особенности речи иркутян» — тема коллективного доклада Л. В. Игнаткиной, Т. А. Сергеевой, М. В. Цветковой (Ленинград).

Различным аспектам словесной акцен-

туации в тюркских и монгольских языках были посвящены доклады С. С. Тагубаева (Алма-Ата) «Ударение в двусложных и четырехсложных словах казахского языка», Н. В. Шавловой (Новокузнецк) «Квантитативный компонент словесного ударения в шорском языке», А. Д. Тяпкина (Новосибирск) «Словесное ударение в тувинском языке», А. В. Кабанова (Абакан) «Место словесного ударения в современном хакасском языке», Б. Ж. Будаева (Улан-Удэ) «Словесная акцентуация бурятского языка». Вопросы ритмомелодики в языках различных систем рассмотрены в докладах В. И. Петрянкиной (Москва) «Роль частотного компонента интонации в дифференциации коммуникативных типов высказываний в языках различных систем», Д. И. Буровой (Улан-Удэ) «Мелодемы простых распрощенных специально-вопросительных предложений бурятского языка», М. М. Мохосоевой (Улан-Удэ) «Временные характеристики в интонационных структурах вопросо-ответных предложений», И. Е. Алексеева (Якутск) «Интонация якутских вопросительных предложений». В. Б. Касевич (Ленинград) в докладе «О фонологической нагрузке тонов» утверждает, что системный статус тонов китайского, вьетнам-

ского и аналогичных им языков трудно описать, оставаясь в пределах дихотомии «сегментные/просодические средства языка», т. к. тоны обладают свойствами и функциями тех и других. В плане восприятия тоны, как показывают эксперименты по восприятию монотонизированной речи и речи в шуме, принадлежат к тому типу фонологической информации, которая обрабатывается слушающим на начальных стадиях речевосприятия. Проблемам изучения восприятия просодических явлений при помощи ЭВМ посвятил свой доклад А. Э. Ээк (Таллин), проблемы слогоделения рассмотрел К. С. Тайметов (Ташкент).

Выступивший на заключительном заседании акад. А. П. Окладников (Новосибирск) указал на важность экспериментально-фонетических исследований, результаты которых являются одним из возможных исторических источников, помогающих в совокупности с данными истории, археологии и этнографии восстанавливать сложные этногенетические процессы. А. П. Окладников подвел итоги состоявшейся конференции и выразил уверенность в том, что подобные конференции станут регулярными.

*Селютин И. Я.* (Новосибирск)

С 12 по 15 ноября 1979 г. в Душанбе проходило 7-е Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка, организованное Научным советом по диалектологии и истории языка при Отделении литературы и языка АН СССР, а также Отделением общественных наук и Институтом языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР. В работе совещания приняли участие лингвисты 28 городов нашей страны из 12 союзных и четырех автономных республик.

Совещание открыл чл.-корр. АН СССР, акад. АН ТаджССР, президент Академии наук республики М. С. Асимов. Приветствуя участников совещания от имени Президиума Академии наук, ученых и общественности республики, он отметил, что опыт языкового строительства в СССР — беспрецедентный пример в истории человечества, отражающий саму демократическую сущность ленинской национальной политики Советского государства. Социализм создал условия свободного развития национальных языков, их взаимовлияния и взаимобогащения. М. С. Асимов подчеркнул роль русского языка в СССР как языка межнационального общения, способствующего сплочению в единую монолитную общность народов нашей многонациональной страны и ускорившего тем самым изучение национальных языков

и их диалектов. Далее М. С. Асимов остановился на успехах современного таджикского языковедения, среди многих отраслей которого видное место занимает таджикская диалектология. Во вступительном слове Э. Р. Теншев (Москва) говорил о бурном развитии в нашей стране диалектологии, являющейся ныне самостоятельной отраслью языковедения с разветвленной системой в синхронии и диахронии, что воплощено в проблематике настоящего совещания.

На пленарном и секционных заседаниях было заслушано 88 докладов и сообщений по материалам более 40 языков и диалектов различных семей и групп, современных и древних, живых и мертвых, письменных и бесписьменных<sup>1</sup>. В открывшем пленарное заседание докладе В. С. Расторгуевой (Москва) и Р. Г. Гаффарова (Душанбе) «Современный таджикский литературный язык и его отношение к диалектам» был представлен процесс развития таджикского литературного языка за годы Советской власти, определена роль диалек-

<sup>1</sup> К началу совещания были опубликованы тезисы 189 докладов. См.: «Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений (Душанбе, 12—15 ноября 1979 г.)» М., 1979.

тов в демократизации литературного языка. Подчеркивалось, что в конце 20-х годов при введении новой графики и орфографии литературного языка была выработана единая линия с ориентацией на северные таджикские говоры с их культурными и административными центрами того времени — Самаркандом и Бухарой. С 50-х годов стало ощутимо и влияние горных таджикских говоров, что не исключает исторической роли северных диалектов в становлении литературного языка. В докладе «Лингвогеографическое изучение восточнославянской языковой области» С. В. Бромлей (Москва) отметила важность исследования промежуточного объекта лингвогеографии, какковым для славистики, по ее мнению, являются восточнославянские языки. В связи с неопределенностью границ диалектной принадлежности на территории русско-белорусского и украинско-белорусского пограничья С. В. Бромлей поставила вопрос о создании специального восточнославянского лингвистического атласа (ВСЛА), поскольку специфика явлений восточнославянской языковой территории не предусмотрена вопросником ОЛА и не получит в нем полного отражения. В докладе Т. Я. Елизаренковой (Москва) «Об иерархии языковых уровней в истории развития индоарийской группы» была изложена эволюция структуры и так называемой «разрешающей» функции в развитии индоарийских языков на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Результаты сдвигов в иерархии уровней представлены так: древнеиндийская флексия, аналитические формы, агглютинация, новая флексия. Н. А. Баскаков (Москва) указал на необходимость обобщающих исследований по историческим (племенным) ареалам распространения диалектов тюркских языков (огузского, кыпчакского, уйгурского и др.) для составления тюркских ареальных исторических диалектологических атласов.

Дискутируя по докладам, М. В. Федорова (Москва) не согласилась с определением С. В. Бромлей восточнославянской языковой области как «промежуточной» и отрицала понятие «промежуточности» в диалектологии. В. М. Мокиенко (Ленинград), А. В. Широкова (Москва), В. П. Нерознак (Москва), напротив, одобрили предложение о создании специальных атласов промежуточных объектов лингвогеографии. Широкий охват материала в докладах В. С. Расторгуевой и Р. Г. Гаффарова, Н. А. Баскакова отметил В. П. Нерознак, подчеркивая, что работы советских иранистов и тюркологов вносят существенные коррективы во многие прежние положения; теория диалектологии и истории языка должна развиваться при сопоставлении больших ареалов — иранских, тюркских, славян-

ских; настало время говорить об ареальной типологии.

Работа совещания проходила в трех секциях. В первой секции (Проблемы исторической диалектологии) с подсекцией (Роль данных диалектологии в построении истории языка) было прочитано 24 доклада. В докладе Л. Э. Калыныч (Москва) «Значение синхронного моделирования диалектных систем для исторической диалектологии» утверждалось, что история отдельных диалектов, их фонетической системы должна проследиваться как смена синхронных состояний разных хронологических срезов. Т. Н. Кандурова (Москва) предположила, что расхождения книжно-письменных традиций Киева и Новгорода во взаимодействии соотносительных русизмов и книжнославянизмов не выходили за рамки единого литературного языка и связаны с диалектными особенностями и влиянием «социального климата» этих городов.

Вопрос о соотношении диалектов и национальных языков нашел отражение в ряде докладов. О становлении норм национального русского языка и формировании диалектных различий лексико-семантического уровня сообщила О. Н. Мораховская (Москва); специфике диалектных различий национального и донационального периодов развития русского языка посвятили свой доклад В. И. Собинова и А. А. Припадчев (Воронеж); Р. Х. Додыхудоев (Думанбе) высказал мнение, что вопрос о диалектной основе современного таджикского литературного языка требует дальнейших исследований; особую роль степных говоров юга Украины (XVIII — нач. XX вв.) в формировании литературной нормы украинского языка подчеркнул А. М. Поповский (Днепропетровск); Т. И. Гаджиев (Баку) доложил о специфических трудностях азербайджанской исторической диалектологии в условиях дифференцированного литературного языка, когда существуют два его варианта, и факты южного, сформировавшегося на шесть веков позднее, предстают как норма, и в северном они же характеризуются как диалектные. Доклад В. Д. Ившина (Калуга) и Т. Л. Мошанова (Киров) показал эволюцию диалектов в истории английского языка.

Синтаксису тюркских языков как важному уровню исторической диалектологии, недостаточно прежде учитывавшемуся, посвятил свое выступление М. М. Джафарзаде (Кировабад). На материале особых междометий в языке казахов Узбекистана Т. А. Айдаров (Ташкент) показал, что говоры с их древними элементами являются одним из источников исторической диалектологии. В докладе Б. П. Садыхова (Баку) одним из источников для истории языка признана надежная система азербайджан-

ских говоров. Вопросы исторической диалектологии романских языков нашли отражение в докладах москвичей Е. Н. Мамсуровой о каталанском ареале средневековья, считавшемся прежде лишеным диалектного членения, и А. В. Широковой о реконструкции трех типов архаичных народнолатинских диалектов — протосардинского, протосицилийского и проторумынского. Ученые Кишинева доложили о значении для молдавской исторической диалектологии данных «Молдавского лингвистического атласа» (Р. Я. Удлер) и антропнимом молдавских документов XVI—XVIII вв. (А. Н. Думбрэвиану). Проблема исторической фразеологии уделил внимание В. М. Мокиенко, подчеркнув особую ценность диалектного материала при установлении системного тождества фразеологизмов русской народной речи и литературных. Роль данных диалектологии в построении истории языка осветили О. И. Гордеева (Томск), которая исследовала вторичные заимствования в средневебских старожильческих говорах, Г. Х. Ахатов (Уфа) — на материале татарских диалектов, А. М. Родионова-Нащекина (Ленинград) — на материале современных брянских говоров, москвич Ю. С. Азарх — при анализе в русском языке истории именного словообразования, И. Б. Кузьмина — причастий, В. Б. Сирина — глагольного вида, а также К. Е. Майтинская — падежей в финно-угорских языках. Сравнивая данные «Древнетюркского словаря» (Л., 1969) с диалектами каракалпакского языка, У. Д. Доспанов (Нукус) обнаружил значительное сходство их лексики.

Во второй секции (Лингвистическая география, ареальная лингвистика и проблемы языковых контактов в синхронии и диахронии) было заслушано 25 докладов. Ряд из них был посвящен проблемам лингвогеографии и ареальной лингвистики. Н. Н. Пшеничнова (Москва) на примерах стяжения гласных в глаголах и прилагательных в русских говорах показала необходимость дальнейшего развития статистических приемов лингвогеографии для диахронических выводов. О сравнительном анализе картографирования предлобно-последельных конструкций таджикских говоров сообщил Р. Гаффаров (Душанбе); Ш. Хайдаров (Душанбе) выявил дифференциальные признаки женских и мужских имен таджиков Аштского р-на Ферганы. Значение данных лингвогеографии и топонимии для истории языка на материале картвельских языков подчеркнул Г. В. Топурия (Тбилиси); Л. А. Сараджева (Ереван) сообщила о диалектном варьировании индоевропейской земледельческой терминологии в армянском и славянских языках; об особенностях акцентной организации

текста в вологодских говорах рассказала Р. Ф. Пауфогима (Москва); о признаках системы глагола южных таджикских говоров сообщила Р. Л. Неменова (Душанбе). Данные лингвистического атласа применялись Т. Ю. Загряжской (Москва) при изучении морфологии франко-провансальского (старые и новые тексты). В докладе Ф. Г. Утургаидзе, Д. З. Чхубианишвили, Дж. Ш. Гунашвили (Тбилиси) на материале фрейданского говора кахетинского диалекта грузинского языка прослеживалось изменение диалекта в историческом аспекте; В. Г. Иванов (Москва) реконструировал древнегерманские изоглоссы — обозначения леса; об описании армяно-греческих эксклюзивных лексических изоглосс сообщил Ц. Р. Арутюнян (Ереван); о лингвогеографическом исследовании языков таксономического типа Волго-Камско-Уральского региона рассказал А. Шахлулов (Уфа). Механизмы реализации фонетической системы как способ обнаружения исторически общих особенностей разных территориальных диалектов (русского и украинского языков) показаны М. Н. Преображенской (Москва); на важность изучения истории социальных диалектов, в частности, русских арго XVIII—XX вв., указал В. Д. Бондалетов (Пенза).

Значение некоторых данных современных языков и диалектов для истории языка отметили в своих докладах В. К. Павел (Кишинев), «Синхрония как отражение диахронии», О. Г. Гецова (Москва) «Противопоставленность твердых и мягких заднеязычных согласных в древнегородском диалекте по современным диалектным данным», Л. Л. Касаткин (Москва) «Гиперкоррекция как основание для реконструкции диалектных черт». Е. Ф. Журавлева (Москва) заключила, что фонологический подход к описанию современной диалектной речи одного из новогреческих говоров Украины проясняет тенденции развития языка в предыдущие эпохи; Х. Хейтер (Тарту) сообщила о древних фонетических особенностях русских говоров северного Причудья ЭстССР, объясняя их изолированным положением переселенцев Новгородско-Псковской земли в XI—XII вв.

Ряд докладов был посвящен проблемам картографирования языков и диалектов. Московские ученые исследовали воздействие «внешних» факторов на развитие индоарийских языков (А. С. Бархударов), влияние греческих диалектов на формирование говоров древней Италии (Т. А. Карасева), исторические контакты тюркских языков с другими языками мира (К. М. Мусаяв). Результатом славяно-пермских связей сошла М. В. Федорова меню звонких/глухих в языках Восточной Европы;

В. Г. Ахведиани (Тбилиси) показал, как на структуре имени бухарского арабского отразились условия развития арабских диалектов Средней Азии.

35 докладов было заслушано в третьей секции (Роль древнеписьменных источников в построении истории языка). О значении данных разного рода письменных источников и принципах их применения в историческом языкознании говорилось в большинстве докладов: Э. Р. Тенишева — о древнеуйгурских документах в связи с морфологией современного языка, И. И. Кавтрадзе (Тбилиси) — о древнегрузинских памятниках, И. Х. Абдуллаева (Махачкала) — в связи с историей дагестанских языков, З. И. Будаговой и В. Л. Гукасяна (Баку) — об армянских источниках V—VIII вв. для истории азербайджанского языка, В. В. Аниченко (Гомель) — о старобелорусских письменных источниках, В. И. Дьяковой и В. И. Хитровой (Москва) — о документе Дел Генерального межевания XVIII в. для истории русской географической лексики Воронежского края, Л. А. Климовой (Арзамас) — об антопонимии «Поместных актов Арзамасского уезда», Т. М. Николаевой (Казань) — об отражении в памятниках процесса вытеснения вокатива, В.-Л. Кингисепи (Тарту) — в связи с развитием эстонской лексики первой четверти XIX в., Ф. И. Хисамовой (Казань) — о русско-татарских словарях XVIII—XIX вв., В. И. Щеголихиной (Самарканд) — о деловом памятнике Пскова XVII в. и влиянии языка Москвы, К. Р. Галиуллина (Казань) — о записях иностранцев как дополнительном источнике истории русского языка, С. К. Ализаде и И. Д. Велиева (Баку) — об азербайджанском памятнике XV в. «Юсуф и Зулейха», А. А. Магометова (Тбилиси) — о первых записях по табасаранскому языку, Л. А. Захаровой (Томск) — о деловой письменности XVII в. и истории прикетских говоров, Л. М. Устюговой (Саратов) — о поздних списках древнерусских памятников раннего средневековья, Р. Д. Магеррамовой (Баку) — об азербайджанских письменных памятниках XIII—XIV вв., С. П. Лопушанской (Москва) — о формах будущего времени по данным памятников восточнославянской письменности, И. В. Платоновой (Москва) — о памятниках среднеболгарской письменности, Г. Сапаровой (Ашхабад) — о памятниках древнетюркской письменности и лексических параллелях в туркменских диалектах, Г. П. Смолцкой (Москва) — о картографических материалах как источнике русской исторической лексикологии, Р. А. Юналеевой (Казань) — об изучении тюркского пласта русской лек-

сики по памятникам письменности и лингвогеографии, Б. А. Абилясов (Алма-Ата) — о казахских письменных источниках XIX в., С. А. Таниязова (Ашхабад) — о древнетюркских памятниках и диалектной лексике туркменского языка. На значение явлений языковой аттракции для истории азербайджанского языка указал А. Ахундов (Баку); исследование глосс В. П. Нерознак признал ценным для изучения древнейших заимствований в языках и для установления фактов истории и культуры взаимодействующих народов. Роль азербайджанского фольклора и диалектологии подчеркнул К. Н. Велиев (Баку); на диалектную лексику опирался И. В. Коваль (Гомель) для выяснения этимологии отдельных фразеологизмов; роль ономастики подчеркнул З. И. Будагова. Подобные вопросы ставились и в докладах на материале иранских языков, в том числе бесписьменных пампирских. Архаические черты морфологической структуры презенса в ормури охарактеризовал В. Е. Ефимов (Москва) на основе новых диалектных материалов. Д. И. Эдельман (Москва) показала воздействие субстрата на глубинные правила, реализующиеся поверхностными синтаксическими структурами, отличными от субстратных, — на примере таджикских говоров Памира (субстрат — памирские языки) и памирских языков (субстрат — доиндоевропейский язык); И. М. Стеблин-Каменский (Ленинград) показал, что в памирских языках и местных таджикских диалектах для названия бобового растения — чины заимствовано слово из индийских языков. Душанбинские ученые на основе экспедиционных языковых и фольклорных материалов доложили об отражении древних родовых моделей в памирских языках (Д. Карамшоев), о происхождении некоторых рушанских фразеологизмов (А. Каримов), о привлечении данных таджикского и памирского фольклора и фразеологии при изучении истории иранских языков (С. В. Хушенова).

На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты руководителей секций Р. Я. Удлера, Р. Гаффарова, Д. Карамшоева, подведены итоги 7-го совещания; Э. Р. Тенишев, И. И. Кавтарадзе, Т. И. Гаджиев отметили хорошую организацию его работы. В заключение В. С. Расторгуева подчеркнула исключительную активность участников и плодотворность работы совещания. Совещание приняло резолюцию, где, в частности, предлагалось усилить координационную работу, углубить тематику, больше привлекать этнографические, фольклорные, исторические и другие культурологические данные для изучения истории языка; созвать следующее, 8-е Совещание, в Риге или Вильнюсе.

Хушенова С. В. (Душанбе)

## CONTENTS

**On the eve of the XXVI Congress of the CPSU:** Filin F. P. (Moscow). Urgent tasks of Soviet linguistics; **Articles:** Danilenko V. P., Skvorcov L. I. (Moscow). Unification of scientific and technical terminology; some linguistic problems; **Discussions:** Ibraev L. I. (Yoshkar-Ola). Supra-semiotic character of language (on the relation of semiotics and linguistics); Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. (Moscow). Specific ways of reflecting mimics and gestures by verbal means (based on materials of the Russian language); Tkačenko O. B. (Kiev). The problem of contrastive historical study of the Slavonic languages; Baskakov N. A. (Moscow). On the historical and typological phonology of the Turkic languages; Solganik G. Ya. (Moscow). On the typology of speech; Bogatova G. A. (Moscow) Historical lexicography as a special genre of scientific activity; **Materials and notes:** Ambrosini R. (Pisa). The first hymn of the Rigveda and the alleged ambiguity of poetic texts; Malkova O. V. (Moscow) On the principle of the division of reduced vowels into tense and weak in late Common Slavic and in Old Slavonic languages; Mixajlovskaja N. G. (Moscow) The problem of nomination in Old Russian texts; Mur'janov M. F. (Moscow) The menaion of Dubrovskij; Fedorov A. I. (Novosibirsk). Modern Russian dialects as source for historical lexicography; **Reviews.**

## SOMMAIRE

**À la veille du XXVI-ème Congrès du PCUS:** Filin F. P. (Moscou). Sur les tâches actuelles de la linguistique soviétique; **Articles:** Danilenko V. P., Skvorcov L. I. (Moscou). Problèmes linguistiques de réglementation de terminologie scientifique et technique; **Discussions:** Ibraev L. I. (Yochkar-Ola). Caractère supra-sémiotique de la langue (sur les rapports entre sémiotique et linguistique); Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. (Moscou). Spécificité du reflet de la mimique et des gestes par les moyens verbaux (étudiée dans la langue russe); Tkačenko O. B. (Kiev). Problème de l'étude contrastive historique des langues slaves; Baskakov N. A. (Moscou). Sur la phonologie historique typologique des langues turques; Solganik G. Ja. (Moscou). Typologie de la parole; Bogatova G. A. (Moscou). Lexicographie historique en tant que genre d'activité scientifique; **Matériaux et notices:** Ambrosini R. (Pise). Le premier hymne du Rigveda et la prétendue ambiguïté des textes poétiques; Malkova O. V. (Moscou). Principe de la distinction des voyelles réduites fortes et faibles dans le slave commun de dernière période et dans les anciennes langues slaves; Mixajlovskaja N. G. (Moscou). À propos de la dénomination dans les textes vieux-russes; Mur'janov M. F. (Moscou). Sur le ménaion de Dubrovskij; Fedorov A. I. (Novosibirsk). Les parlars du russe moderne en tant que source de lexicologie historique; **Comptes rendus.**

## Внимание авторов!

В нашем журнале, начиная с № 2 1981 г., вводятся новые правила по оформлению библиографии.

I. Список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи. Оформляется это следующим образом:

1. *Виноградов В. В.* О теории художественной речи. М., 1974.
2. Курс історії української літературної мови. За ред. Білодіда І. К. Т. І. Київ, 1958.
3. *Баранников А. П.* Флексия и анализ в повонддийских языках. Уч. зап. ЛГУ, 1949, № 98, сер. востоковед. наук, вып. 1.
4. *Гак В. Г.* — ВЯ, 1977, № 6. — Рец. на кн.: *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М.: Наука, 1976, 224 с.

II. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3].

В случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте.

III. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

Технический редактор В. М. Пахомова

---

Сдано в набор 28.10.80	Подписано к печати 27.01.81	T-04023	Формат бумаги 70×108 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,0	Уч.-изд. л. 15,2	Бум. л. 5,0 Тираж 7037 экз. Заказ 3629

---

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10